

Реми ЛЕНУАР, Доминик МЕРЛЬЕ,
Луи ПЭНТО, Патрик ШАМΠΑНЬ

НАЧАЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

GALLICINIUM

GALLICINIUM



S/Λ

GALLICINIUM



S/Λ

Patrick CHAMPAGNE, Remi LENOIR,
Dominique MERLLIÉ, Louis PINTO

INITIATION À LA PRATIQUE SOCIOLOGIQUE

Dunod

*Ouvrage réalisé dans le cadre du programme
d'aide à la publication Pouchkine avec
le soutien du Ministère français des Affaires
Étrangères, de l'Ambassade de France
en Russie*

Российско-французский центр
социологии и философии

Институт социологии
Российской Академии наук

Реми ЛЕНУАР, Доминик МЕРЛЬЕ,
Луи ПЭНТО, Патрик ШАМПАНЬ

НАЧАЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Перевод с французского
*А. Т. Бикбова, Д. В. Баженова,
Е. Д. Вознесенской, Г. А. Чередниченко*

Ответственный редактор
Н. А. Шматко

*Издание 2-е,
исправленное и дополненное*

Институт экспериментальной социологии, Москва
Издательство «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург

2001

ББК Ш5
УДК 316
Ш 21

Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П.

Ш 21 Начала практической социологии / Пер. с фр. А. Т. Бикбова, Д. В. Баженова, Е. Д. Вознесенской, Г. А. Чередниченко; отв. ред. и предисл. Н. А. Шматко; послесл. А. Т. Бикбова. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001 г. — 410 с. — («Gallicinium»).

ISBN 5-89329-363-0

В книге излагается новый подход к центральным проблемам методологии, методики и техники социологического исследования. «Метод социологии» представлен в действии, на конкретных примерах: изучается связь между понятийным аппаратом социологии и социальным контекстом ее функционирования, объективация субъективного опыта социолога, статистическое конструирование в социологии, научная и политическая сущность опросов «общественного мнения». Для преподавателей социологии, философии, психологии, а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в области общественных наук.

*Издание подготовлено и осуществлено
в рамках программы «Пушкин» при поддержке
Министерства иностранных дел Франции,
посольства Франции в России.*

ISBN 5-89329-363-0



© BORDAS, Paris, 1989.

© Издательство «Алетейя», 2001 г.

© Издательство «Институт экспериментальной социологии», 2001 г.

© А. Т. Бикбов, Д. В. Баженов, Е. Д. Вознесенская, Г. А. Чередниченко, перевод на русский язык, 2001 г.

© Н. А. Шматко, предисловие, 2001 г.

© А. Т. Бикбов, послесловие, 2001 г.

Содержание

9 От редактора
13 Введение
19 Глава I. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И НАУЧНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ (Луи ПЭНТО)
24 1. <i>Объективирующий разрыв</i>
24 1.1. Методологическое применение сравнения: процесс внушения в «тотальных институтах»
34 1.2. Установление связей между социальными свойствами агентов и социальными функциями «тотальной институции»
50 1.3. Воспроизводство «тотальной институции» и наблюдение за изменениями
56 2. <i>Объективация опыта</i>
57 2.1. Объективация опыта доминируемых
64 2.2. Оппозиция «они — мы» как категория восприятия
70 2.3. Армия как социальный мир «переживания»
74 Заключение. <i>Включенное наблюдение и отношение к объекту</i>
77 Глава II. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА (Реми ЛЕНУАР)
85 1. <i>Заранее сконструированная реальность и конструирование социологического объекта</i>
86 1.1. «Естественная» категория — возраст

91	1.2. «Естественные» категории и социальные ставки
97	1.3. Неосознаваемая семантика и заранее сконструированный объект: «семья»
100	2. <i>Социальное основание заранее сконструированных категорий</i>
103	2.1. Морфологические и экономические трансформации
106	2.2. Социальная проблема и формы солидарности
112	3. <i>Социальный генезис социальной проблемы</i>
113	3.1. Давление и выражение
117	3.2. Сила слов и социальные силы
1191	3.3. Государственное освящение и работа по легитимации
125	3.4. Эксперт и социолог
128	4. <i>Институционализация</i>
128	4.1. Бюрократизация социальных отношений
131	4.2. Дискурсы институций
134	4.3. Институционализация новой морали
139	4.4. Государственный позитивизм
141	Заключение. <i>Социальное основание социальных представлений</i>
145	..	Глава III. СТАТИСТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ (Доминик МЕРЛЬЕ)
149	1. <i>Влияние формы сбора данных на результаты</i>
149	1.1. Статистика самоубийств
154	1.2. Безработица
162	1.3. Контрацепция
168	1.4. Социально-профессиональные категории и квалификация
176	1.5. Какой статус придавать «ошибкам»?
178	2. <i>Социология статистического производства</i>
181	2.1. Толкование «неестественных» смертей

188	2.2. Безработица, ее формы, отношение к безработице
198	2.3. «Иметь детей — значит не хотеть не иметь их»
204	2.4. Названия профессии как ставка в игре
215	2.5. Статистическая коммуникация
221	Заключение. <i>Социологическое отношение к социальному миру</i>

225 .. Глава IV. РАЗРЫВ С ПРЕДВЗЯТЫМИ ИЛИ ИСКУССТВЕННО СОЗДАНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ (*Патрик ШАМΠΑнь*)

230	1. <i>Техника опроса — это не наука</i>
230	1.1. Политическая и инструментальная критика опросов общественного мнения
232	1.2. Большая разнородность «опросов»
238	1.3. Незаконные обобщения
241	2. <i>Социология и опросы общественного мнения</i>
241	2.1. Выборка как элемент политического конструирования
250	2.2. Социологическое конструирование «не-ответов»
255	2.3. Социологическое конструирование ответов
262	2.4. Социологическое конструирование вопросов
271	3. <i>Политическое использование опросов общественного мнения</i>
272	3.1. Социальные функции «политологических» вопросов
275	3.2. Эффект легитимации опросов общественного мнения
279	3.3. Опрос общественного мнения : «эффект вердикта»
282	4. <i>Социологическое конструирование: «уличная демонстрация в средствах массовой информации»</i>
284	4.1. Сбор данных: описание демонстрации
286	4.2. Информация как социальная ставка
289	4.3. Эффект круга

292	Заключение. <i>Социальные науки и социальные представления о науке</i>
294	..	Приложение. ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДА СОЦИОЛОГА ЧЕРЕЗ КРИТИКУ ОЧЕВИДНОСТИ (Александр БИКБОВ)
297	1. <i>Программа социального познания школы Бурдье</i>
299	1.1. Обыденная очевидность и объективный мир
302	1.2. Взгляд исследователя и свойства объекта исследования: имманентное и трансцендентное описание социального мира
309	1.3. Очевидность, классификация и вопрос власти
317	1.4. Социологическая бдительность против схоластического разума
322	1.5. Метод имманентного анализа
332	2. <i>Система практических оппозиций и структура школы</i>
333	2.1. Оппозиция исследователя/профессора: против самодовлеющей учености
337	2.2. Оппозиция узкого/широкого производств: критика обыденных и политических представлений социологии
340	2.3. Основание критической диспозиции
344	2.4. Генезис и структура школы Бурдье
360	2.5. Введение социологии в политическую практику
359	Заключение. <i>Расколдование мира и освобождение от иллюзий</i>
364	Примечания
391	..	Библиография

От редактора

Книга, которую Вы раскрыли, не просто перевод «еще одного» учебника по социологии, хотя бы и с наборами конкретных приемов проведения исследования. Ее авторы подходят к научной практике иначе: они пытаются *практически* научить социологическому видению и мышлению через вовлечение читателя в анализ конкретных социальных ситуаций и повседневных взаимодействий, превратить социологию из академической дисциплины в *образ жизни*.

Авторы «Начал практической социологии» предлагают задуматься над тем, что отражают социологические понятия, в какой мере они «объективны», а в какой сформулированы, исходя из субъективного опыта исследователя? Кто и каким образом конструирует социологические понятия? Что такое «общественное мнение»? Что такое «безработица» или «планирование семьи»? Что представляют собой «армия» и «семинария»? Не являются ли понятия, широко используемые в социологии, продуктом и ставкой политической игры, отражением обыденных представлений и социальной позиции самого социолога — его «научного здравого смысла»? Книга стимулирует самостоятельное мышление читателя, не ограничиваясь дидактическим изложением общепринятых истин.

Реми Ленуар, Доминик Мерлье, Луи Пэнто и Патрик Шампань ставят перед собой сложную задачу обучить ремеслу социолога не путем передачи набора формальных знаний о методах проведения исследования и

обработки данных, но через «практическое научение» исследовательскому мастерству, делясь своим богатым опытом разрыва с обыденными предпонятиями, анализом процесса конструирования предмета и выбора метода исследования, осмысления использования статистики и т. д. Эти базовые профессиональные навыки необходимы каждому исследователю в области социальных наук. Поэтому неважно, что примерами здесь служат реалии французского общества, тем более что подчас они похожи на наши, российские (яркий тому пример — «дедовщина» в армии). Решая центральную задачу, авторы пытаются заменить интеллектуалистскую педагогику, основанную на примате теории и постепенном, «методическом» переходе от теории к эксперименту, от аксиом к практике, педагогикой другого рода, построенной на принципах «научения» искусству социолога, исследовательскому ремеслу непосредственно в самом процессе творчества.

Основной принцип *«Начал практической социологии»* — не противопоставлять теорию практике, не отрывать их друг от друга, но учить социологическому исследованию как искусству, используя творческое повторение опыта «мэтра». Такого рода позицию можно критиковать, но сложно отрицать то, что пассивное и абстрактное усвоение «суммы» «методологий», «методик и техник», царящее в российском образовании, помогает выпускнику социологического факультета в самостоятельной работе не более, чем знание законов переваривания пищи — пищеварению.

Ведь не секрет, что с неких пор «методология» и «методика исследования» оторвались от «социологического содержания», стали как бы полностью автономной отраслью социальной науки. Они преподаются вне зависимости от самого предмета исследования, т. е. как нечто универсальное и самодостаточное, причем профессорами зачастую выступают люди, не имеющие какого-либо опыта самостоятельной эмпирической или теоретической работы в науке. Этот эмпиризм худшего позитивистского тол-

ка спешит «измерять» и «обрабатывать данные» еще до того, когда будет социологически содержательно сконструирован предмет исследования, и ученый сможет внятно определить, какого рода «данные» действительно ему даны. Подобные «измерения» и «подсчеты» как правило, оперируют с «предметами», составленными на базе понятий здравого смысла, что ставит под вопрос их значимость. В противовес этому центральное место в каждой главе настоящей книги отводится конструированию социологического предмета. Такого рода конструирование осуществляется с помощью критики языка описания объекта, деконструкции заключенных в нем социальных классификаций и имплицитных объяснительных схем, связанных как с социальной позицией самого объекта, так и с позицией объективирующего субъекта (то есть собственно исследователя).

Многим отечественным социологам представляется, будто бы с помощью «метода» можно объяснить все или почти все. При этом, однако, забывается, что «метод» — это, возможно, и удобный, но отнюдь не произвольный прагматический набор операций. Противоположностью «методическому эмпиризму» выступает «теоретическая теория», которая в состоянии «исследовать» социальный мир, лишь полностью от него абстрагировавшись, разорвав с ним практически и исторически, дистанцировавшись от практической логики. Преодолеть ложную оппозицию «методический эмпиризм—теоретическая теория» можно лишь в том случае, если реализовывать исследования, в которых теория служит рефлексивным инструментом самоконтроля ученого и конструирования контролируемого предмета измерения. Необходимы исследования, в которых теоретически вооруженный социолог критически анализирует обыденные категории социального восприятия и оценки, разрывает с предпонятиями и т. д., но не отстраняется при этом от социального мира, а изучает его эмпирически.

Для лучшего восприятия и усвоения *«Начал практической социологии»* их чтение желательно предварить

изучением переведенных на русский язык трудов Пьера Бурдьё, под влиянием которого во многом создавалась данная книга. В первую очередь речь идет о работах Пьера Бурдьё «Социальное пространство и символическая власть» (в кн.: Бурдьё П. Начала. Choses dites: Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1994. С. 181–207) и «Социальное пространство и генезис “классов”» (в кн.: Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1993. С. 53–97).

Книга «Начала практической социологии» вошла в обязательную программу преподавания социологии во Франции. Она выдержала несколько изданий, ее общий тираж достиг огромной по французским масштабам цифры — двухсот тысяч экземпляров. Книга переведена на немецкий, итальянский, испанский, португальский и болгарский языки. Настоящее русское издание является вторым, исправленным и дополненным.

Коротко об авторах. Патрик Шампань — профессор социологии Сорбонны и Высшей школы социальных наук, а также научный сотрудник Национального института исследований сельского хозяйства; Реми Ленуар — профессор социологии в Сорбонне и Институте политических исследований, Доминик Мерлье — профессор социологии в Сорбонне, Луи Пэнто — профессор Высшей школы социальных наук. Кроме того, все они работают в Центре Европейской социологии, директором которого в настоящее время является Реми Ленуар.

Переводчики: введение — А. Т. Бикбов и Е. Д. Вознесенская; первая, третья главы — Е. Д. Вознесенская; вторая глава — А. Т. Бикбов и Г. А. Чередниченко; четвертая глава — Е. Д. Вознесенская и Д. В. Баженов; при участии (первая и вторая главы) Т. В. Анисимовой.

Н. А. Шматко

Введение

Можно ли с помощью одних только слов, вербально, или, как еще говорят, «теоретически» обучить практике исследования? Лекции по социологии, даже если они хорошо подготовлены преподавателями и хорошо усвоены студентами, лишь с большим трудом изменяют привычное мышление и способ видения тех, кто их читает и изучает. Как преподавать социологию, ее методы и результаты, чтобы способствовать реальному освоению «ремесла социолога» как способа специфического восприятия социального мира?¹ Иными словами, как ограничить эту предрасположенность системы образования к производству знаний (во всяком случае, в некоторых областях науки), которые остаются как бы чужими для тех, кто их получает, и обычно забываются сразу после экзаменов? Действительно, в такой дисциплине, как социология, образовательная институция реализует способность выхолащивать особым образом, а именно «нейтрализуя» то знание, которое она должна передавать, и превращая его просто в учебные сведения. Для студентов, как и для преподавателей, курс социологии часто является неким минимумом, который следует выучить и суметь воспроизвести, чтобы успешно сдать экзамены в конце года. Тогда как в результате настоящего усвоения социологии и ее достижений должно произойти глубокое и устойчивое изменение привычного восприятия социального мира.

¹ Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C. Le Métier de sociologue. Paris: Mouton / Bordas, 1968.

Уже к 1930 г., когда перед социологами встала задача составить программу курса социологии, они столкнулись с этой педагогической проблемой. Тогда же социологи разделились на две группы, предлагавшие весьма различные решения. Первая группа профессионалов (Бэйе, Бугле, Дави, Фоконне) выступала за преподавание социологии, которое можно назвать «энциклопедическим» в том смысле, что оно уделяет меньше внимания исследовательской работе, а больше — уже полученным результатам, оформленным и систематизированным в учебниках. Вторая группа, представленная в основном социологами, работающими не в университетах, а в исследовательских центрах (Гране, Хальбвакс, Мосс, Симиан), отдавала предпочтение обучению «на примерах». Личный опыт этих социологов склонял их к мысли, что глубокое знание может быть передано только через комментированное изучение случая, поскольку методы работы представлялись им более поучительными, чем изложение результатов исследований, а «обучение без отрыва от производства» — более эффективным, чем абстрактные и общие рассуждения на тему социологических исследований¹.

Совершенно очевидно, что это проблема не только педагогическая: она обращает нас к вопросу о содержании самой дисциплины, к тому, что каждый преподаватель считает важным передать. Например, если считать достаточным, чтобы студенты знали критерии, которыми определяется «социальный класс», а также могли воспроизводить, даже не читая, заглавия и авторов классических трудов по социологии, то учебники успешно могут с этим справиться.

Но мы считаем, что важнее научить тому, как вычленивать из самых банальных взаимодействий обыденной жизни ту «борьбу классов», которую раскрыл Карл Маркс — один из «отцов-основателей» социологии. Чтобы вскрыть

¹ *Heilbron J. Les metamorphoses du durkheimisme. 1920–1940 // Revue française de sociologie. XXVI. 1985. № 2. P. 203–237.*

эту борьбу (обычно невидимую, поскольку она выражается не на ученом и условном языке борьбы классов, а скорее на языке «вкуса» и «безвкусицы», «симпатий» и «антипатий»), чтение работ такого социолога, как Эрвин Гоффман, который создает настоящую этнографию повседневной жизни наших обществ, нам представляется наиболее эффективным и поучительным¹.

В деле приобретения социологического навыка учебники по социологии занимают важное место, и они, безусловно, необходимы. Кроме всего прочего, они способствуют быстрому и экономному усвоению базовой «социологической культуры», т. е. совокупности необходимых реперов (имена собственные, понятия, идейные течения и т. д.), которые позволяют фиксировать этапы истории науки и те проблемы, с которыми она сталкивалась. Но следует признать, что учебники совсем не помогают студентам узнать, как реально провести исследование, составить вопросник, критически интерпретировать ответы, мобилизовать все данные и необходимую информацию, короче, сконструировать объект исследования и провести оригинальное исследование, которое не было бы простым повторением уже осуществленных работ. Однако если учебников по социологии довольно много, то, напротив, совсем недостаточно работ, которые ставили бы себе целью приобщить студентов к социологической практике, не отвергая при этом теоретических амбиций, свойственных учебникам. Именно такую цель и ставит перед собой данная работа.

На страницах этой книги вы не найдете ни экскурса в историю «социологической мысли», ни резюме известных классических трудов, ни даже систематического

¹ Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. — М.: Канон-Пресс-Ц—Кучково Поле, 2000. (*Goffman E. La mise en scene de la vie quotidienne*, (1959 et 1971). Trad. d'Accardo A. et Kihm A. Paris: éd. de Minuit, 1973, 2 vol.); *Goffman E. Asile. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux* (1961). Paris: Minuit, 1968; *Les Rites d'interaction* (1967). Paris: Minuit, 1974; *Stigmaté* (1963). Paris: Minuit, 1975.

перечня основных понятий социологической науки. В большой мере все эти аспекты будут представлены, но в практическом разрезе, т. е. в конкретном их применении и на материале исследований. Мы сознательно делаем упор на *способе социологического мышления в действии*, чем объясняется большое разнообразие цитируемых, анализируемых и сравниваемых работ. Кроме того, были отобраны новые исследования, касающиеся очень близких студентам сфер (школа, политика на телевидении, иммигранты, опросы общественного мнения, отношения с родителями и т. п.) и, следовательно, в определенной степени доступных их собственному опыту.

Стремясь изложить подходы, разработанные в практике социологических исследований, эта книга попадает в особую область, которая не сводится ни к области теоретического дискурса, ни к области механического научения набору приемов. Задача данной работы — познакомить студентов с плодотворной практикой исследований, предложить им инструменты анализа, которые можно было бы реально применять. Хотелось бы, в частности, найти ответ на вопрос, который почти всегда задают себе изучающие социологию: как следует поступать, чтобы в рамках исследования практически объединять одновременно теории известных авторов и методики наблюдения, сбора, анализа данных? Не имея возможности привлечь студентов к участию в настоящем исследовании (что было бы наиболее продуктивным), мы решили представить самые разные примеры исследований. Их нужно воспринимать не как «модели» для подражания, но как практические упражнения, где используются принципы анализа, продемонстрировать которые можно только в конкретных приложениях.

Книга состоит из четырех глав, каждой из которых свойственна собственная логика, а потому любая из них может быть прочитана независимо от других. Главы даны в порядке, который не исключает и другой последовательности прочтения. В первой главе («Личный опыт и научное требование объективности») на примере ряда работ,

в частности исследований армии, церкви и школы, ставится один из вопросов, который обычно возникает перед любым студентом, изучающим социологию, а именно вопрос об объективности. Уже Эмиль Дюркгейм в «Методе социологии» настаивал на необходимости «понимать социальные факты как вещи», однако важно еще знать, как осуществить это в конкретном случае, особенно когда исследователь обращается к социальным универсалам, частью которых является сам.

Вторая глава («Предмет социологии и социальная проблема») на основе анализа нескольких современных социальных проблем («положение женщин», «иммигранты», «третий возраст» и т. д.) раскрывает незаменимую роль социальной истории, позволяющей установить генезис того, что сегодня нам кажется очевидным и, соответственно, относительность этих проблем. Исследование показывает, что социальная проблема не является, как это часто думают, социологической проблемой, но — и это особенно важно — что социальную проблему можно изучать социологически.

Третья глава («Статистическое конструирование») на примере самоубийств, безработицы, контрацепции и использования социально-профессиональных категорий показывает, что незаменимость статистических исследований, совершенно очевидная для социолога, не должна заслонять того факта, что сами исследования конструируют реальность, которую они берутся объективно измерять, и что трудности измерения связаны вовсе не с несовершенством инструментария, но почти всегда исходят от самой социальной реальности. Таким образом, в качестве объекта изучения здесь взяты социологические исследования, и к самой социологической практике применены методы социологии.

Этот прием служит удачным введением к последней главе («Разрыв с предвзятыми или искусственно созданными конструкциями»), которая показывает, что одно из главных препятствий для социологической практики сегодня состоит в распространении результатов социальных

наук или, точнее, в определенном представлении о социологии, сложившемся в обществе. Рассматривая в качестве примера опросы общественного мнения (зондажи), которые обычно путают с социологией, эта глава напоминает, что социологическая практика отнюдь не сводится к использованию одних лишь технических приемов анкетирования, но в первую очередь предполагает операции по конструированию объекта исследования, а через него — и собираемых данных.

Глава I

Луи Пэнто

**ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
И НАУЧНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ОБЪЕКТИВНОСТИ**

Социолог должен иметь в виду, что он сам принадлежит к социальному миру, который намерен описать и понять. Степень, с которой эта принадлежность отзывается в нем, варьирует в зависимости от ситуации: о включенном наблюдении можно говорить лишь в том случае, когда исследователь не имеет иного источника, кроме собственного опыта. Погруженный в среду, спонтанно понимаемую дорефлексивным способом, тот, кто желает стать «наблюдателем», не всегда располагает средствами для установления отстраненного отношения, обычно ассоциируемого с наукой, расчетами, измерениями, документами, архивами. Поэтому он неизбежно приходит к тому, чтобы рассматривать как «научную объективность» активное и методичное конструирование знания, состоящего в накоплении, классификации информации и, одновременно, в сознательной критике ограничений, присущих его точке зрения. Дюркгеймовский принцип, в соответствии с которым «следует интерпретировать социальные факты как вещи», включает и личный опыт всякого исследователя, стремящегося частные впечатления заменить корпусом знаний, по возможности независимым от его спонтанно возникшего отношения к социальному миру. «Вещи» физического мира служат моделью для объектов социологического знания именно по причине внешней воплощенности, которой они обладают непосредственно и вполне ощутимо. А, как показал Башляр на примере физики, объективность научных объектов всегда неотделима от акта объективации.

Если научное исследование и содержит необходимость рвать с обыденным здравым смыслом, оно, тем не менее, не навязывает жесткую стратегию разрыва с «предпонятиями». Конечно, социолог стремится преодолеть границы своего опыта, проблематизируя его благодаря статистическим данным, сравнениям, обобщениям. Но в

этом опыте он также черпает некоторое знание, чаще всего имплицитное или латентное (к примеру, такие «данные», как манера держаться, говорить...), которое со временем может быть дополнено, исправлено, реинтерпретировано. Являясь определенным препятствием знанию, опыт может, тем не менее, трактоваться как своего рода информация. Он составляет часть социального мира и в таком своем качестве, следовательно, должен рассматриваться как объект анализа: принятие, отторжение, замещение... — эти свойства, которые составляют специфическую окраску опыта, могут быть подвергнуты научному осмыслению. Такого рода указания на роль опыта не имеют здесь ничего общего с апологией здравого смысла: даже при столкновении с новыми и не выбираемыми им ситуациями социолог использует инструменты анализа, предоставленные его специфической культурой.

Таким образом, социологическая объективация имеет два измерения: недоверие к опыту и учет того же самого опыта. Стремление ограничиться лишь первым параметром привело бы к «объективизму», т. е. к исключению личных значений во имя репрезентативности, а это ведет к трактовке их как «пережитков», несущественных и недоступных для интерпретации. Желание непосредственно применить второй параметр в лучшем случае приводит к своеобразному разъяснению личного опыта (соответствующего, в частности, феноменологическим, культурологическим подходам...), не имеющему правил, способных обеспечить его обоснованность. Например, в исследованиях таких сфер, как брак и межиндивидуальные связи (сексуальные, дружеские, светские...), «законы», выражающие действие «механизмов» гомогенизации связей (подобное идет к подобному), вырабатываются вопреки обоснованию, обычно выдвигаемому самими агентами — участниками связей в эмоциональных и психологических терминах «симпатии», «влечения» и «вкуса». Тем не менее социолог не может игнорировать того, что регулярности, выявленные в ходе этого необходимого этапа исследования, могут быть выявлены лишь настолько, насколько агенты производят их на основе сво-

бодного выбора. Это отношение агентов к их практикам составляет предмет специального анализа.

Даже когда социальное принуждение является очевидным, как в случае обязательной военной службы, тема которой будет проходить красной нитью через всю данную главу, процесс объективации не идет сам по себе. Как официальные представления военной институции, так и спонтанные рассказы рекрутов представляют собой препятствие, которое следует преодолеть. Официальные представления ссылаются на родового индивида («призывник», «гражданин...»), находящегося при исполнении общезначимых функций («защита Родины»), а спонтанные рассказы рекрутов выдвигают на первый план индивидуальный опыт, воспринимаемый исключительно через призму навязанной ситуации, зачастую оцениваемой как бессмысленная («это ничего не дает»). В противовес различным формам нейтрализации социально обоснованных различий социолог старается выявить связь внешне автономного функционирования военной институции с социальными характеристиками агентов (гражданская профессия, социальное происхождение, дипломы, возраст...). Благодаря этой операции разрыва с обыденным здравым смыслом он содействует выполнению требования социологического знания, к чему призывает правило Дюркгейма: «социальное следует объяснять социальным» (а не «родовым индивидом» или «отдельной личностью», которые являются по самой природе независимыми от «социального»). Социолог исходит из гипотезы, что даже такая институция, которая, как представляется, отделяет «индивидов» от внешнего мира, от его представлений и классификаций, может быть понята, только если удастся установить соответствие — далеко не всегда очевидное — между внутренним порядком институционализированного универсума и внешним порядком социальных структур. Эта гипотеза о соответствии является не просто одной «идеей» из многих: она управляет всей деятельностью по сбору данных, по отбору материала и, следовательно, по конструированию самого объекта. Сконструированный объект не является эмпирической

реальностью (военная служба, армия), но «абстрактной» системой отношений между функционированием определенной институции и социальными группами, неравными по ряду критериев (Pinto, 1975).

Военная служба может представлять собой интересную иллюстрацию к методу включенного наблюдения. Социолог может сам быть призывником, что представляет единственно возможный доступ к универсуму, мало открытому для прямого наблюдения. Первоначально он владеет лишь совокупностью впечатлений и чувств, которые составляют его собственный опыт; даже если он и обладает «привилегией» участия, объективация не приходит сама по себе. Лишь процесс конструирования объекта позволит ему понять собственную точку зрения и овладеть знанием правил, позволяющих учитывать индивидуальный опыт.

1. *Объективирующий разрыв*

Именно потому, что социолог изначально погружен в сферу личного опыта, он должен на первых порах постараться наработать инструменты, которые наиболее благоприятствуют предрасположенности «рассматривать социальные факты как вещи».

1.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНЕНИЯ: ПРОЦЕСС ВНУШЕНИЯ В «ТОТАЛЬНЫХ ИНСТИТУЦИЯХ»

Среди методов отчуждения от наиболее непосредственно обнаруживаемых характеристик определенного социального универсума обоснованное сравнение (в противо-

положность зыбкой метафоре) является средством привилегированным: оно показывает, что некоторые характеристики являются частью более общей логики. Если рассматривать армию внутри группы институций, обладающих сходными чертами (огороженность места, внутренняя регламентация, специфические санкции, ношение формы...), то чрезвычайно полезной категорией для этого может служить понятие «тотальной институции», заимствованное у Эрвина Гоффмана¹: «Тотальную организацию (total institution) можно определить как место пребывания и деятельности большого количества индивидов, которые в течение достаточно долгого времени отрезаны от внешнего мира и ведут совместно затворническую жизнь, формы которой эксплицитны и тщательно регламентированы» (Goffman, 1968, p. 41).

Эти институции характеризуются физическим и/или моральным принуждением потому, что оно выступает как наиболее эффективное средство для искоренения привычек и ожиданий, связанных с существованием, которое велось прежде. Чтобы конечные цели институции могли быть адекватно достигнуты, и, поскольку, как представляется, никто им не подчиняется добровольно и с удовольствием, следует сначала уничтожить «прежнего человека». Институциональная кодификация практик содержит технические параметры, вытекающие из необходимости наиболее экономно (с точки зрения денег и времени) управлять группой индивидов, зачастую многочисленных, разных, более или менее уклоняющихся, а также ритуальные параметры, вытекающие из необходимости демонстрировать превосходство институции над ее членами («затворниками», как говорит Гоффман, которых институция обязана подчинять). Один из принципов функционирования весьма различающихся институций, таких как интернат, приют, тюрьма... состоит в том,

¹ По причине двойственности французского термина «тотальный» мы считаем возможным использование простой кальки с английского выражения «тотальная институция». В таком смысле оно в основном и употребляется. — *Прим. автора.*

чтобы сокращать «частную сферу» индивида, свойственную его «нормальному» существованию.

Чтобы определить отличительные черты одной из этих институций, полезно вычленить ряд переменных по некоторым измерениям: все институции такого типа могут быть ранжированы в зависимости от степени физического принуждения, которое они оказывают или скрыто санкционируют в зависимости от степени личной поддержки со стороны индивидов, на которую рассчитывают институции, или от экономической реальности, которую они прямо или косвенно поощряют (можно сослаться на концепцию Макса Вебера об аналогии между монастырским аскетизмом и рационализацией экономической активности)... С того момента, как сравнение приводит к экспликации общих черт и различий, оно может рассматриваться как составная часть научного исследования.

Наблюдение и институция

Прежде чем приступить к описанию военной службы с помощью понятия «тотальная институция», следует поставить предварительный вопрос о методе наблюдения: какими средствами мы можем располагать, чтобы понять, что мы действуем правильно?

В первую очередь можно обратиться к приемам кодификации, осуществляемой самой институцией. Как еще можно определить практики, которым институция придает большое значение, если не через изучение средств, прямо предназначенных для их усвоения? Чтобы обнаружить правила, их следует искать, по крайней мере, на первых порах, в учебниках, памятках и, конечно, в официальных предписаниях, которые часто вырабатываются в педагогических целях: путем вербализации эти документы обеспечивают дублирование навыков, которыми агенты институции владеют, но зачастую не в состоянии обнаружить. Очевидно, что реальность отличается от того, о чем говорится в письменных предписаниях, тем

не менее они представляют собой ценный материал. Стремясь к эффективности, они не пренебрегают деталями, которые на первый взгляд могут казаться несущественными. Таким образом дискурс, который открыто нацелен на тщательно прописанные «мелочи» (расписание, правила поведения, различные ситуации), иногда опережает «наблюдателя» с его «этнографическим» взглядом.

Внимание, открыто обращенное на области явным образом регламентированные, не должно исключать сбор фактов, существенно менее кодифицированных. Так, например, формы шуток, которые могут циркулировать внутри достаточно однородной группы, представляют собой очень важную информацию об этой группе: то, что кажется смешным и заставляет смеяться — причем смеяться всех, — позволяет определить то, что группа считает запретным и, следовательно, опасным для высказывания, а также то, что она считает словесным героизмом. В армейском мире шутка призвана выражать в основном удовольствие, которое получают члены жестко регламентированного универсума от нарушения установленного порядка, сводя то, что считается «высоким», к более низкому, — немного на манер поведения народных масс в карнавальных ритуалах (Бахтин, 1990). Выражение «подвинь свой зад» («отвали», «исчезни»...) как нельзя лучше, в отличие от обычного «подвинься», позволяет освободиться от «красот» (и других «выкрутасов») официального языка, которыми общество обычных смертных украшает — и загромождает — свою речь. Брутальность этой формы устного выражения представляется несовместимой с цензурой других универсумов, где оппозиция между «высоким» и «низким» может быть совершенно иной. Священники не могут предаться свободе «поржать» («во всю глотку»), но тем не менее могут позволить себе намекнуть, покраснев, на легко контролируемые благодушные искушения («грешки», «чревоугодия» или «апатию»). Точно так же представители школьной элиты (подготовительные курсы к Высшей Нормальной школе, студенты Высшей Нормальной школы) не могут не помнить

о табу, которые наложены на наиболее грубое употребление языка, но они находят в литературной технике надлежащие средства сообщения, использование которых может стать самоцелью: «праздновать Бахуса» представляет собой мирскую активность под видимостью культа, тогда как «служить Клио», наоборот, скрывает аскетическую эрудицию за шармом мифологического мира.

Социолог должен более или менее сознательно следить за тем, чтобы не подчиниться социальной или интеллектуальной иерархии процесса сбора и накопления данных: когда все подчинено конструированию объекта, любой метод может считаться полезным и уместным.

Наблюдение над техникой умерщвления

Осмысление «конверсии», которую выполняет тотальная институция, требует систематической, т. е. одновременно последовательной и продуманной работы: техники «умерщвления» (заимствуя термин у Гоффмана) имеют целью свести до минимума (однако с некоторыми допущениями) сферу частной жизни. Они будут рассмотрены на примере двух типов институций.

Техника умерщвления в армии

Сравнительный анализ позволяет констатировать, что принцип такого рода техники не является специфическим для военной институции, даже если она сообщает ей достаточно характерные формы.

— Отрицание всякой идентичности

Воздействие на личностную идентичность осуществляется с помощью запрета различных форм, обычно используемых для представления себя. Запрещается называть имя, а фамилия произносится в сочетании с указанием принадлежности к тому или иному классу («солдат А», «драгун Н»...). В свою очередь, этот класс включен в ле-

гитимную иерархию надындивидуального характера (ср. «мой полковник» с «мой отец», «мать-наставница», «товарищ секретарь»...).^{*} Личные признаки вытесняются в обмен на форму, выполняющую очевидную функцию нивелирования, дополняемую стрижкой волос «в соответствии с правилами». Сфера частного измеряется тем, что остается: несколько фотографий, сверток съестных припасов, транзистор, книга (не «скандальная»)... В любом случае, объем этой сферы строго ограничен пространством стандартного шкафчика, который должен содержаться в постоянном порядке и в любой момент может подвергнуться контролю какой-либо инспекцией.

— *Ограничение во времени и пространстве*

Организация времени и ограничение перемещения во внутреннем пространстве институции означает утрату личностью «автономии»: институция стремится занять все время индивида, который не должен более принадлежать себе. Отсюда бесконечная череда ситуаций, требующих поспешности (неожиданные переключки, наряды вне очереди, регулярные наряды, марш-броски, бег) или бесконечного ожидания (очереди, охрана...): это способствует поддержанию постоянной готовности к возможным приказам, в основу которых почти всегда заложено требование личного самопожертвования.

— *«Вербовка»*

Осуществляемая внутри групп (эскадроны, караулы, спальные помещения в казармах), она отражает процесс институционального реклассирования, в результате которого индивид существует лишь в качестве члена своей группы, что делает его ответственным за все, что в группе происходит. Дедовщина или коллективное наказание, которые носят почти регулярный характер, основаны на

^{*} Во фр. языке при обращении к вышестоящему военному чину сохраняется использование притяжательного местоимения, которое, как правило, на русский язык не переводится либо заменяется словами «товарищ», «господин». Ср.: «мой генерал» — «товарищ генерал» — *Прим. пер.*

глубоко «антииндивидуалистическом» принципе. Более того, приходится еще пройти через то, что Гоффман называет «физическая контаминация» (лично не контролируемая скученность) и «моральная контаминация» (сосуществование с нежелательными и невыбираемыми людьми).

— *Безусловное подчинение*

Абсурдный или противоречивый приказ тем более эффективен как инструмент дрессуры, чем менее он обоснован своим содержанием (которое и не может быть выполнено) и чем более — формальным качеством приказа («так надо», «обсуждению не подлежит»...). Приказ, достойный исполнения только потому, что он отдан агентом, уполномоченным институцией, вскрывает в крайней и очищенной форме отношение иерархической зависимости: «В Сэн-Сире, чтобы мы прониклись идеей, что всякий приказ, каков бы он ни был, даже если он кажется идиотским (о чем низшему по чину не дано судить), и тем более если он таковым и является, должен быть выполнен без колебаний и обсуждений» (*Federphil. Nos vings ans a Saint-Cyr. Paris, 1933*). К этим процедурам, которые можно найти во многих других институциях, следовало бы добавить всякого рода «персонифицированные» методы, благодаря которым агенты институции отслеживают и третируют строптивых индивидов, «умников», «горлопанов» — в других обстоятельствах их бы назвали «заносчивыми» или «претендующими» — тех, кто много о себе воображает.

Негативный язык, использованный здесь для описания процесса искоренения типов поведения, обычных для гражданской жизни, таит в себе угрозу представить одномерного индивида по принципу механистической метафоры — «автомата». В самом деле, индивид, чьему «обращению», если воспользоваться церковным языком, стремится способствовать институция, это тот, кто усвоил коллективный и деперсонифицированный порядок в такой мере, что более не нуждается в эксплицитных указаниях, чтобы соответствовать объективным требованиям институции. Более того, он в состоянии проявить оп-

ределенную степень «инициативы», которая может быть признана и даже поощряема институцией с помощью продвижения по службе (младший командный состав).

Во многих тотальных институциях можно найти это стремление к «конверсии» — замене «прежнего человека» «новым» с помощью не столько эксплицированных убеждений, сколько совокупности процедур, которые подобны своеобразной гимнастике.

Систематическое вдалбливание автоматизмов в тело столь значимо в подобных институциях (даже когда дело касается в основном заботы о душе) поскольку, доводя до крайности логику всякого ученичества, они обеспечивают полное соответствие Порядку. «Военный дух» вырабатывается с помощью специфической ортопедии — всех этих «ровняйся», «подбородок вперед», «держитесь прямо», «грудь колесом», целью которых является искоренение из тела одновременно и естественного, и женственного. Инкорпорированные в форме практических схем в жест и слово ценности «прямоты», «энергичности», «твердости», «чистоты», «точности», «решительности», «серьезности», «добровольности» противопоставляются гражданским ценностям, соотносящимся с «расхлябанностью», «мягкостью», «неопределенностью», «ненормальностью», «легкомысленностью», «изысканностью», «сентиментальностью» и «инстинктивностью». «Прямая» осанка мужчины с репутацией «лояльного», «честного» и «прямого» отражает, или, лучше сказать, управляет таким же «прямым» и «решительным» духом и языком, которые проявляются в отвращении к «мелким придиркам» и предпочтении очевидностей («в большом коллективе дисциплина не роскошь, а своего рода необходимость»), близких к приказу и инструкции. В словесном упражнении, каким является жанр «рапорта», обнаруживается тот же идеал лаконичной сдержанности. «Факты» должны быть

поданы в краткой форме, оставляя за высшими чинами привилегию окончательной интерпретации; ни «болтовня», ни эмоции недопустимы, когда речь идет об изложении сути, «отчете» о том, что «констатировано».

Техника умерщвления в младших семинариях

Младшие семинарии¹ прежних времен (они были отменены в 1967 году), описанные Шарлем Сюо (Suaud, 1975, 1976, 1978), во многих отношениях могут быть сравнимы с армией. Так, очевидной являлась их деятельность по систематической маркировке, с помощью которой семинария стремилась трансформировать в будущего священника ребенка, чье призвание первоначально отнюдь не носило необратимого характера. Помимо обычных средств, среди которых униформа, регламентированный режим и время, насыщенное церемониями, были наиболее типичными, существовал целый арсенал более изощренных мер, предназначенных регулировать внешне незначительные аспекты существования: на превосходство сакрального указывается во всех самых «профанических» видах деятельности таким образом, чтобы они не могли служить убежищем, опасным для духовной жизни («Едите ли вы, пьете ли вы, что бы вы ни делали, делайте во славу Бога»).

Первый пример ежедневной дрессуры: дортуар. «Время перехода ко сну строго регламентировано. Как только трижды прочитана молитва *Аве* перед статуей Девы Марии, следует без промедления отправляться спать, строго соблюдая закон “Большой тишины” [...]. Чтобы подавить лукавство, настоятельно рекомендуется обернуть вокруг шеи четки и прочитать несколько молитв, что изгоняет всякую “дурную мысль” или всякий “дурной жест”. Когда при восстании ото сна “Прези-

¹ Институты, которые давали специфическое среднее образование будущим семинаристам.

дент" (так называли воспитателя) прочтет молитву "*Benedicamus Domino*", следует немедленно встать, отвечая "*Deo Gratias*", затем совершить свой туалет столь же тщательно, сколь и энергично, однако не слишком увлекаясь "временем, отведенным для приведения в порядок волос", как об этом говорит инструкция, зачитываемая публично во время объявления оценок. Семинарист, наконец, крестясь, покидает дортуар, затем направляется в часовню, вновь приветствуя Деву Марию троекратным *Ave*».

Второй пример: трапезная. Здесь также «принятие пищи [...] открывается молитвой и заканчивается чтением Нового Завета и жития Святых». Трапезная, которая хотя и «представляет меньше опасности, чем сон [...], также последовательно становится школой хорошего поведения, приличия и чистоты». Тишина здесь обязательна, и семинаристы «должны разговаривать "умеренно", избегать "восклицаний и приступов смеха" [...], а также стараться не греметь столовыми приборами» (Suaud, 1976).

В связи с этим можно задаться вопросом относительно специфики военной институции: почему армия считает возможным не контролировать сон и принятие пищи в той же степени, что и религиозная институция? Конечно, организованный характер этих видов деятельности в общественных местах (столовая, дортуар) требуют, чтобы они были подчинены общему функционированию институции. Но если бы военная институция стремилась к столь же тотальному контролю, можно предположить, что ей пришлось бы:

- запретить проявление «мужских качеств» в ситуациях, не влекущих за собой каких-либо последствий;
- способствовать такому внутреннему настрою, который несовместим с поощряемой армией готовностью к постоянной и интенсивной физической активности.

1.2. УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ АГЕНТОВ И СОЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ «ТОТАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИИ»

Недостаточно описать основные черты машины армейского принуждения. Оно могло бы и не иметь никакого эффекта, если бы не существовало аналогии между социально обусловленными качествами тех или иных индивидов и постоянными и молча усваиваемыми характеристиками воздействия, которое они испытывают. Функционирование институции предполагает определенные социальные условия, которые обеспечивают успех работы по внушению. Это не «аксиома», а общий принцип социологического объяснения. В «сложном» обществе всякая институция неизбежно оказывает дифференцирующее воздействие на агентов, или, что одно и то же, различные социальные группы неравным образом предрасположены к тому, чтобы следовать требованиям той или иной институции. Если данный этап исследования требует использования языка статистики, то потому, что он дает хороший (но не исключительный) инструментальный разрыва с обыденным сознанием.

Действительно, статистический анализ позволяет установить, что агенты обладают неравными объективными возможностями:

- получать определенный тип благ и заниматься отдельными видами деятельности;
- соответствовать социально определенным образцам при их использовании или потреблении (успехи в учебе, «изысканный вкус»...);
- культивировать соответствующие субъективные аспирации (чувствовать себя «избранным» или «недостойным», «созданным для...»).

Если институции, в частности, «тотальной», свойственно навязывать индивидам свои собственные коды расшифровки личного опыта, и если обычно она не допускает

иных мотивов добровольного вступления в институцию, кроме тех, которые она формулирует сама на возвышенном языке призвания («Если ты любишь приключения, армия предлагает тебе энергичное дело», «Слушай, слушай. Иисус говорит с тобой. Он зовет тебя: “Иди, следуй за мной”»), то статистический анализ предлагает средства выявления социальных механизмов адаптации агентов к институции и, следовательно, механизмов производства «призвания»: он позволяет, тем самым, уловить и обратные случаи, т. е. неприятия и отказа.

На данном этапе работы по конструированию объекта, можно было бы определить действие тотальной институции, утверждая, что она стремится систематизировать социально классифицированных индивидов в соответствии со своими собственными принципами; между тем, иерархия мобилизованных индивидов и качеств, которую она устанавливает, не полностью автономна от внешних иерархий. Выявление отношений между классификацией институции и социальными классификациями, так же как и трансформирующих законов, которые регулируют эти отношения, дает возможность преодолеть ограничения, присущие предшествующей фазе и не позволявшие по-настоящему рассмотреть вопрос различий между столь несхожими институциями, как, скажем, тюрьма и элитарная школа. Чтобы не ограничиваться абстрактным описанием формальных инвариантов («солдат» по сравнению со «священником», с «пансионером» лицея или *Grandes École*), следует выявить специфику оппозиционных связей, свойственных самой институции (армейский — гражданский, мужественный — женственный, энергичный — расслабленный), соотнося их с системой отношений между социальными классами. Это предполагает две операции: первая состоит в анализе социальных характеристик агентов военной иерархии, с самого ее верха до самого низа; вторая — в исследовании исторического формирования военной институции во Франции. Совершенно ясно, что последнее не равносильно «включенному наблюдению», поскольку изучение прошлого,

с присущими ему трудностями, представляет собой определенное отклонение в сторону. Однако исследователь не может упустить его из поля зрения, если он стремится принять с точки зрения метода все меры предосторожности против частичного, антиисторического видения, т. е. фетишизации объекта, который он описывает.

После того как анализ связи между военной и социальной классификациями проделан, становится возможным ставить вопрос о социальных функциях военной службы. Это возможно, когда оказывается, что армия классифицирует призывников в соответствии с логикой, основание которой не имеет сугубо внутреннего происхождения. Взяв в качестве объекта эти функции, социолог не привносит *ad hoc* гипотез в полевую работу, происходящую в непосредственной близости от материала, при конструировании объекта он лишь выявляет такой аспект, который предполагает наблюдение вплоть до самых скрупулезно схватываемых деталей. Социолог игнорирует академическое разделение между фазами анализа: одновременно описывается данность (типология «солдат» или «начальников», «ситуаций»), ей по индукции придается надлежащая форма («культура новобранцев», «культура армии»...) и осуществляется ее «теоретизация» (моделирование, анализ «подсистемы» и ее «дисфункций»...).

Одним словом, эта новая фаза должна помочь, с одной стороны, рассмотреть отношение между функционированием институции и воспроизводством социального порядка и, с другой стороны, подготовить следующую фазу, посвященную осмыслению опыта, проживаемого агентами. И здесь вновь анализ может оказаться очень плодотворным: благодаря сравнению различных институциональных классификаций он помогает вскрыть специфику военной институции.

Военная селекция и иерархия качеств

Как изучать селекцию призывников?

Официально призыв солдат основывается на принципе всеобщности, подобном тому, каким вдохновляется обязательная школа или всеобщее избирательное право. Однако, с одной стороны, известно, что, по крайней мере в настоящее время, призывают не всех, подлежащих мобилизации (приблизительно две трети возрастного контингента); с другой стороны, сомнительно, чтобы внутреннее распределение рекрутов точно отражало состав призванного населения. И если сразу же приходится признать невозможность довести до полного завершения анализ процессов селекции, чего требуют предыдущие рассуждения, то, тем не менее, социолог не совсем лишен ресурсов и может воспользоваться для анализа своим собственным положением. Он может прежде всего обратить внимание на то удивление (и замешательство), которое вызывает среди военнослужащих само его присутствие. То есть присутствие индивида, обладающего дипломами, что крайне нетипично для регламентированного универсума, славящегося своей «суровостью» (дисциплинарные или полудисциплинарные войсковые объединения в сухопутных войсках): его объясняют вовсе не закономерностью, а скорее административной ошибкой, либо акцией разведывательных служб. Такого рода диссонанс, который вызывает «приблудший» интеллеktуал, дает некую информацию относительно средней публики, людей, которые считаются находящимися на «своем месте» в подразделении, наиболее близком к общей модели прохождения военной службы. Три четверти из всех призванных проходят службу в сухопутных войсках. Здесь возможны два пути:

— один состоит в сборе доступной информации об общих процессах селекции (освобождение от военной службы, отсрочка от службы или ее «перенесение», свя-

зи, «взятки», «теплые местечки»...), которые, надо думать, определяют реальный социальный состав контингента. И здесь единственный индикатор неравенства в рекрутировании и/или назначении можно получить через связь образовательного уровня и иерархии постов, понимаемой в целом как соотношение «задействованные на конторской службе» — «задействованные на строевой службе» (последние составляют приблизительно треть состава). Образовательный статус (врач, преподаватель и т. д.) является способом либо избежать непосредственного прохождения военной службы, либо получить должности, наименее неблагодарные с точки зрения физической и моральной и более соответствующие способностям;

— другой путь состоит в проведении (если есть возможность воспользоваться личными карточками призванных в армию) case study на примере одного из подразделений, которое ничем не отличается от любого другого в сухопутных войсках, где, как уже отмечалось, сконцентрировано большее число призывников. «Случайная» выборка может быть получена путем отбора на основе личных карточек. Обнаруживается, что среди призванных в феврале доля получивших отсрочку меньше, чем доля отсроченных в июльском наборе (4% против 14%). Среди рекрутов, не имеющих отсрочки в группе февральского призыва, 73% имели образование на уровне Сертификата профессиональной пригодности*. Не обнаружено ни одного сына фабриканта, высшего чиновника или представителя свободной профессии; так же обстоит дело с отсрочниками, чье происхождение по преимуществу можно отнести к нижним слоям средних классов. Что же касается июльского контингента, то он вообще, как известно, имеет более высокий образовательный уровень, а среди всех, получивших отсрочку, дети рабочих составляют 46%, сыновья из семей сферы обслуживания — 8%, сыновья служащих — 11%, дети сельскохозяйственных работников (о которых нет более точных сведений) — 11%,

* Этот сертификат ориентировочно соответствует нашему диплому ПТУ. — *Прим. пер.*

сыновья техников и мелких торговцев — 7% и 17% приходится на лица, чье социальное происхождение остается неопределенным (все же можно предположить, что скорее всего среди них нет выходцев из средних или высших классов).

Иерархия людей и иерархия качеств

Анализ социального состава боевого подразделения (в противоположность чисто бюрократической единице) позволяет выдвинуть гипотезу, что армейская иерархия воспроизводит (в двойном смысле слова) социальную иерархию качеств и, через нее, иерархию социальных позиций. Основное содержание добродетелей, ожидаемых от подчиненных, состоит в практически безусловном подчинении «начальникам» (мы это могли видеть на примере абсурдных приказов) — идеальной добродетели доминируемых: «хороший солдат» есть своего рода перевод выражения «хороший парень», бытующего в народе. В соответствии с логикой, которая присуща и другим институтам, существует гомология между внутренними оппозициями институции и оппозицией в социальном мире между доминирующими и доминируемыми. И здесь объектом анализа должна стать иерархия качеств, которая раскрывает иерархию людей.

«Рабскому подчинению», в котором содержится принуждение, навязываемое более сильными людьми, противопоставляется «здравый смысл», построенный на своего рода радости служения: усердный рядовой сам творит это немыслимое в гражданском мире чудо социального универсума, одновременно четко упорядоченного и ясно воспринимаемого, очищенного от всяких гражданских причуд (особенно характерных для «интеллектуалов»), каковыми являются, например, страсть к анализу и дискуссии. Соответственно, низ иерархии представляет собой «хорошего подчиненного», который, не сопротивляясь, мирится

со своим скромным уделом: скорее это будет крестьянин («с корнями»), чем рабочий (член профсоюза). Оценки и замечания вышестоящих по поводу «духа» и «поведения» их подчиненных могут изучаться в соответствии с той же логикой, что и их школьные эквиваленты (сведения об успеваемости), с той только разницей, что они по преимуществу носят конфиденциальный характер. Вот пример характеристики, которая содержит в себе определение «отличника военной службы»: «Спокойный, преданный, компетентный, оказывает ценную помощь старшим по званию. Средних умственных способностей, но трудолюбив. Дисциплинирован. Сильно развито чувство дружбы. Отличник службы». Совершенно ясно, что ожидаемая образцовость солдата, который явно предрасположен таковым быть, прекрасно совмещается с некоторой ущербностью, выраженной, впрочем, языком, принятым в школьных институтах. «Средних умственных способностей, но трудолюбив»: такое суждение делает упор в основном на способности к служению, о чем свидетельствуют, с одной стороны, такие прилагательные, как «способный», «преданный», «компетентный», а с другой — «дух товарищества». Это последнее качество не отмечалось бы так часто, если бы оно не служило признаком «хорошей адаптации» к среде. «Коллективизм», который поощряется армией, в отличие от других «тотальных институций» (семинарии, элитарные школы), более озабоченных личными подвигами или «реализацией личности», свидетельствует о безоговорочном согласии на занятие позиции, характеризуемой как по вертикали (подчинение приказу), так и по горизонтали (кооперация для выполнения общей задачи).

Социальные функции военной службы заключаются в специфическом вкладе, который определенная система принуждения и классификации вносит в систему отно-

шений между социальными группами с неравным распределением капитала (экономического, культурного...). Армия участвует в социальном воспроизводстве, но она это делает в соответствии с логикой, свойственной данной институции. В этом смысле возможно ее сравнение со школьной институцией, что позволяет уяснить специфику соответствующих функций различных институций. Если школа выполняет постоянную селективную функцию, которая частично строится на исключении, армия должна осуществлять селекцию, не прибегая к исключению. В армии процесс селекции, который в любом случае оказывает воздействие временного и ограниченного характера, состоит в основном в производстве доминируемых, которые оставались бы в своих рядовых чинах. Следовательно, можно различать социальную функцию, выполняемую армией (и в некоторой степени школой) по приучению доминируемых, от функции школы по селекции доминирующих.

Выявление социальных функций военной службы необходимо для того, чтобы:

- очертить границы, внутри которых может осуществляться приучение, ибо не всякий агент поддается ему;
- рассмотреть возможность различных функций (специфических функций по защите, по регулированию рабочей силы, которой грозит безработица...), не устанавливая их иерархии. Не может быть никакого окончательного мнения относительно задач военной службы, относительно «потребностей», которым она отвечает («армия служит дрессировке»).

Социальные условия повиновения

Отношение к военной институции и к тому принуждению, которое она осуществляет, варьирует в зависимости от социальных характеристик агентов¹. Для одних по-

¹ Факт, который скрывают большинство опубликованных опросов общественного мнения, за редким исключением (опрос Французского института общественного мнения, май 1970 года).

виновение принуждению составляет лишь часть системы аналогичного пережитого опыта; среди представителей же привилегированных групп такое принуждение может вызвать скандал или оказать травмирующее воздействие, особенно если оно не смягчается полученной в дальнейшем возможностью «командовать людьми». Кроме того, влияние социальной принадлежности на восприятие военной службы опосредовано отношением, которое устанавливается между периодом службы и фазой жизненного цикла. Значение, которое придается этому периоду существования, зависит от того, вписывается ли оно в ту траекторию биографии, которая считается нормальной или желательной. В зависимости от обстоятельств служба может расцениваться как некий ритуал перехода, если и не очень желательный, то, во всяком случае, неизбежный, либо же, наоборот, как бессмысленный и ненужный разрыв с нормальным ходом вещей.

— *Военная служба как ритуал перехода*

В народе служба в армии в возрасте 18–20 лет считается периодом перехода от молодости к зрелости, от относительной защищенности со стороны родительской среды к риску, связанному с независимостью... Впрочем, слово «ритуал» не есть лишь метафора: вспомним, как отмечают дни, связанные с регистрацией в военкомате, с медицинским освидетельствованием, с проводами в армию, а также многочисленные ритуалы, сопровождающие жизнь в казарме. В таком смысле служба выступает как момент переходного периода, короткого, но одновременно особенного: молодой человек может уже работать, но зачастую в ожидании лучшего его работа носит характер временной; он еще не «устроился», поскольку еще не имеет собственного жилья, и даже если он уже «гуляет», то все равно женитьба (или свободный брак) откладывается на более поздний срок. После службы наступает время «обустройства», поиска более постоянной работы, а может быть, и окончательного трудоустройства, «остепенения», прекращения «тусовок» с друзьями. Наконец, чем более вероятна безработица, что как раз характерно

для наименее образованных — выходцев из народных классов в кризисные периоды, тем реже военная служба воспринимается как помеха в развитии «карьеры». Служба представляется частью универсума почти неизбежных обстоятельств, которые навязывает «жизнь» и от которых нет смысла уклоняться, разве только в том случае, если страдаешь какими-то тайными пороками — «все равно в конце концов все узнают» — постыдными или смешными (непроизвольное мочеиспускание, низкий коэффициент умственного развития...).

— Военная служба как ярмо

Что касается молодых людей с дипломами, выходцев из средних и высших слоев, то здесь армия сталкивается с проблемой: либо призывать их как можно раньше, ослабляя тем самым их позиции в жесткой конкурентной образовательной борьбе, либо откладывать их призыв, а тем самым и момент их стабилизации. Таким образом, когда бы призыв ни осуществлялся, военная служба может представлять собой лишь препятствие в жизни, не терпящей «простоев». Нарушая течение жизни, военная служба, тем не менее, никогда не воспринимается как совершенно исключаемый вариант, однако, во всяком случае в периоды мирного времени, всегда есть возможность поиска альтернатив, позволяющих надеяться на смягчение навязываемых обстоятельств. Необходимо стечение самых неудачных обстоятельств, чтобы в качестве простого солдата отдать столько времени строевой службе; с другой стороны, существует масса примеров тех, кто «неплохо выкрутился».

Доминирующие и доминируемые в военной институции

Учет социальных характеристик агентов необходим не только для того, чтобы изучать состав призывников, но и для того, чтобы исследовать контингент агентов институции: будучи далеко неоднородным, он структурирует

ся с помощью оппозиций, аналогичных тем, какие существуют между позициями вышестоящих и подчиненных в иерархии. Не выделяя группу военных в качестве собственно объекта исследования, можно, тем не менее, указать несколько моментов, которые позволяют проиллюстрировать практику сравнительного анализа, основанную на принципах структурной оппозиции.

— *Элитарные качества*

Как и в большинстве институций (школа, Церковь...), высшие позиции ассоциируются с блестящими качествами, тогда как средние достоинства — «серьезность» либо «верность» — являются уделом подчиненных. Поэтому не следует торопиться распространять на всю военную институцию характеристики, принадлежащие этим последним. Собственно структурный анализ заключается в том, чтобы показать, что релевантной является не позиция как таковая, но система оппозиций между позициями, различающимися по характеристикам траекторий агентов, которые их занимают.

— *Специфика военной элиты*

Недостаточно включить начальников в социальный универсум «доминирующих», поскольку то, чем они от него отличаются, столь же важно, как и то, что их с ним связывает. Как правило, всякая доминирующая позиция в какой-либо институции предположительно опирается на «личность» агентов, которые ее занимают. Среди «способностей», делающих «начальника» достойным быть руководителем, фигурирует и «характер». Это свойство отличается от качеств, считающихся неполноценными, — «абстрактными» и «теоретическими», — которые присущи «интеллектуалам»: «характер» это то, что позволяет добиться ревностного послушания солдат, особенно в ситуации повышенной опасности.

— *Внутреннее деление командного состава*

Внутри командного состава оппозиция между доминирующими и доминируемыми воспроизводится в весьма спе-

цифических формах. Например, дистанция между офицерами и унтер-офицерами, которая является решающей, если мы хотим анализировать социальное деление деятельности командного состава, характеризуется разрывом между «блестящими начальниками», наделенными даром «инициативы», и служаками, обладающими скорее способностью «скромного» и «незаметного» исполнения приказов. Эти последние предрасположены быть промежуточным звеном между высшими эшелонами и рядовыми, с которыми они в определенной мере имеют общие манеры и язык. Наконец, даже среди офицеров можно распознать аналогичную оппозицию между людьми, рано выдвинувшимися на командные должности благодаря престижному образованию, полученному в Grandes Écoles, и теми, чье более позднее продвижение связано с выслугой лет.

Доказательность сравнения

На этой стадии анализа использование сравнения оправдывается полностью: специфика армейской классификации обнаруживается более очевидным образом, если этот процесс рассматривается сквозь призму ему подобных.

Школьная «классифицирующая машина»: la khâgne*

Осуществляемая школой классификация представляет очевидный интерес в той мере, в какой, с одной стороны, суждения школьной институции обладают высокой степенью легитимности, и, с другой, обладают длительным воздействием на агентов, что безусловно отличает их от классифицирования призывников.

* La khâgne — подготовительный лицей (для бакалавров) для поступления в Высшую педагогическую школу (Ecole Normale Supérieure). — *Прим. пер.*

Формирование «классифицирующей машины» было предметом специального исследования (Bourdieu, de Saint Martin, 1975), позволившего выявить «категории профессорского мышления», т. е. принципов классификации, осуществляемой преподавателями, на примере одного образовательного канала, близкого модели «тотальной институции», а именно подготовительного лицея для поступления в Высшую педагогическую школу. Логика оценивания, осуществляемая школой, исследуется на основании особенно показательного материала — совокупности индивидуальных карточек, которые заполнялись в течение последовательно четырех лет одним преподавателем философии в первом классе подготовительного лицея в Париже.

Наличие информации, касающейся социального происхождения каждого индивида, а также его качественных и количественных оценок, позволяет проверить следующие гипотезы: «Таксономии, которые распознаются за ритуализированными формулами профессорских характеристик («оценки») и которые, соответственно, структурируют аргументы профессоров в той же мере, в какой те их выражают, могут быть соотнесены с цифровым выражением оценок (отметки) и с социальным происхождением учеников, являющихся объектами этих двух форм оценивания». Можно рассматривать «Машину» в связи с двумя ее операциями: одна из них преобразует социальную классификацию (проще говоря, социальное происхождение) в классификацию школьную, другая школьную классификацию превращает в социальную (проще говоря, профессиональная деятельность впоследствии). Здесь будет рассмотрена одна из этих двух операций.

«Классифицирующая машина», устанавливающая взаимосвязь между двумя факторами — на «входе» наследуемый культурный капитал, который может быть определен профессией отца, и на «выходе» школьный капитал, определяемый с помощью средних оценок, — показывает общее соответствие между этими двумя факторами. По мере того, как мы продвигаемся от самых плохих к

хорошим ученикам, мы поднимаемся от сына мелкого торговца, ремесленника или работника по техническому обслуживанию (из провинции) к сыну университетского профессора права или филологии в Париже, через профессии инженеров или крупных коммерсантов. Оппозиция между доминирующим и доминируемым полюсами является принципом гомологии между пространством социальных классификаций и пространством школьных классификаций и, следовательно, наблюдаемых соответствий.

При анализе шкалы заслуг, которые подразумевают характеристики, даваемые преподавателями, видно, что внизу оказываются ученики «недалекие», «простоватые», «раболепные», «примитивные». В средней части шкалы («хорошая середина») появляются ученики «старательные», «серьезные», «сильные», а на вершине оказываются ученики, способные доводить дело «до конца», «до совершенства», «самобытные». Даже внутри группы «хороших» существует оппозиция с точки зрения характера успеха: «блестящим» субъектам, достигающим успеха легко, благодаря «одаренности» или «избранности», противостоят субъекты, представляющие лишь негативную форму успеха, характеризуемого «трудом», «усилиями», «прилежностью». В школьных карьерах и качествах, дисциплинах, учебных заведениях всегда обнаруживается этот дуализм между благородной формой образца и сугубо школьной формой, которая подразумевает некоторую ущербность.

Из установленной таким образом гомологии между двумя факторами — социальным и школьным — можно вывести, что школьная классификация обладает глубоко скрытой объективной истиной: практически неуловимые, но социально обоснованные признаки личности (стиль, дикция, внешний вид...) составляют критерии сугубо школьного акта оценки. Но для того, чтобы не упустить часть описываемой реальности, к чему приводит вера в независимость профессорских суждений, следует допол-

нить первый момент анализа, характеризуемого разрывом с внутrigрупповыми представлениями, вторым моментом. Он состоит в том, чтобы описать функционирование «классифицирующей машины» как «идеологической машины», которая, скрывая от агентов соответствие между школьным и социальным классифицированием, облегчает тем самым его осуществление. Делая это соответствие явным, социолог начинает понимать, что социальные функции классификации могут осуществляться таким образом, чтобы создавалось впечатление, что агенты институции (прежде всего в собственных глазах) подчиняются лишь целям и правилам школьной институции. Благодаря коллективным механизмам институционального освящения создается впечатление, что классификация агентов не имеет иного смысла кроме как обоснования самой институции: характеристика «философский склад ума» дается не сыну университетского преподавателя, но индивидуальности, которая имеет возможность наилучшим образом соединить в себе все черты, которые школа считает наилучшими.

Для продолжения такого типа анализа специфического случая социального и политического применения социальных наук можно было бы предусмотреть исследование, имеющее целью посмотреть, каким образом на протяжении нескольких последних лет «культурное неравенство» было названо и начало рассматриваться как «социальная проблема», могущая заинтересовать политиков, экспертов, педагогов, экономистов.

Процесс классификации в младших семинариях

Чтобы понять условия «производства веры», обратимся еще раз к исследованию Шарля Сюо, который также описывал «классифицирующую машину» (Suaud, 1976).

Статистический анализ позволяет показать достаточно легко, что до 60-х годов наиболее вероятная публика

этих институций была представлена детьми крестьян. Следовательно, вся работа по моральному внушению, осуществляемая семьей и институцией, одновременно или поочередно, параллельно или совместно, состояла в том, чтобы пробудить чисто религиозные ориентации, не сводимые к профаническим интересам, и способствовать религиозной реинтерпретации опыта: «Восхваляя “благочестивые семейства” [...] (священники) давали этим многочисленным семьям титул “колыбели религиозного призвания”, зная, что именно такие семьи наиболее идеологически “предрасположены” “пожертвовать кем-либо из детей” [...]» Семьи играли решающую роль в возникновении призвания, участвуя тем или иным образом в работе по религиозной маркировке: слово институции было наготове для того, чтобы быть воспринятым в «христианской семье», которая, исподволь ориентируя одного из своих сыновей на духовный сан, ничего, казалось бы, не предпринимала, а лишь подчинялась неизбежному требованию. В «тишине» и «сосредоточенности», а, иначе говоря, в незнании детерминант этой социальной предназначенности, могло осуществляться подчинение «призыву» Бога. За определенный период младшая семинария позволяла обеспечивать религиозное преобразование черт, присущих крестьянству. Таким образом, школьная деятельность всегда была подчинена фактору «духовного прогресса» (примат латинского языка, классического образования, незначительная роль более современных предметов, корреляция оценок благочестивого поведения с результатами школьной успеваемости и т. д.): ученики могли цениться в целом по их личным религиозным заслугам, не подвергаясь оцениванию в соответствии с сугубо школьными критериями, которые могли бы (согласно логике школьной институции), вероятно, быть для них неблагоприятными. Так, «духовный прогресс» всегда приписывался педагогической эффективности институции и выставлялся как показатель победы церковной культуры над крестьянской «натурой». Одновременно с тем, как младшая семинария занималась укреплением некоторых

диспозиций раннего детства, она способствовала сокрытию всякой связи с ним, придавая своему воздействию форму радикального разрыва с мирским существованием: утверждая в качестве правила поведения, что «нужно привыкать есть все», институция стремилась заставить забыть все то, что дети могли извлечь из наказов, когда-то слышанных, но не оформленных в «мораль» («не оставляй хлеб», «суп надо доедать»).

1.3. Воспроизводство «тотальной институции» и наблюдение за изменениями

Выявление социальных условий, обеспечивающих успешность внушения, осуществляемого тотальной институцией, приводит к вопросу о значении трансформаций, затрагивающих социальные свойства агентов: как продлевает свое существование институция, когда происходит смена ее состава? Социолог, если он хочет избежать упрощенческой альтернативы полного изменения («все изменилось») или полного сохранения («все как прежде»), должен учитывать логику системы, которую он изучает, показывая черты, необходимые для воспроизводства институции и, соответственно, вычленив изменения в зависимости от того, совместимы ли они с ее функционированием, или указывают на критическое ее состояние. Период изменений является плодотворным для анализа в том смысле, что он вынуждает ставить вопрос о различии между базисными свойствами и свойствами, соответствующими исторически обусловленному состоянию институции. Социолог не должен следовать школьным оппозициям между факторами изменения и «сопротивления» изменению, между движением истории и неподвижностью «структур»... Насколько его подход позволяет

уловить одновременно структурные инварианты институции и вариации, которые способствуют их предохранению. Если он будет поступать по-другому, «научный» подход к институции станет не чем иным, как научным способом участия в конфликте, который противопоставляет, как в любой другой институции — Школе или Церкви, например, — «традиционалистов» и «модернистов». Этот конфликт, достойный самостоятельного изучения, имеет одну цель — определение «воинского духа»: ничто не оспаривает ценности институции, даже если одни предпочитают опираться на такие понятия, как «честь», «родина», «послушание», а другие — скорее на «компетентность», «технологии», и даже на «сближение армии с предприятием».

Регулирование кризиса: военная институция

Армия относится к организациям, придерживающимся «традиционной» модели авторитета, которая легче усваивается необразованной сельской молодежью, чем молодыми дипломированными специалистами: послушание и жестокость, определяющие жизнь призывника, гораздо легче допускаются теми, кто лишен социальных качеств, обеспечивающих уважение и почтение и позволяющих требовать права на собственное мнение, достойное внимания. Однако по мере роста школьного образования эта модель авторитета подвергается критическому пересмотру: когда возрастает доля усваивающих уважительное отношение — по крайней мере, на вербальном уровне — к таким ценностям, как «коммуникация», «выражение», «участие»..., становится значительно сложнее требовать слепого подчинения приказам. Именно на такое старение военной институции указывает, конечно, по-своему модернистская идеология, которая выступает за адаптацию армии к «духу времени», к «молодежи», придавая

большое значение технической компетентности, а не только этическим качествам. Кризис военной организации, о чем свидетельствуют различные показатели — создание солдатских комитетов, рост числа моральных обвинений в ее адрес, — отражает разрыв соглашения, установленного в предшествующий период существования институции, между ее способом функционирования и социальными свойствами агентов. В ответ на трансформации, которые нарушают однородность контингента призывников, армия может либо проводить дифференцированное управление различными группами (отсрочки, каналы альтернативной службы и более неформальные способы: «блат», «теплые местечки», освобождение от военной службы), либо стремиться минимизировать различия (ликвидация отсрочек в их прежнем виде и введение новых). Как бы то ни было «рационализация» селекции всегда так или иначе входит в конфликт с официальной идеологией равенства.

Из этих выявленных современных тенденций, было бы, тем не менее, ошибочно делать вывод о полном исчезновении «парней», которые гарантировали прежде эффективность армейского повиновения и воспроизводство институции. С одной стороны, школа оставляет без дипломов достаточную долю своего контингента: в поколении, для которого эта институция играет решающую роль в социальном воспроизводстве, школьное исключение может как раз способствовать новой форме антиинтеллектуализма, который наблюдается среди некоторых «хулиганов» (Mauger, Fosse-Poliak, 1983) и который армия может использовать в своих интересах (показательно, что, принимая в расчет экономический кризис, число добровольцев за прошлые годы увеличилось). С другой стороны, даже среди образованных призывников распространение антиавторитарных ценностей варьирует в зависимости от характеристик дипломов и соответствующих постов: не все расположены ополчаться на «начальников» и на иерархические структуры, поскольку многие открыто придерживаются иерархического видения социально-

го мира, за редким исключением, когда они сталкиваются с незначительными устаревшими пережитками. Но и от этих пережитков институция стремится освободиться во имя просвещенного реформизма (право на ношение гражданской одежды при выходе с военной территории, забота об обустройстве помещений, признание некоторых прав...).

Анализ трансформаций, которые затрагивают институцию, не может быть сведен к простому противопоставлению между «вчера» и «завтра», он предполагает, что будут определены те дифференцирующие последствия, которые эти трансформации могут иметь для различных групп и их отношения к данной институции. Недостаточно взять несколько изолированных переменных — те, что предоставляет сама военная институция — о распределении по чинам, о технических характеристиках должностей..., чтобы сконструировать, как это делают некоторые социологи, изучающие армию, индикаторы «изменения»¹.

Наблюдение за повышением в звании или в должности не может заменить анализа эволюции корпуса профессиональных военных, разве что оно позволяет оценить особую важность применения электроники или информатики. Вместо того чтобы рисовать серию лубочных картинок, представляется более целесообразным предпринять (но возможно ли это, когда ты зависишь от доброй воли тех, кто служит твоими источниками?) анализ позиции агентов в пространстве, структурированном объемом и распределением различных видов капитала (Bourdieu, 1979). В ситуации, характеризующейся трансформацией форм социального воспроизводства, группы, наделенные определенными видами капитала, могут прибегнуть к той

¹ Такой наивный и сегодня устаревший подход можно найти в работе М. Яновича: *Janowitz M. The professional soldier*. Glencoe: The Free Press, 1960.

или иной институции, чтобы поддержать свое относительно устойчивое положение в социальном пространстве (например, охват независимых работников системой образования). Факт того, что после начальной фазы подготовки в армии профессиональная жизнь будет продолжена путем «конверсии в гражданскую жизнь», сам по себе не означает, что отныне отношение к армии (ставшей «нанимателем, как все остальные») стало более инструменталистским. Он может быть интерпретирован по-иному: армия может представлять ценность на рынке труда и, следовательно, вызывать временную и одновременно глубокую привязанность индивидов, которые, превращаясь в гражданских лиц, далеки от того, чтобы отречься от пройденной службы. Рассмотрение этого процесса конверсии («профессионализации») как «сближения между гражданским и армейским» является тавтологией и носит частичный характер, если не уточняются различные механизмы индивидуальной конверсии, которые могут строиться как на наименее специфически военных, так и на наиболее специфически военных способностях. К ним могут быть отнесены такие личностные качества, как «искусство командовать людьми» либо обладание обширными связями внутри армии или с предприятиями, работающими с ней.

Непреодолимый кризис? Пример младшей семинарии

Различные институции располагают далеко не идентичными ресурсами для сохранения условий воспроизводства. Некоторые из них лишены средств принуждения, необходимых для поддержания достаточной численности агентов: теряя некоторые из своих качеств, отныне считающихся «архаическими», путем внушения они стре-

мятся избежать риска сравнения, который может обернуться против институции.

Так, роль младшей семинарии также претерпела трансформации своего контингента, связанные с общим ростом доли охваченных образованием среди всего населения школьного возраста и со снижением доли сельского населения региона, где располагалась изучаемая семинария. Из институции, которая во всем отличалась от других по причине ее бесконечно декларируемой религиозной специфики, младшая семинария трансформируется в учебное заведение, сопоставимое с другими: «Постоянно возрастающее сближение со школьными нормами позволяет вскрыть то, что до сих пор было просто немыслимо, — культурную нелегитимность семинаристов» (Suaud, 1976). По мере того как система образования охватывает молодежь региона, семинария обречена потерять то, что составляло ее школьный раритет, и превратиться в школу «как все другие». Эта эволюция, фатальная для данной институции, разрушает, в конечном счете, безусловность гармонии, которая существовала между функцией внушения «религиозного духа», священнической функцией и запросами мирян, в большинстве своем сельских. Кризис рекрутирования в младшую семинарию, которая отныне вступает в конкуренцию с колледжами общего и среднего образования, является кризисом воспроизводства священнического корпуса.

Чтобы ответить на «потребности по спасению душ», не уподобляясь при этом институции, пришедшей в упадок, Церковь была вынуждена изыскивать новые формулы: — разделение церковного труда отражает положение священников, которые более не работают в территориально и социально объединенной коммуне, а вынуждены сталкиваться с требованиями гораздо более диверсифицированной публики (деятельность «Специализированного Католического Союза», адаптированная к «среде» лицестов, рабочих...) и могут даже делегировать некоторые функции мирянам (катехизис...);

- переопределение отношения к призванию. Призвание перестает быть чем-то само собой разумеющимся вследствие всеохватной и систематической маркировки, начинающейся уже с детства. Теперь оно предстает как постоянно проблематичные и тем самым более подлинные «поиски»: «призвание не может более рассматриваться как “вращивание зерна”; оно становится проблемой, одной из существующих возможностей» (Suaud, 1976. P. 85. См. также: Champagne, 1986).

2. *Объективация опыта*

Наблюдатель не должен забывать, что объективная истина военной службы, которую он устанавливает, показывая функции социального воспроизводства, выполняемые институцией, является продуктом работы по конструированию, реализуемому частично в ущерб значений, спонтанно воспринимаемых агентами; агенты могут ощущать некий разрыв между миром армии и гражданской жизнью и, будучи далекими от того, чтобы идентифицировать себя с институцией, которая представляет собой совокупность принуждений, думать о себе как о непокорившихся («горлопаны», «умники...»). Если мы опускаем этот момент, то мы рискуем:

- подменять, по выражению Карла Маркса, часто цитируемого Пьером Бурдьё, «вещи в логике логикой вещей», т. е. скрыто предполагать механическую подгонку агентов к объективным структурам, обнаруженным наблюдателем (так как процесс подгонки является благоприобретенным, несмотря на то, что он представляется чем-то мистическим);
- не увидеть того, как объективные функции могут выполняться через представления и организацию опы-

та, которые имеют свою собственную логику, и предварительно к ним не адаптированы;

- отступить от правила, гласящего, что относиться к личному опыту следует как к объекту социологического анализа.

Опыт агентов связан с социальным миром в двойном смысле: он социально обусловлен и он же обуславливает практики в той мере, в какой участвует в их структурировании.

2.1. ОБЪЕКТИВАЦИЯ ОПЫТА ДОМИНИРУЕМЫХ

Обращение к социальным характеристикам призывников необходимо для того, чтобы осмыслить черты, обычно связываемые с опытом военной службы. Призывники, на которых оказывает воздействие практика внушения в его наиболее чистой форме, примером чего служат боевые подразделения сухопутных войск, являются не только подчиненными в универсуме с его собственной иерархией, но и в своем большинстве относятся к выходцам из доминируемых классов. Временное принуждение, испытываемое в армии, в каком-то смысле лишь укрепляет более ранний опыт, связанный с их траекториями. Это не означает, что опыт членов других классов не имеет никаких общих черт с опытом, присущим членам народных классов, это значит лишь, что эти последние представляют собой крайний случай как раз по причине отсутствия символических ресурсов, позволяющих им самим владеть ситуацией. Действительно, даже в ситуациях максимального принуждения, воплощенных в лагерях смерти, можно констатировать различия в способностях регулировать это принуждение — естественно, в ограниченных пределах (Botz, Pollak, 1982): если индивиды, наиболее обделенные, обрекались на абсолютную нужду, то другие могли пускать в ход некоторые свои социально обусловленные способности и «торговать» ими (с охраной, например, или с другими заключенными), и таким

образом устанавливать некоторую связь с нормальным существованием.

Символическое доминирование и ситуация исследования

Было бы наивным полагать, что социальные характеристики агентов обнаруживаются немедленно при наблюдении. Агенты всегда воспринимаются в детерминированной социальной ситуации, чье воздействие на них самих, на наблюдателя и затем на отношение к наблюдению должны быть проанализированы как таковые. Если не фиксировать социальные характеристики ситуации наблюдения — заранее назначенное интервью в домашней обстановке, интервью на рабочем месте с согласия дирекции и профсоюзов, непредвиденное наблюдение, вызванное какими-то событиями семейной жизни, соседского окружения..., — то социолог рискует приписать их в качестве едва ли не основных характеристик объекту исследования; такая иллюзия лежит в основе бесчисленных описаний «культур», свойственных группам («народная культура», «культура банд»...). Тот факт, что социология образования и социолингвистика, если ограничиться только этими двумя областями, сумели исключить понятие (скрыто расистское) «культурного дефицита», то это потому, что им удалось сконструировать свой объект, анализируя влияние символического доминирования в отношениях между школьными или лингвистическими «успехами» и социально обусловленными диспозициями.

Безусловно, в ситуации включенного наблюдения соблазн представить доступ к объекту в форме непосредственного контакта наиболее велик. Для разоблачения этой иллюзии полезно еще раз обратиться к поучительным сравнениям, позволяющим различить последствия отношений доминирования и уловить логику практики доминируемых.

Навязанный язык и стратегия необходимости: пример письменного сочинения

Анализ продукции, девиантной с культурной и школьной точек зрения, предполагает анализ условий ее создания: навязываемый и требуемый школой язык в форме школьных упражнений является хорошей иллюстрацией стратегий необходимости, вырабатываемых культурно обделенными индивидами. Вместо того чтобы видеть в «слабой письменной работе» лишь выражение логически и социологически необъяснимого отклонения от неоспоримой и безусловной нормы, такой как письменная работа (которую профессора философии считают лучшим методом развития «индивидуального мышления» и «способности мыслить»), можно рассмотреть ее как социологически значимый продукт (Pinto, 1983, 1987). То, что называется «слабой работой», в действительности есть не что иное, как попытка ответить любой ценой (что, в отличие от ответа на вопрос зондажа, не будет просто зарегистрировано как чистое «мнение») на навязанный вопрос, подразумеваемая подоплека которого тем более скрыта от индивида, чем менее он близок школьной культуре. И если он не противопоставляет ей простое молчание, то это, безусловно, потому, что молчание вызовет против него санкции более суровые, чем «пустословие», а с другой стороны, потому, что он обладает способностью худо-бедно мобилизовать формальные правила, подогнанные к определению школьной ситуации и воспринимаемой как таковая. Тот, кто ничего не знает, знает по крайней мере одно: что следует вести себя в соответствии с усвоенными в самом общем виде обычаями универсума, отличающегося своей «возвышенностью»: рассуждать — это значит делать вид или принимать позу, соответствующую кодексу, который не имеет никакого отношения к повседневной жизни.

Автор «плохой работы» не может не обладать каким-то представлением о том, что такое язык, производимый школой и для школы: усвоив за время учебы смысл оппозиции между «низким» и «высоким», он знает, что следует отказаться от общих забот, «материализма», «несерьезности» некоторых «молодых», которые думают только о «деньгах», о «мопедах», о «телевизоре» и уважать великих авторов, общие точки зрения («история нам показывает, что...»), с высоты которых рассматриваются «человек», «мир», «наука», «искусство», «философия» и т. д. За неимением более адекватных средств он демонстрирует свою добрую «философскую волю», доводя отношение критической бдительности до навязчивой проверки каждой запятой в изложении сюжета, превращая усилия по систематике в бесконечное перечисление случаев, вариантов и выражая свою адекватность культурному порядку с помощью беспощадного морализаторского аскетизма по отношению к «эгоизму», «инстинкту», «садизму»... «человеческой природы». В каком-то смысле культурно обездоленный лицеист обладает совокупностью знаний, логически и этически конформных ожиданиям школьной институции. Чего ему «не хватает», так это способности свободно расположиться в универсуме соответствий, подстановок, преемственности и противоречий («чувство» — или «чувствительность» — противопоставляются «рассудочности»: они располагаются на стороне «тела», «природы» и т. д.). Плохой автор беспрестанно перечисляет все формы «желания» и считает правильным вынести в финале целомудренное осуждение «желанию», будучи неспособным уловить, что в зависимости от того или иного случая «желание» определяется через противопоставление «разуму», «культуре»... или через противопоставление «природе», «вещи», «потребности», то есть

реестр концептов предписывает этому «концепту» переменное место, иногда близкое полю (низшему) «детерминизма», а иногда близкое полю (высшему) «свободы».

Нужно ли говорить, что у него не возникает даже мысли поиграть с этой «двусмысленностью», свободно перемещаясь от одного поля к другому, и что для него безнадежно законсервированные реминисценции курса остаются жестко спаянными с контекстом профессорского дискурса (вопрос программы, идеи автора и т. д.)? Будучи загнан в ситуацию, которой он не хотел, ему необходимо по крайней мере постараться выжить: тянуть время, имитировать интеллектуальные жесты, пользоваться формулами (может быть, имя автора вывезет), стараться не повернуться спиной к авторитетному лицу, проявляя своего рода культурную подобострастность.

Чтобы лучше понять особенность этой школьной ситуации, можно сопоставить ее с другими ситуациями, в которых осуществляются различные формы символического насилия, даже если они не принимают вид формализованной санкции жюри. Социальное осуждение действует всегда, и это хорошо чувствуют те, кто ему подвергаются: крестьяне на пляже, столкнувшиеся с отдыхающими горожанами, занятыми исключительно уходом за своим телом (Champagne, 1975); «бедные родители», испытывающие страдания при приготовлении официального семейного ужина «по правилам» (можно ли подавать колбасу, какие овощи выбрать для гарнира?); ветеран, которому предстоит выступить с речью в честь своего «любимого патрона» (Bourdieu, Boltanski, 1975); «простые люди», «позирующие» для фотографии (Bourdieu, 1965); «скромное» семейство, которому предстоит пройти через все ритуалы в связи с замужеством одного из членов с лицом более высокого и почетного происхождения (Delsaut, 1976).

Нейтрализация эффектов доминирования: в поисках свободного языка

Точно так же, как можно анализировать собственно деятельность по символическому доминированию, можно изменить перспективу, отказываясь видеть в классах доминируемых лишь то, что эта деятельность стремится сделать с ними, и задаться вопросом, возможно ли, несмотря на все, описать их собственные практики, если «наблюдатель» сумеет приостановить действие некоторых эффектов доминирования (что неизбежно происходит в присутствии «другого» индивида). Этой проблеме посвящена социолингвистика Вильяма Лабова (Labov, 1978): по сравнению с теорией «лингвистического дефицита» («американские негры не имеют языка, их нужно “учить разговаривать”»), этот автор предпринял описание характеристик «языка отверженных» как языка, удовлетворяющего потребностям коммуницирования непривилегированных социальных групп. Это исследование потребовало деликатного знакомства с членами банд подростков черных кварталов; черный интервьюер, который должен отличаться от традиционных образов власти, соглашается потратить свое время, «потусоваться». Для того чтобы вызвать на разговор, нужно преодолеть недоверие к «чужаку», это требует особого таланта задавать вопросы в соответствии с логикой анкетируемых. Если, например, нужно, чтобы вам «рассказали историю», лучше обратиться к такому опыту, который обязательно вызовет на разговор: спрашивая о случаях, когда собеседник «чуть было не погиб» (в частности, о «разборках»), мы предлагаем ему не условную роль рассказчика («расскажи историю о каком-нибудь памятном для тебя событии»), а роль свидетеля, который своим телом подтверждает содержание рассказа.

Описание синтаксических и фонетических структур «языка отверженных» дополняется «анализом речи», целью которого является показать, что отклонение от легитимной нормы имеет не только смысл ограничения и что

на основании этого дискурса, так же как и других схожих дискурсов, можно вывести систему общих правил. Обмен «обидными замечаниями», например, представляет собой ритуализованную деятельность, которая соединяет в себе давление кодификации (это состязание, в котором нужно сохранить за собой последнее слово, задеть без особого основания непристойностями близкого родственника соперника, в частности, его мать...) и свободу импровизации. Будучи деятельностью исключительно социальной, осуществляемой данной публикой, оскорбление требует изобретательности и бдительности, позволяющих оправдать свое место и удержаться. То же самое относится к рассказу «истории». Это не хаотичное повествование, но жанр, весьма регламентированный по своей структуре (резюме, признаки, развитие, оценка, результат или заключение, концовка...) и по своим риторическим приемам. Так, риторический прием, названный Лабовым «интенсификатор» (жесты, экспрессивный фонетизм, повторения, количественные показатели: «все», «везде»...), который образованному слушателю может показаться «наивным» или «неуместным» (поскольку он противоречит социально обусловленной самоуверенности ученого собеседника), позволяет обеспечивать персонально пережитому опыту, за неимением других, более легитимных средств, гарантию валидности повествования. Рассказ черных подростков вполне соответствует коммуникативной функции с помощью своих собственных средств, которые, по мнению Лабова, позволяют избежать напыщенности «мидл класса».

Стремясь избежать исключительно негативного описания доминируемых, т. е. с точки зрения того, чего у них нет, и стараясь воспроизводить логику, присущую их поведению (например, как они используют стандартное оборудование квартиры, в частности, ванну (Deslaut, 1988)), нельзя, тем не менее, недооценивать того, насколько дают о себе знать эффекты доминирования, которые управляют стратегиями необходимости даже в ситуациях, внешне менее всего подверженных вердикту доминирующих. О некоторых из них будет сказано в параграфе 2.3.

2.2. Оппозиция «они — мы» КАК КАТЕГОРИЯ ВОСПРИЯТИЯ

Доминируемые не являются исключительно объектом воздействия, оказываемого на них с целью приручения; они сами формируют свой опыт с помощью ресурсов, соответствующих их низшим позициям, занимаемым в социальном мире: именно в необладании ресурсами они находят унифицирующий принцип расшифровки того, что они проживают. Это минимальный принцип, но лучшего не дано: даже если человек мало что понимает в происходящем, то по крайней мере знает, что есть разделение между своим и чужим, между ясностью повседневной жизни простых людей и невразумительностью дел, которыми занимаются люди из «высших» сфер. Это социально обусловленное разделение может быть сведено к оппозиции между «они» и «мы» (Hoggart, 1970). Точно так же, как содержание группы «они» часто бывает размытым, группа, обозначаемая как «мы», не выражает некий класс, измеряемый с помощью однозначных критериев и имеющий четкие границы. Этот термин отнюдь не способствует конструированию «аутентичной» идентичности, он представляет собой набор значений и может выполнять различные функции, как будет показано ниже на примерах.

«Они — мы» в мире труда

Анализ Поля Виллиса, посвященный рабочей молодежи, исключенной из обычных общеобразовательных каналов (Willis, 1978), показал, что искать принципы, поясняющие практики народных классов следует в некоторых характеристиках их опыта: «вопреки тяжести условий и внешнего характера власти, люди реально стремятся создавать смыслы. Они раскрывают свои способности и стремятся получать удовольствие от своей работы даже

там, где они более всего подчинены контролю другого. Парадоксальным образом, несмотря на мертвящий характер их труда, они ткут живую культуру, которая отнюдь не ограничивается отражением проживаемого опыта. В оппозиции между «они» и «мы», сначала в школе, затем на производстве или еще где-либо (в армии), присутствует принципиальная двойственность, пренебрегая которой мы рискуем исказить смысл, который определенные категории населения сообщают социальному миру: будучи принципом деления и, в целом, носителем антагонизма, эта оппозиция стремится обернуться своей противоположностью — «самоклеимлением», *amor fati*. Описывать следует именно эти два измерения в их переплетении».

«Мы» может функционировать как «фундаментальное ядро сопротивления», способствуя стратегиям контроля над символическим и реальным пространством вопреки официальному «авторитету»: в отличие от «служак», удобных и пассивных инструментов в школе и на предприятии, «парни» — это те, кто утверждает свою автономию, организуют, по крайней мере, относительно, свою деятельность... Принадлежность к неформальной группе «парней» позволяет терпеть повседневность, поскольку именно эта принадлежность дает возможность и «поговорить», и «пошутить». Она в большей степени, чем технические и экономические критерии, позволяет отличать непривлекательную работу от работы подходящей. К последней относится такая, где можно открыто разговаривать о своих желаниях, о своих сексуальных потребностях, о своей склонности к выпивке и своем желании «прогулять работу». Категория «мы», связанная с восприятием объективных преград, одновременно лежит и в основе пренебрежения к индивидуальному продвижению («служак»), и в основе «антишкольной культуры»: различия, которые «другие» считают законными, — звания, степени, квалификация, различные сферы занятости, профессии... — оцениваются как мистификации и являются излюбленным объектом «шутки». Но эта «антишкольная культура» (поддерживаемая антиинтеллектуалистской

традицией) имеет и свою «оборотную сторону»: «согласие “парней” с предустановленными властными отношениями, с вечным “мы” перед лицом вечного “они”. Антииндивидуализм, направленный против «выслуживающихся», приводит к тому, что оппозиции социального мира становятся все более жесткими и, в конце концов, предстают как непреодолимые. «Зубоскаля», высмеивая продвижение, культивируя жестокость и мужское самоутверждение, «парни» взваливают на себя их собственные лишения: «они удовлетворяются субъективным успехом внутри объективного поражения». В конце концов «парни», у которых нет профессиональных амбиций, больше устраивают заводское начальство, чем более «конформистская» молодежь, которая, надеясь на компенсацию, адекватную затраченным усилиям, более чувствительна по отношению к испытываемой ими «несправедливости».

«Они — мы» в армейской жизни

«Они». Как мы видели, армия используется для систематической организации эффекта «растерянности», который свидетельствует о разрыве между гражданской и армейской жизнью. Бесспорно, что «издевательства», «коллективные наказания», абсурдные приказы... имеют что-то, что, по крайней мере на первых порах, сбивает с толку всех. Таким образом армия лишь укрепляет среди призывников — выходцев из низших классов этот сам по себе знакомый опыт, каким является разрыв между «они» — те, кто командует, осуществляет насилие, имеет свои соображения, может менять мнение, никому не давая никаких объяснений, — и «мы» — «бедолаги», которым всегда будет «доставаться», которые подчиняются, даже «не понимая», и которым, а таких множество, уготован общий удел. «Они» — это произвол и потому непредсказуемость: «у меня есть увольнительная, но кто их знает...», «пока я не сяду в поезд, я не поверю, что уезжаю». Этот опыт в свою очередь обрастает разными легендами, рас-

сказанными родителями или бывшими солдатами, образами садистских «сволочей», рассказами об издевательствах, о жертвах «наглых типов», этих полугероев, получокнутых, отправленных за решетку, или об астматиках, которых заставляют проходить обучение в ударных группах «коммандос», о комиссованных здоровяках, о бредовом назначении почтового служащего работать мясником (или наоборот). В определенной мере бессвязность этого мира способствует радикальному отделению его от гражданской жизни. Последняя тем самым идеализируется. Никаких начальников-тиранов, «дома» сидишь себе «тихомирно», все время твое, можно «здорово повеселиться», хорошо «пожрать»... Таким образом, внимательное отношение к разграничению на внутри/вне позволяет расчленить положение доминируемого на несколько изолированных универсумов.

«Мы». Группа рядовых, не имеющих званий, служит основой идентификации, поскольку она объединяет их в том, что является общим для всех: находиться там вопреки своей воле. Если группа «другие» вызывает чувство опасности и риска (нужно «сдаться», подчиниться...), то группа, составляющая «мы», вызывает чувство безопасности: равные между собой — это те, на кого можно положиться.

Потребность в солидарности особенно ощущается в напряженные моменты, например, во время комплектования подразделений. Лишь в конце дня, полного жестокого принуждения, бесконечных приказов, «нагоняев», всяческих занятий, которые проводятся в ускоренном темпе, существует по крайней мере один момент, когда можно «расслабиться». Это, как правило, вечер: те офицеры, которые «не дежурят», уходят, а те несколько низших чинов, которые остаются, готовы «закрыть глаза» (воздерживаясь от появления или даже приходя поболтать, но на этот раз «как люди» более «близкие», чем обычно, и иногда даже «симпатичные»). На столе раскладывается еда «из дома», из щедрой посылки, содержимое которой не съесть одному и которое не вызовет презри-

тельное отношение других солдат казармы. Освободившись наконец от «чудищ» (бирюков-начальников), можно благодаря себе подобным утешиться мыслью, что существует в мире еще что-то «нормальное» и что ты все же что-то значишь, что у тебя есть своя история, свои вкусы, мысли... Язык служит тому, чтобы комментариями и мимикой «заговорить» безумие перенесенных трудностей. Можно посмеяться над испытанным в тот или иной момент страхом, над глупой физиономией особо жестокого начальника, над тупостью какого-то солдата, который неспособен выполнить как следует полученное распоряжение и чье простодушие разряжает гнев высшего начальства. Конечно, раздаются роли и присваиваются прозвища: здесь и «спортсмен», способный вынести любую физическую нагрузку в силу своей «натренированности», «страдалец», который поспевает с трудом, «заводила», «папаша», «толстяк». Но в условиях постоянно присутствующей опасности, угрозы, устанавливаемые различия не настолько ярко выражены, чтобы разрушить единство группы: они обнаружатся потом.

Заключение

Амбивалентность группы равных

Данная группа не является в чистом виде «мы» перед лицом группы «они». Сама граница имеет подвижный характер в той мере, в какой она может стать объектом манипуляции вышестоящих. Если, с одной стороны, группа может функционировать как средство сопротивления и альтернативный принцип идентификации, то, с другой стороны, она может быть подчинена целям военной институции. В таких видах деятельности, как спорт, обнаруживается некоторая двусмысленность, что было отмечено Полем Виллисом в отношении схожего контекста; культивируя «дух коллективизма», групповая солидарность равных вносит свой вклад в те результаты, которых требует институция.

Между командой, организованной для перестрелок или военных маневров, и футбольной командой, созданной для простой разрядки, существует определенная аналогия, которая обеспечивается стремлением стать «лучшим», «выиграть», «прийти первым»: благодаря «духу коллективизма», служению и игре институция и частное лицо оказываются примиренными. Идешь служить, потому что выбора нет, но тут же считается нужным добавить: «если я это делаю, то в первую очередь для самого себя, для того, чтобы закалиться».

Младшие чины (капралы, сержанты) — эти посредники между «мы» и «они» — выбираются именно среди людей, обладающих этим «духом коллективизма»; они — «симпатичны» своим «товарищам», к ним благосклонно начальство, поэтому способствуют формированию здорового духа в группе. Но к почетности такого выдвижения всегда примешивается что-то беспокоящее для военнослужащего, к которому это относится: выходя из строя, он тем самым уже оказывается отмечен и — кто знает — не обрекается ли он на презренный удел «высочки» («просто не верится, что это призывник, он хуже вольнонаемного...»).

Спаянность группы сохраняется до определенных границ: перед начальством, которое может прибегнуть к коллективному наказанию, каждый стремится отделиться от группы, стать «неприметным», замкнуться на безопасной группке, где только зубоскалят, «занимаются трепом» в общегитии, в свободное время. Перед лицом «они» существует «мы», от которых нельзя отделяться, но и нельзя ожидать многого: тот, кого «отправляют на губу», крайне редко воспринимается как «жертва несправедливости», а чаще как «сделавший глупость» по своей неосторожности и теперь может пенять лишь на самого себя.

Солдатская среда последовательно дифференцируется по многим признакам: оппозиции между не имеющими звания и младшими чинами, между тяжелыми работа-

ми и «непыльной работой», между новобранцами и «демебелями». Наконец, социально обусловленная способность «торговаться» (увольнительные) также является переменной, которая отличает «ловкачей» от «бедолаг».

2.3. Армия как социальный мир «ПЕРЕЖИДАНИЯ»

За неумением ясно выразить свое отношение к объекту исследования социолог, изучающий народ, обречен выбирать между двумя противоположными точками зрения: либо его представители рассматриваются как объекты эксплуатации, более или менее пассивно претерпевающие уготованную им судьбу, либо же они представляются истинными субъектами, которым благодаря их сообразительности, хитрости, умению выпутываться из сложных ситуаций удастся воплощать в жизнь стратегии сопротивления и субверсии. Однако по сути своей это противопоставление является скорее политическим, чем научным, так как подразумевает вопрос о непосредственном отношении народа к социальному устройству. И хотя, с одной стороны, такая постановка вопроса является вполне обоснованной, она может привести к настоящему «навязыванию проблематики», так как необходимость выбора между этими двумя точками зрения не позволяет понять собственную логику действия социальных актеров во всей ее противоречивости (как это показал анализ употребления местоимения «мы»).

Доводя принуждение до крайности, тоталитарные институты порождают ситуации, позволяющие понять стратегии отпора, которые могут вырабатываться индивидами, лишенными социальных ресурсов, как внутренних (звание), так и внешних (квалификация, умения и навыки...).

Хитрости, компромисс и отступления от правил, не влекущие за собой риска

В социальных институтах, где поощрение в основном негативно по природе своей, лучшее, на что следует надеяться, — это «не иметь неприятностей» — спасение связано исключительно со временем: все, что требуется, — это «переждать». Переждать (здесь этот термин употреблен в широком смысле и относится к ситуациям в разной степени выносимым или мучительным) означает суметь пережить тяжелые времена и терпеливо дожидаться лучших.

- *Компромисс* необходим, чтобы добиться спокойствия. С опытом приобретаются те самые небольшие преимущества, которые Гоффман называл «вторичными адаптациями»: лучшая койка в казарме после демобилизации «стариков», аперитив, которым угощает время от времени унтер-офицер, удовольствие, которое доставляет быть «бывалым», умение найти «непыльное» местечко и «халяву», небольшие преимущества, получаемые по блату (сигареты, увольнительные, «стратегические» сведения о служебных перестановках и времени отпуска командиров...).
— *«Бравада»* или внешнее проявление независимости и отсутствия страха по отношению к принуждению. С «ними» приходится быть податливым, вежливым, стоять навытяжку.... Но по крайней мере среди «своих», вечером в казарме или где-нибудь в «укромном» уголке, где за тобой не наблюдают, можно показать другим, что ты не настолько «дрессирован», что потерял всякую способность действовать по своему усмотрению. Раскованность движений, небрежность в одежде, разгильдяйская непринужденность — это... признаки независимой личности, которая только для вида подчиняется начальству, ее неукротимой воли, которая втайне продолжает существовать. Так же как, например, закуренная в строю сигарета или под-

дакивание унтер-офицеру и одновременно хитрое подмигивание остальным, которые, конечно же, поймут смысл такой двойной игры.... За неимением возможности изменить свое положение можно представляться личностью, свободной от условностей.

Подобного рода небольшие отступления от правил совсем не обязательно не одобряются начальством. Позиция последнего противоречива, так как ему (в отличие от духовенства в семинариях) приходится иметь дело одновременно с институциональной необходимостью подчинения и подразумеваемой «мужественностью», неизбежной составной частью которой потенциально является трансгрессивная энергия. Если «ребята» — настоящие «мужики», чье скромное социальное положение только усиливает их необузданный нрав и неотесанность, то лучше обратить в свою пользу, а не запрещать такие «выбросы энергии». Таким образом, как бы существует, по крайней мере, допускаемое, если не вполне легитимное, диссидентство в таких реальных или мнимых «подвигах», как способность потреблять алкоголь в диком количестве или победы над женщинами. Пить, рассказывать скабрёзности, угостить друзей в баре означает быть мужчиной в двух смыслах этого слова. С одной стороны, это означает способность сопротивляться порядкам социального института, предназначенного для покорных, вымуштрованных и конформистов. С другой — обратить стигмат «греховности» в доказательство военной крепости (это сильное тело, так хорошо сопротивляющееся действию алкоголя, в другой ситуации может сослужить службу институту). Конформизм и несгибаемость, энергия и разболтанность, «горлопан» и «добрый малый» — все сливается воедино. На гербе мужественности женщины занимают центральное место: полностью отсутствующие, как в монастыре, они тем не менее являются объектом постоянного обсуждения. Рассказы о сексуальных похождениях тем более грубы и живописны, что желаемое подтверждение другим статуса мужчины возможно только через эту опосредованную форму вербального преувеличения. Сегодняш-

нее воздержание подразумевается временным, а стало быть, преодолимым; простое изменение обстоятельств — например, увольнительная — должно обеспечить возврат к нормальному состоянию с присущими ему богатством возможностей и безграничной способностью к оболащиванию. Разговоры о «бабах», таким образом, могут интерпретироваться как деполитизированная форма дискурса о социальном устройстве: нейтрализуя социальные иерархии, частным случаем которых является мир армии, этот дискурс позволяет поддерживать фантасмагорию мира, признающего истинные ценности, воплощенные в наиболее реализовавшихся «мужиках».

Дедовщина

Дедовщина — это единственный принцип самостоятельной иерархизации, который военнотружущие могут противопоставить собственно военным принципам классификации. Из-за невозможности что-нибудь сделать с текущим временем, реализуя какой-нибудь проект, самые обездоленные из них не находят другого выхода, кроме как заставить других признать ценность времени проведенного в армии как такового: если время идет, и с течением времени ты по-прежнему остаешься ничем, можно утешать себя, полагая что это время не прошло напрасно.

На приближение единственного важного события — демобилизации — невозможно повлиять, однако известно, что оно приближается: считаются дни, служащие делятся на разные группы в зависимости от срока службы (в двух словах, «молодые» противопоставляются «старикам»), вырезается из дерева и украшается «кегля», особая персональная эмблема, работа над которой продолжается изо дня в день. «Старик» — это тот, кто не в силах что-нибудь сделать со временем, над которым у него нет никакой власти, пытается придать смысл этому времени, ставя себе в заслугу тот факт, что он его пережил. Несомненно, что такая вера в позитивную ценность вре-

мени возможна лишь в том случае, когда она носит коллективный и более или менее институционализированный характер. «Старики» признаются «молодыми» (которые, в свою очередь, станут «стариками»), перед которыми они могут без риска встретить отпор демонстрировать собственную отвагу и раскованность: существуют негласные правила дедовщины (например, освобождение «стариков» от некоторых видов работы, выполняемых «молодыми»), которые и придают им эту уверенность тона и браваду.

Дедовщина являет собой негласное прославление института армии: время, проведенное на службе, является не таким уж бессмысленным, так как позволяет в итоге дифференцировать военнослужащих, противопоставляя «салаг» и мальчишек «старикам» и мужчинам. Дедовщина — это доказательство того, что нечто произошло за время службы, которое часто называют потерей времени: достаточно его пережить, чтобы приобрести это неопределимое качество. Единственное условие — положиться на время, подчиняясь так или иначе принуждению, которое бессмысленно надеяться держать под контролем.

Заключение

ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ОБЪЕКТУ

Положение, что социолог принадлежит к социальному миру, не означает релятивистского утверждения, состоящего в отрицании объективности социологического знания. Оно подразумевает учет тех связей, которые он поддерживает со своим объектом, и рассмотрение этих связей в качестве социального отношения, позволяющего выявить некоторые параметры исследуемого объекта. Поскольку социолог сам определен через характеристики его профессионального положения, его социальной

траектории, и поскольку он более или менее приближен к своему объекту, то из этого вытекает, что всякий анализ объекта содержит в себе возможность самоанализа, который похож скорее не на самонаблюдение, а на доказательный анализ социальных препятствий социологическому знанию.

Многократный опыт убеждает, что степень участия социолога в описываемом универсуме существенно варьирует внутри группы ситуаций, объединяемых под рубрикой «включенное наблюдение»: существует принципиальная разница между интеллектуалом, погруженным в такую чуждую для него ситуацию, как армейская, и интеллектуалом, включенным в очевидности близкого ему мира (Bourdieu, 1984a). Каждой ситуации присущи собственные трудности. Безусловно, трудно взять в качестве объекта универсум, в который ты включен и с которым связан видимыми и невидимыми связями. В подобном случае стремление познать может быть реализовано лишь при условии осознания всей совокупности тенденций и искушений, которые симулируют знание и ему мешают. Здесь, в частности, можно упомянуть о ловушках озлобления, которые обычно подстерегают исключенного (потерпевшего провал или не оправдавшего надежд), а также о ловушках услужливой проницательности, этой тонкой формы самозащиты с помощью критики, которой пользуются члены группы, чтобы определить и расстроить объективирующий взгляд возможных аутсайдеров. Объективация универсума, к которому ты принадлежишь, требует совершенно иного отношения к полемике, цель которой — «сведение счетов». Если и можно говорить о «включенной объективизации», то потому, что социологический анализ предстает здесь как самообъективация, полученная благодаря работе над собой. Предоставляя социологу средства самоконтроля, социология интеллектуалов выполняет на свой манер фундаментальное требование объективного знания: ни спонтанным представлениям, ни рационализму социолога не представляется некоего исключительного статуса.

В любом случае изучение универсума, отличного от собственного, требует от социолога анализа его отношения к объекту. Чтобы избежать различных форм этноцентризма, он должен поставить под вопрос свои собственные спонтанные категории восприятия, помещая их в пространство эквивалентных категорий. Например, изучение вкусов, свойственных народным классам, перестает быть более или менее замаскированным разоблачением «дурного вкуса» с того момента, когда социолог начинает придерживаться принципа понятности, лишенного всех возможных предрассудков. Тогда изучение отношения различных социальных групп к материальным условиям существования, измеряемое степенью, относительно которой эти группы могут дистанцироваться или, наоборот, подчиняться «необходимости» (Bourdieu, 1979), позволяет разорвать с нормой «хорошего вкуса», сообщая смысл различиям, зафиксированным между группами. Социолог далек от того, чтобы с высоты занятой позиции созерцать социальные группы, особенно «низшие»; он стремится описывать практики членов других групп и одновременно уяснять отношение, которое он поддерживает с ними. Начиная со сбора данных и кончая написанием текста, конструирование объекта несет на себе печать этого двойного усилия.

Глава II

Реми Ленуар

ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Социологию часто относят к дисциплинам, таким, как, например, эргономика или криминология, объект которых определяется категориями общественной практики. И действительно, ее происхождение подтверждает представление о социологе как специалисте по «социальным» проблемам текущего момента. Социологическая наука появилась в середине XIX века, а развиваться стала во второй половине XIX века, когда борьба между классами особенно обострилась в результате пауперизации городского пролетариата, вызванной ходом индустриализации (Hatzfeld, 1971).

Уже с начала XIX века экономическая наука была учреждена как самостоятельная дисциплина, а экономическая деятельность, как у теоретиков (профессоров, политических деятелей), так и у практиков (промышленных или финансовых предпринимателей) была отделена от других секторов общественной деятельности. Однако, лишь в первой половине XIX века формируется противопоставление между «политической» и «социальной» экономией. Первая интересуется, по выражению А. де Вильнева, лишь «рыночной и денежной стоимостью рабочего» (Duroselle, 1951), а вторая — совокупностью условий его жизни. Это отличие является не только продуктом разделения интеллектуального труда. Оно обязано своим существованием, главным образом, политическому конфликту, который на протяжении XIX века в отношении возникавших тогда «социальных проблем» постоянно противопоставлял представителей промышленной буржуазии и консервативной аристократии. Разоблачая последствия индустриализации, аристократы оспаривали легитимность «новых феодалов», опирающихся на производство

промышленной продукции и получающих через него доступ к политической власти.

Это разделение социальной жизни на два сектора, а также концептуальная и теоретическая автономизация (как о том свидетельствует, в числе прочего, подъем утилитаристской философии во Франции и Великобритании) того, что назовут «управлением населения» (Фуко, 1996), безусловно, является одним из факторов, который облегчил появление социологии как дисциплины, отличной от других социальных наук, в частности, от экономики. В большей части социологических теорий этой эпохи можно найти отзвуки данного политического и одновременно интеллектуального разделения между двумя типами общества (община/общество, сословное общество/общество без сословий и т. д.).

Такие разные социологи, как Фердинанд Тённис, Георг Зиммель, Макс Вебер, Вильфредо Парето и др., признавали то, что Эмиль Дюркгейм назвал «потрясением основ» европейских обществ XIX века, и выбрали это явление в качестве более или менее непосредственного объекта своих исследований. Большинство работ Дюркгейма нацелено, в частности, на то, чтобы найти средство преодоления социального кризиса, который он наблюдал. Об этом свидетельствует, например, последняя глава одной из наиболее известных его книг «Самоубийство» (1897), имеющая очень точный подзаголовок («Практические последствия»), где вводится различие между «нормальным» и «патологическим», которое он разрабатывает далее в «Метод социологии» (1895). Большая часть исследований, ведущихся с тех пор и называемых «социологическими», касается «социальных проблем», т. е. того, что выступает на данный момент в качестве «кризиса» социальной системы, идет ли речь об «отклоняющемся поведении», «нарко-

тиках» или о судьбе «пожилых людей», об «иммигрантах», «безработице» и т. д.

Это социально установившееся определение объекта социологической науки к тому же существенно укрепляется в результате использования работы социологов различными институтами (администрациями, органами местного самоуправления, предприятиями, социальными организациями и т. д.). От социологов ожидают помощи в решении «проблемы», по определению «социальной». Это понятие отсылает по крайней мере к двум значениям. Первое, унаследованное от «социальной экономии» как науки вспомогательной и обслуживающей политическую экономию, достаточно полно охватывает поле, в котором разрабатываются «социальная помощь» (бедные, маргиналы, «социальные» обстоятельства), «социальное обеспечение» (внерабочее время, семейная жизнь и жизнь пожилых людей и т. д.), короче проблемы, с которыми сталкиваются в силу своей профессии «социальные» работники (сотрудницы учреждений «социального обеспечения», воспитатели специализированных учреждений и т. д.) и которые призваны разрешить адресные «политики» и «социальное» законодательство. Второе своим происхождением обязано тому смыслу, который этот термин имел уже в XIX веке: близкое к понятиям «социализм», «социальный вопрос» или «социальные меры» это значение еще и сегодня содержится в таких выражениях, как «социальное партнерство», «социальное законодательство», «социальный конфликт» и т. д. Это понятие обозначает все то, что касается отношений между «социальными» группами, в частности, отношений между патроном и наемными работниками, т. е. совокупности условий труда в рамках того, что называют «миром труда», точнее, «рабочим классом».

Первая трудность, с которой сталкивается социолог, связана с тем, что он оказывается среди заранее заданных представлений о своем объекте исследования, которые ограничивают его восприятие, а следовательно, определение и постижение объекта. Отправная точка любого

исследования формируется представлениями, которые, по словам Эмиля Дюркгейма («Метод социологии»), подобны «покрывалу, находящемуся между нами и вещами и скрывающему их от нас тем лучше, чем прозрачнее оно нам кажется» (Дюркгейм, 1995, с. 423). Он называл их «предпонятиями», которые могут принимать вид «чувственных образов» или «понятий, сформированных вчерне», в ходе «рефлексии, предшествующей науке, которая лишь пользуется ими более методически» (с. 422). Эмиль Дюркгейм предостерегает, что недостаточно просто-напросто устранить «ложные очевидности» и «иго эмпирических категорий, которое привычка часто превращает в тиранию» (с. 436). Ибо эти предпонятия имеют социальную функцию и основание, что и придает им силу: «Эти продукты обыденного опыта призваны, прежде всего, приводить в гармонию наши действия с окружающим нас миром; они выработаны практикой и для практики» (с. 422). Это сообщает им некую «практическую правомерность», которая делает задачу их преодоления особенно трудной, поскольку они становятся очевидными, само собой разумеющимися, легитимными.

Среди этих представлений те, что выступают в виде «социальных проблем», образуют, видимо, одно из самых труднопреодолимых препятствий. В самом деле, «социальные проблемы» встроены во все инструменты, используемые при формировании обыденного видения социального мира, которое обеспечивается организациями и законами, работающими на их разрешение, и категориями

* В оригинале: «travail social», которое при переводе работ Дюркгейма дается как «общественный труд» (прежде всего: «О разделении общественного труда»). Смысл французского понятия богаче: это и деятельность в рамках разделения функций, и работа инстанций по конструированию реальности, в т. ч. «социальная работа» в привычном смысле. Для передачи оригинала больше подходит «социальная работа», однако нужно помнить, что здесь она понимается не только как работа специализированных социальных служб. — *Прим. пер.*

восприятия и мышления, которые им соответствуют. О том, что это в высшей степени справедливо, свидетельствует особенность, заключенная во всякой социальной проблеме: она воплощается — как правило, очень реалистично — в различных «группах населения», о решении «проблем» которых идет речь. Часто эти группы населения определяются по «физиологическим» критериям («женщины», «молодежь», «пожилые люди», различные категории больных или физически неполноценных и т. д.).

Например, такое понятие, как «производственная травма», сегодня категория обиходная. Выработанная и кодифицированная юридически, она находится в основе деятельности многочисленных организаций и служб, специализирующихся на подсчетах степени нетрудоспособности или суммы возмещения убытков и т. д., а также на предупреждении всякого рода несчастных случаев и защите интересов пострадавших. Однако это понятие, ставшее столь очевидным сегодня, тем не менее является продуктом длительной «социальной работы» (в смысле Дюркгейма),* завершившейся созданием и распространением новой категории восприятия социального мира, которая не сводится только к юридическому определению. Замена статистической категории «риска» на моральное понятие «вины» предполагает определенную концепцию социальной справедливости, некоторое видение социальных отношений внутри предприятия, отношение к труду и, более широко, отношение к предполагаемому в этой связи образу жизни. Отныне анализ причин несчастного случая уходит от обвинения в «личных» недостатках и перемещается на воздействие окружения, условий труда и т. д., хоть обходным путем, но освобождая жертву от возложения вины на нее саму. Изменяется именно представление о причинах несчастного случая, а посему, не предпринимает ли определение того, что называют производственной травмой, характера ее причин? Из чего вытекает, что изучение причин производственных травм очень рискует стать похожим на движение по кругу.

В самом деле, большинство этих исследований устанавливает, что социальные слои, у которых самые высокие показатели производственных травм, оказываются одновременно наименее защищенными от риска и случайностей условий труда: иммигранты, неопытные и временные рабочие и т. д. Не обязано ли это «открытие» тому факту, что именно эти категории рабочих направляют на самые опасные места, в самые вредные для здоровья мастерские, в самые «опасные» сектора производства? Не в том ли здесь дело, что, поскольку специалисты «социальных отношений на предприятии» и руководители кадровых служб представляют себе жертв производственных травм как «неловких», «неосторожных» и «недисциплинированных», «научные» исследования фиксируют среди травмированных на производстве «меньшую степень функциональной пластичности», меньше «прикладной рациональности», но больше «неосторожных действий», больше проявлений «сопротивления власти»? (Lenoir, 1980).

Исследования причин самоубийств также служат хорошим примером влияния и роли институциональных определений, которые предписывают условия наблюдения и объяснения изучаемых социологами явлений. Можно показать, что статистика причин самоубийств частично является результатом представлений, которые о них имеют эксперты (медики, психологи, социологи, полицейские и т. д.). Показатели, к которым прибегают эти последние, необходимо предполагают ту или иную теорию причин самоубийства. Бывает так, что причины смерти в результате несчастного случая сразу не обнаруживаются: жертва выпала из поезда или она обдуманно бросилась под поезд? Здесь эксперты вынуждены использовать некие критерии, которые позволяют вынести решение, явилась ли смерть результатом самоубийства или нет. Вот почему анализ должен начинаться с изучения процесса выработки тех категорий, которые классифицируют

смерть в качестве самоубийства, поскольку «различные теории, объясняющие причины самоубийства, являются, хотя бы отчасти, причинами того, что они объясняют» (Merllie, 1987; третья глава настоящей книги).

1. Заранее сконструированная реальность и конструирование социологического объекта

Герберт Блюмер показал, что бесполезно пытаться определять «социальные проблемы» через будто бы свойственную им природу или группу населения, которая якобы обнаруживает соответствующие специфические черты (Blumer, 1971, p. 298–306). То, что представляется в виде «социальных проблем», изменяется по времени и месту и может прекратить существование в качестве такового, хотя обозначаемые ими явления останутся. Так было, например, с бедностью, которая для Соединенных Штатов была серьезной «социальной» проблемой в течение 30-х годов, сошла на нет на протяжении десятилетия 1940–1950, а затем снова появилась в 80-х; то же самое произошло с расизмом, который превратился в «социальную проблему» только в 60-х годах.

Кроме того, «социальная» проблема может быть введена под несколькими наименованиями. Таков случай «старости», который отсылает к вопросам весьма разного характера: судьбе наиболее обездоленных пожилых людей («бедность»), демографическим «диспропорциям» («старение населения») и, наконец, увеличению продолжительности жизни и его воздействию на отношения между поколениями как в семье, так и в сфере труда и в сфере пенсионного обеспечения. «Старость» представ-

ляется категорией достаточно очевидной и «естественной». Вот почему исследование того, как представляют «старость» в качестве социальной проблемы, сталкивается с преградами, которые обычно препятствуют социологу в построении объекта исследования (Bourdelaïs, 1993).

1.1. «ЕСТЕСТВЕННАЯ» КАТЕГОРИЯ — ВОЗРАСТ

Даже наиболее природные принципы классификации социального мира всегда отсылают к социальным основаниям. Помимо «расы» хорошо известна социальная ставка, которая определяла это понятие и категории, к которым оно отсылало (Lévi-Strauss, 1973) — физические стигматы и, более широко, биологические особенности, такие как пол и возраст, часто служат критериями классификации индивидов в социальном пространстве. Выработка этих критериев, главным образом, связана с появлением институций и специализированных агентов, которые находят в подобных определениях основу своей деятельности. Эти принципы классификации обязаны своим происхождением не «природе», а социальной работе по созданию различных групп населения, которую проводят в соответствии с юридически сформулированными критериями различные инстанции, среди которых наиболее известными и изученными являются школьная и медицинская системы, а также системы социальной защиты и рынок труда.

Морис Хальбвакс удивлялся, что возраст можно превратить в принцип формирования групп, имеющих некие «социально устойчивые признаки». Согласно его взглядам, возраст не является естественной данностью, даже если он служит инструментом для измерения биологического развития как индивидов, так и животных. Более того, возраст не является и самоочевидностью некоего

универсального сознания. «...Изолированный человеческий индивид, лишенный всякой связи с себе подобными, не опираясь на социальный опыт, даже не узнал бы о том, что должен умереть... Значит, это действительно социальное понятие, установленное при сравнении с различными членами группы» (Хальбвакс, 2000b, с. 118).

Само понятие возраста, выраженного количеством лет, является продуктом определенной социальной практики: это абстрактная мера, степень точности которой, различная в разных обществах, задается прежде всего необходимостью административной практики (поскольку установление личности индивида, имени и места жительства уже недостаточно). Возраст гражданского состояния как критерий классификации появился во Франции в XVI веке в период унификации записей о рождении в приходских реестрах (Арьес, 1999, с. 2).

Можно напомнить, что первые категоризации жителей по возрастному признаку были явно заданы государственными прерогативами, как об этом свидетельствуют произведенные в ходе первых переписей населения группировки. Так, группировка Тревиза, сделанная в 1384 г., различает две категории: мужчин старше или моложе четырнадцати лет, при этом «священнослужители и слуги подсчитываются отдельно» по той причине, что последние, как и дети до четырнадцати лет, а также женщины, долгое время исключавшиеся из всех переписей, не платили налогов и не несли воинской повинности, а поэтому не были «добром, подлежащим учету». Таким же образом первые венецианские «списки» различают только две категории лиц: «полезных», т. е. мужчин от 15 до 60 лет, и «бесполезных», которая включает всех остальных (Molls, 1954).

Хотя возраст как гражданское состояние и возможные в связи с этим деления являются социальными понятиями, категории, которые он позволяет различать, не образуют, тем не менее, социальных групп. На самом деле,

«арифметические» деления шкалы возрастов могут стать «номинальными» категориями («старики», «молодежь», «подростки»), не обозначая, однако, социальных групп, определяемых этими терминами. Морис Хальбвакс прежде всего замечает, что такие группы не могут быть устойчивыми, поскольку индивиды, по определению, задерживаются в них недолго, если только не расширять существенно сам возрастной интервал (но тогда эти группы не могут быть определены со всей четкостью в терминах возраста). Как пишет этот автор, «в зависимости от эпохи, обычаев, институций, даже состава населения этому признаку придается большее или меньшее значение, а молодость, зрелый возраст, старость определяются в общественном мнении совершенно различным образом». И добавляет: «Раньше пятидесятилетний европеец считал себя достаточно молодым, чтобы вступить в деловую жизнь в Америке, тогда как в наших странах в этом возрасте оставляли дела и уходили на пенсию» (Хальбвакс, 2000b, с. 334).

Сравнивая возрастную пирамиду французского и немецкого населения в период между двумя войнами, Морис Хальбвакс после констатации того, что цифровые данные ясно выявляли различия, касающиеся представления возрастных категорий в обеих странах (больше «молодых» в Германии, нежели во Франции), спрашивает себя, в чем значение этого сравнения с социологической точки зрения. «Следовало бы выяснить, — уточняет он, — одинакова ли граница, отделяющая зрелый возраст от молодого, старший от зрелого в глазах [коллективного] мнения обеих стран. В этом можно усомниться, поскольку там, где много пожилых людей, скорее всего, они видят себя более молодыми, чем они есть. А там, где много молодых людей — поскольку многие из них занимают (или намерены занять) положение, которое в других случаях закреплено за взрослыми, — они, возможно, считают себя (и признаются окружающими),

старше, чем есть, принимая в расчет их возраст в годах. Напротив, если учесть, что одна из этих стран находится ближе к северу, а другая — к югу и что этнический состав в них различен, то, весьма вероятно, в одной из них, например, во Франции, созревание более раннее, чем в другой. Тогда там и взрослеют, вероятно, раньше, а также раньше переходят в категорию стариков; так что французское население может оказаться еще старше, а немецкое — еще моложе, чем это представляется из данных цифр.

Наконец, как не учитывать разнообразие социальных классов, профессий, городских и сельских сред? Разве возрастная пирамида для одной страны одинакова для города и для сельской местности; для промышленности, торговли, сельского хозяйства и творческих кругов; для зажиточных классов и бедняков? Заметим, что в Соединенных Штатах пропорция взрослых ко всему населению примерно та же, что и во Франции, не потому, что там издавна такая же низкая рождаемость, а по причине наплыва иммигрантов. Следовало бы выявлять и эти различные условия. Статистическое исследование должно осуществляться как раз в отношении таких различающихся групп. Возрастные же пирамиды обо всем этом дают нам столь же схематичное и слабое представление, что и египетские пирамиды о судьбах огромного числа людей, на долю которых выпало их строительство (Хальбвакс, 2000b, с. 335–336).

Следуя принципам анализа Мориса Хальбвакса, сравнивавшего возрастные пирамиды двух стран, можно поставить вопрос об адекватности понятия «демографическое старение», также покоящегося на делениях, которые, не будучи произвольными, тем не менее, остаются весьма абстрактными, поскольку социальное определение возраста изменяется в зависимости от состава населения. В исследовании «Браки во Франции во время и после вой-

ны» Морис Хальбвакс показывает, как социальное определение возрастов зависит от численного состава поколений: наступившее после войны ошутимое уменьшение мужского населения в возрасте от двадцати трех до тридцати восьми лет привело к тому, «что молодые люди поднялись по возрастной шкале» в той мере, в какой они, вынужденные занять позиции, оставшиеся вакантными после старших, столкнулись с необходимостью выполнять ответственную работу, до тех пор бывшую им «как бы не по возрасту»; этой трансформации сопутствовало перепределение законного возраста вступления в брак и, шире, возраста, в котором «молодые» достигают статуса «взрослых» (Хальбвакс, 2000а, с. 270).

Напротив, «болезнь века» — как называл ее Альфред де Мюссе, — от которой страдала буржуазная и мелкобуржуазная молодежь 1830-х, была обязана в большой мере тому факту, что карьерный рост в свободных профессиях и высшей администрации был заблокирован присутствием относительно молодых мужчин, занявших посты в период Революции и Империи, а также возвращением эмигрантов времен Людовика XVIII. Определение возраста, в котором дозволялся доступ к этим профессиям (и к тому, что с ними было связано, в частности, к браку), было отсроченным, и «молодые» этих социальных категорий, таким образом, оказывались в положении запоздалых подростков. Это приговорило целое поколение к тому, что автор «Исповеди сына века» называл «страшным отчаянием», и объяснило, хотя бы отчасти, форму, которую принял французский романтизм, «богемную жизнь» и ее успех на протяжении этого периода (Bertier de Sauvigny, 1955, p. 320–323).

Таким образом, нельзя трактовать «возраст» индивидов как свойство, не зависящее от отношений, в которых оно обретает смысл, тем более справедливо, что закрепление возраста есть продукт борьбы, которая сталкивает друг с другом разные поколения (Bourdieu, 1980).

1.2. «ЕСТЕСТВЕННЫЕ» КАТЕГОРИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТАВКИ

Возрастные категории в этом смысле являются также хорошим примером ставок, на которых основана всякая классификация: в самом деле, ясно, что при манипулировании возрастными категориями речь идет о проблеме власти, связанной с различными моментами жизненного цикла, поскольку характер и основания власти различаются в зависимости от целей, свойственных каждому классу и каждой фракции класса в межпоколенческой борьбе. То же самое происходит с восприятием профессиональной деятельности как труда, о чем свидетельствует борьба относительно возраста выхода на пенсию или признания женской домашней работы или работы по уходу за детьми.

То, что действительно составляет для социолога объект исследования, — это не разрешение спорных вопросов в подобных символических битвах, а изучение агентов, их ведущих, орудий, ими используемых, и стратегий, ими реализуемых, с учетом силовых отношений между поколениями и социальными классами, а также с учетом господствующих представлений о легитимных практиках, связанных с определением возраста. Таким образом, с этой точки зрения, неверно фиксировать для членов одного и того же социального класса, тем более для отдельных индивидов, возраст, начиная с которого они становятся «старыми», т. е. «слишком старыми» для выполнения данного вида деятельности или законного доступа к некоторым категориям благ или социальным позициям.

Именно установление такого возраста — момента, когда самые молодые поколения вынуждают самых старших удалиться с властных позиций с тем, чтобы занять их в порядке очередности — составляет ставку борьбы между поколениями. Поэтому правомерен вопрос: не будет ли социология старости, избирающая в качестве своего объекта население, определяемое главным образом юридическим возрастом или состоянием биологического

старения, заранее разрушать объект своего исследования в той мере, в какой она полагает решенным то, что, собственно, требуется объяснить?

Это показывают Ришар Трекслер и Даниэль Херли, которые относят появление понятия «подростковый возраст» в ряде больших итальянских городов Возрождения к изменениям отношений между поколениями в буржуазной среде. Родители отодвигали возраст вступления в брак своих детей с тем, чтобы не лишиться части своего имущества и своей власти, так как брак сопровождался в этой социальной категории передачей семейного имущества.

В ответ на давление со стороны молодых (отцеубийства не были редкостью в ту пору) родители проявляли большую терпимость в том, что касалось сексуального поведения, чтобы не уступать в главном — сохранении до самой смерти власти в распоряжении семейным имуществом (Trexler, 1974; Herlihy, 1972).

Манипулирование с возрастными категориями всегда содержит — разумеется, в различной степени — переопределение власти, связанной с разными моментами жизненного цикла, свойственного каждому социальному классу. Оно представляет собой форму борьбы за власть, которая доверяется в каждой социальной группе различным поколениям. Это видно, в частности, на примере изменения силовых отношений между поколениями у ремесленников-стекольщиков во второй половине XIX века, последовавшей за изменением производственной техники в этом секторе (Scott, 1975).

В самом деле, механизация и вызванное ею упрощение работ подточили одну из основ власти мастеров-стекольщиков, а именно монополию владения техникой изготовления и, соответственно, монополию ее передачи: до той поры стеклодувы контролировали в свою пользу отношения между поколениями, навязывая сроки подготовки и уровни компетенции своим преемникам, «мальчишкам» и «парням»; притом эти слова обозначали как позицию на шкале возрастов и шкале профессий, так и,

гораздо шире, социальную позицию (низкую оплату, холостое состояние и т. д.). В ситуации конкуренции с молодыми подмастерьями стекольщики, после безуспешных попыток отодвинуть возраст доступа к ученичеству и продлить сроки подготовки, были вынуждены применить оборонительные стратегии и, в частности, признать особый статус за своими наиболее опасными конкурентами, обретшими равную с ними квалификацию, чтобы тем самым воспрепятствовать «мальчикам», ставшим слишком «взрослыми», вытеснить их самих.

Точно так же Жорж Дюби показал, что установление во Франции XII века в аристократической среде нового, четко определенного этапа существования, обозначенного как «молодость» — периода между посвящением в рыцари, указывавшим на окончание детства, и браком, определявшим завершенное состояние взрослого, — было продуктом семейных стратегий сохранения власти и сбережения имущества от потомства. Принадлежность к «молодежи» зависела не столько от биологического возраста, сколько от возраста — существенно колебавшегося, в котором наследники становятся преемниками в управлении имуществом, т. е., главным образом, по смерти их отца. Удлиняя «молодость» своих детей, т. е. удаляя их из вотчин (крестовые походы, турниры и т. д.), родители настолько же отодвигали возраст, в котором они уже сами считались бы «стариками». «Молодые люди» были, таким образом, холостыми рыцарями, обреченными на странствия и приключения, в ожидании момента, когда они смогут наследовать своим отцам и жениться (Duby, 1964).

Сама возрастная терминология есть результат «того неявного антагонизма и глухой борьбы, в которых каждый добивается своего места под солнцем» (Halbwachs, 1970, р. 108). Эти наблюдения показывают, что «возраст» не является ни природной данностью, ни принципом образо-

вания социальных групп, ни даже фактором, объясняющим поведение. Как показывает Г. И. Джоунс на примере африканского населения племени иббо, возраст индивида является результатом действия трех факторов: прежде всего тем, что Норман Б. Райдер назовет «демографическим метаболизмом», который зависит от показателей плодovitости и смертности и изменения которого содействуют определению конкурентного состояния между поколениями за занятие властных позиций (Ryder, 1965); он определяется также силовыми отношениями между родителями и детьми в семье и — более широко — в рамках поколенческих связей; наконец, зависит от способности молодых людей перетянуть «общественное мнение на свою сторону», доказывая, что они владеют социально требуемыми качествами, необходимыми для перехода из одной возрастной категории в другую (Jones, 1962, p. 207–208).

Из того факта, «что неизвестно, в каком возрасте, в какой период жизни начинается старость», следует ли на манер тех социологов, которые, по замечанию Парето, «не в состоянии провести черту, отделяющую абсолютно богатых от бедных», прийти к заключению об отсутствии классовых антагонизмов и делать вывод, что стариков не существует? (Pareto, т. II, 1986, p. 385). Объект социологии старости состоит не в определении того, кто стар, а кто нет, или в указании на то, с какого возраста агенты разных социальных классов становятся старыми, а в описании процессов, благодаря которым индивиды социально обозначаются как таковые.

Это не значит, что возраст, включаемый в гражданское состояние, «юридически измеряемая величина», которая, по выражению Филиппа Арьеса, исходит из мира «точности и цифр», не обладает никакой социальной реальностью: он постоянно напоминает о себе индивидам (дни рождения, административные хлопоты и т. д.) и представляет собой что-то вроде абстрактного эталона и идентификационного *омнибуса* или, если угодно, референтную величину, позволяющую проводить сравнения. Кро-

ме того, фиксация юридически значимого возраста, например, возраста гражданской зрелости в восемнадцать лет или возраста выхода на пенсию в шестьдесят пять, сказывается на борьбе между поколениями. Она направлена на установление некой официальной нормы, с которой агенты должны считаться («нужно уступать место молодежи» и т. д.), хотя бы потому, что с тем или другим возрастом ассоциируются определенные права.

«Старость» не более чем «молодость», не является каким-то сущностным свойством, которое приходит с возрастом; это категория, установление границ которой вытекает из состояния (изменчивого) силовых отношений между классами и отношений между поколениями в каждом классе, т. е. из распределения власти и привилегий между классами и между поколениями.

Пример манипуляции с возрастом выхода на пенсию исключительно красноречив, поскольку здесь борьба, касающаяся определения возрастных категорий, разворачивается в двух измерениях: борьба, которая противопоставляет социальные группы, и борьба, в которой сталкиваются поколения. Это происходит еще и потому, что «ценность» индивидов и, в частности, мужчин на рынке труда является, несомненно, одной из основных переменных, которая определяет сегодня социальное старение: профессиональная активность принципиальна в определении социальной ценности индивидов.

Иерархия форм и степеней старения в поле профессий, по-видимому, воспроизводит социальную иерархию и доходит вплоть до уровня отдельных предприятий. Именно это вытекает из исследования, показывающего, что, по мнению работодателей, самым тяжелым «изъяном» стареющих работников является «ухудшение способностей адаптироваться к работе, методам или новой технике»; далее идут «утрата подвижности», «потеря сил»; далее — утрата «интеллектуальной живости» и «сноровки», «памяти» и в последнюю очередь упоминается «неспособность к руковод-

ству»¹. Другими словами, это означает, что угасание с возрастом качеств, признаваемых работодателями в качестве необходимых для выполнения различной профессиональной деятельности, или, если угодно, возраст, с которого разные социальные категории начинают «стареть», оказывается более ранним для представителей самых низших классов: руководителями предприятий чернорабочие рассматриваются как «продуктивные на 100%» только до среднего возраста в 51,4 года, квалифицированные рабочие — до 53,5 лет, мастера — до 55,9 лет, ответственные работники — до 57,9 лет и никакого возраста не зафиксировано для самих руководителей (*ibid*, p. 97).

На основе этой дифференцированной оценки «продуктивности» разных категорий трудящихся, предпринятой руководителями предприятий, т. е. агентами, социально заинтересованными в предписании границ старения, влияющих на цены на рынке труда, ясно, что старение измерено на этом рынке не столько по «шкале возрастов», сколько по шкале критериев, навязывание которых зависит от состояния борьбы между различными категориями продавцов и покупателей рабочей силы.

В целом, принципы разделения труда структурируют одновременно распределение задач между социальными группами, а также их категории восприятия и оценки. Социальное разделение труда является социальной работой деления, т. е. борьбой между группами за навязывание принципов видения социального мира, способствующих поддержанию или изменению их позиций в социальном пространстве (Bourdieu, 1984, p. 3–12).

¹ Опрос был проведен в 1961 г. Французским институтом опросов общественного мнения (IFOP) среди 100 руководителей предприятий и начальников отделов кадров крупных и средних частных предприятий. См.: *Les travailleurs âgés dans l'entreprise // Le Haut-Comité consultatif de la Population et de la famille: Les personnes âgées et l'opinion en France*. Paris: La Documentation Française, 1962. P. 99–100.

Борьба классификаций может привести к изменениям видения и деления социального мира, особенно если к категориям, определение которых стоит под вопросом, присоединены права, как, например, пенсия для лиц данного возраста. Это способствует приданию некой «социальной устойчивости» той категории, которую стремятся образовать пенсионеры, так как защита прав может стать фактором мобилизации (когда эти права оказываются под угрозой).

«Социальная реальность» — результат всей этой борьбы. Она проявляется в разных формах: в состоянии права, коллективных материальных ресурсах, мыслительных категориях, социальных движениях и т. д. Изучение появления социальной проблемы, с этой точки зрения, есть один из лучших способов, вскрывающих работу по «социальному конструированию реальности», если воспользоваться названием известной социологической работы (Бергер и Лукман, 1995), так как оно вбирает все аспекты этого процесса. И если речь идет о социальной проблеме, объект социологического исследования вырастает, прежде всего, из анализа процессов, благодаря которым конструируется и институционализируется то, что в настоящий момент существует в этом качестве.

1.3. НЕОСОЗНАВАЕМАЯ СЕМАНТИКА И ЗАРАНЕЕ СКОНСТРУИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ: «СЕМЬЯ»

Универсальный характер понятия семьи как инстанции биологического и социального воспроизводства держится, без сомнения, на том, как указывает Франсуа Эригьер, что «все знают или полагают, что знают, чем является семья; эта последняя так прочно вписана в нашу повседневную практику, что неявным образом предстает для каждого природным или, говоря шире, универсальным фактом» (Héritier, 1979; Lévi-Strauss, 1983). Но эта вера

в «семью», которая обусловлена природой и которая меняется от общества к обществу лишь в своем составе и функциях, также является продуктом социальной работы. Эта работа по конструированию социальной реальности, если пользоваться распространенным сегодня выражением, ведется и проявляется уже на уровне самих слов, в которых всегда выражено видение социального мира. Поскольку язык — это не только, как писал Эрнст Кассирер, «посредник при формировании объектов» (Cassirer, 1933); но гораздо более — «обусловленность поведения», как показали независимо друг от друга Эдвард Сепир и Бенджамин Ворф (Sapir, 1967; Worf, 1969).

Таким образом, факт говорения о «семье» должен предполагать определенное представление о социальных группах. Действительно, обыденный язык описывает семью как «круг», в который входят и из которого исключают («в кругу семьи»). Семья означает способ принадлежности к группе, которая основана на общности условий проживания, крови и т. д., короче говоря, однородное сплоченное единство, во многом обязанное своим существованием «сходствам» агентов, которые его образуют в том смысле, какой придавал слову «сходства» Дюркгейм говоря о механической солидарности (Дюркгейм, 1996, гл. 1). Именно к этому отсылают выражения «семейная атмосфера», «дух семьи» и даже «семейное горе». Наконец, на эти неявные предпосылки, которые стоят за простым употреблением слов «семья» и к которым не преодолимб влекут мышление формулы здравого смысла, такие как «(хороший) отец семейства», «сын из (хорошей) семьи», не говоря уже о «святом семействе», опирается этносоциальное обоснование такого способа быть вместе. Это содержится, помимо прочего, в выражениях «поддержка семьи», «семейная взаимопомощь», но также и «глава семьи», поскольку в семье есть только добрые чувства, бескорыстие и благорасположение. Понятие «семьи» (но также, в негативном смысле, и «без семьи») неявно обозначает сплоченное, упорядоченное единство, одним словом, целое.

Итак, уже в словаре мы обнаруживаем корни проблематики единства и единения группы, к которой отсылают категории обыденного способа говорить на эти темы. Последние можно объединить в оппозицию единой семьи/разрушенной семьи. В эту знакомую семейную топологию входят также различные формы, которые могут принимать союзы, браки, сожительство (общепринятое или нет) и их противоположности: разводы, разъезды и такие «гибридные» формы, как «совместное проживание». Это также случай различных способов легитимного включения в семью детей: деторождения или усыновления и, напротив, способов изгнания детей, отказа от них или лишения наследства. В данных условиях становится понятно, почему даже сегодня так трудно обозначить «семейные» структуры, которые не соответствуют — по крайней мере, формально — этому неосознанному представлению о семье (семья «атомарная», «сложная», «с нечеткими границами», «гражданский союз», «общественный союз» и т. д. (Bourdieu, 1996)).

С этим представлением о семье как гармоничном единстве связано и наваждение непрерывностью домашней группы*. Это также выражает обыденный язык, который связывает понятие «семья» с представлением о родственной линии, потомстве, родоначальнике, нисходящих ветвях. Семья предстает группой, имеющей историю, жизнь, и, как каждая «история жизни», эта история одновременно оказывается рассказом о жизни этой истории («семейные истории», «семейный альбом»). Этапы, всегда одни и те же, отсылают к официальной работе (успешной или нет) по унификации и объединению группы: рождения, браки, наследства и т. д. Подобно поколениям, следующим одно за другим, эти события укладываются в хронологический линейный ряд, предназначенные дать семье образ сплоченной и интегрированной

* По-французски в значении «domestique», с его грамматической двусмысленностью, более ясно прочитывается отсылка к аристотелевскому и веберовскому определению семьи через домохозяйство. — *Прим. пер.*

группы, принцип которой является ее собственной целью: поддержание (домашнего) единства и того, что его обосновывает, — «семейного состояния».

2. Социальное основание заранее сконструированных категорий

Социологическая работа могла бы заключаться в фиксации данных, сконструированных в соответствии с категориями, результирующими проделанную социальную работу. Социология старости представляет с этой точки зрения хороший пример производимых исследователем операций: она оказывается тем случаем, когда социология конструирования понятия сама превращается в объект исследования.

Исследователь неизбежно сталкивается с институциональными определениями своего объекта, т. е. с проблемами, которые ставит перед институциями «стареющее» население, находящееся в их ведении. «Социология старости», таким образом, вытекает из ненаучного деления социологии, которое установилось в связи с появлением социальной проблемы.

Дело в том, что разграничению возрастов и распределению легитимных практик, которые им соответствуют, способствовало, по сути дела, появление институций и специализированных агентов, как это установлено, например, относительно деления первых лет жизни, связанного с развитием школьной системы. Введение конструктов «детство» (Арьес, 1999), «подростковый возраст», а недавно и «раннее детство» (Chamboredon, Prevot, 1973) связано в большой мере с увеличением сроков обучения и распространением

детских садов. Подобно этому, сегодняшнее изобретение «третьего возраста» — этого нового этапа жизненного цикла, который пытаются вписать между выходом на пенсию и старостью, является, главным образом, продуктом превращения пенсионной системы во всеобщую и вмешательства институций и агентов, специализирующихся на обслуживании старых людей и способствующих автономизации этой социальной категории и, одновременно, населения, которое она обозначает (Lenoir, 1979).

Препятствие, с которым сталкивается социолог, в меньшей степени связано сложности, присущей объекту, чем условиям, в которых он вынужден вести исследование: именно само поле, поле агентов, управляющих делами старости, в которое он неизбежно входит, представляет собой существенное препятствие для построения социологического объекта. Изучая это поле социологически, социолог может найти способ преодоления данной преграды, лишь обнаружив ставки определений и классификаций, которые производят агенты, заинтересованные в том, чтобы ввести в оборот эту категорию.

Социолог лучше осознает «навязывание проблематики», когда изучит самое обездоленное население, т. е. население, с которым связаны проблемы, называемые «социальными» в двойном смысле этого слова: и как «социальные обстоятельства», и как «проблемы общества».

Таково положение иммигранта, в котором, как показывает Абдельмалек Саяд, совмещаются все виды подчинения: «Иммигрант, о котором идет речь (о котором ведут речь наука и все науки, а также политический дискурс и т. д.), в действительности является таким, каким его определили [...]». Сила социального определения иммигранта и «проблем», которые он привносит, «обязана тому факту, что он воплощает все возможные формы господства над собой: он одновременно рабочий, выходец из колоний, правонарушитель,

лицо с психическими расстройствами, безработный и т. д.». И потому, как в случае любой доминируемой группы населения (крестьян, рабочих, а также детей, женщин, пожилых людей и т. д.), но, может быть, гораздо больше именно в случае иммигрантов (а здесь еще более для алжирцев, чем для португальцев, и более для португальцев, чем для итальянцев, и т. д.), нет социального объекта, проблематика которого (и все направления исследования, которые с ней связаны) была бы настолько искусственно навязанной (Sayad, 1986).

«Одна из форм такого навязывания, — продолжает он, — состоит в том, чтобы воспринимать иммигранта, размышлять о нем, все время ссылаясь на социальную проблему, т. е. проблему, которая возвращает к условиям его существования и, в конечном счете, к его праву на существование. Это сцепление населения с социальной проблемой (иммигранты и рынок занятости, иммигранты и безработица, иммигранты и профессиональная подготовка, иммигранты и возвращение и т. д.) служит самым очевидным показателем того, что проблематика исследования является прямым наследником установившегося социального восприятия иммигранта как того, кто в одно и то же время и создает проблему, и требует от общества ее разрешения».

Можно задаться вопросом: каков в действительности точный характер «проблем» иммиграции? Идет ли речь о собственных проблемах иммигрантов или скорее о проблемах, которые возникают перед французским обществом в связи с ними и которые, тем самым, образуют проблему для самих иммигрантов?

Социолог должен считаться с этими «коллективными представлениями», которые, как уточняет Эмиль Дюркгейм, «единожды возникнув, становятся частично автономными реалиями» (Durkheim, 1973) и воздействуют на

реальность через объяснение, формулирование и информацию (понимаемую двояко: формирования мышления и распространения), присущую любой форме представления. Но эти представления являются тем более эффективными, чем сильнее они соответствуют объективным трансформациям, на которые исследователь должен прежде всего обращать свое внимание, поскольку эти трансформации лежат в основе возникновения и содержания данных представлений.

Именно этим пытаются пренебрегать при анализе социальных проблем «конструктивистская» точка зрения, какой она представлена, например, у Герберта Блюмера (Blumer, 1971): не все может быть представлено как «социальная проблема».

2.1. Морфологические и экономические трансформации

Если рассмотреть, например, «изобретение» какой-либо «болезни», которая принимает вид социального «бедствия», как это было во Франции с туберкулезом, венерическими болезнями и, начиная с 1920 г., с раком, можно увидеть, что болезнь сопровождается тем, что Патрис Пинель называет «социальным движением» (Pinell, 1987, р. 45–76). Не пренебрегая внутренними факторами, действующими в медицинском поле (в частности, развитием технологии), которые позволили расширить медицинское вмешательство, как в области диагностики, так и в области самой терапии (в частности, радиология и радиотерапия), он описывает *социальные ставки*, которые сформировались с рождением канцерологии как автономной медицинской дисциплины, кристаллизовавшейся в создании Лиги борьбы против рака.

Эта Лига объединяет представителей всего пространства господствующего класса (аристократию, финансовую

и промышленную буржуазию, политических деятелей, медиков и т. д.) — условие необходимое, но не достаточное для того, чтобы «проблема», с которой сталкиваются «частные лица» и, более широко, поле социальной (медицинской, военной, школьной и т. д.) жизни, стала «социальной проблемой», общественной проблемой в обоих смыслах слова. Если в свое время успех Лиги проистекал в большой мере из «ее способности превратить “рак” в конкурентоспособный товар на рынке благотворительной деятельности, то это вызвано объективными факторами, которыми анализ, сосредоточенный исключительно на производстве категорий, обычно пренебрегает. К ним, в частности, относятся изменения показателей смертности и ее причин, которые позволяет обнаружить статистика: старение французов увеличивает долю населения, подверженного риску умереть от этой болезни, которая, с восьмого места по причинам смертельных исходов среди парижан в 1956 году спустя тридцать лет переместилась на пятое». Этот рост числа заболеваний раком одновременно сопровождается изменением пораженного им населения: как свидетельствует объективная статистика, все чаще им оказываются затронуты мужчины, а разница между жителями бедных и богатых кварталов сокращается. Рост числа случаев, более высокий социальный статус затронутой группы населения — таковы условия, которые совместно способны превратить «проблему» в «социальную проблему».

Так же обстоит дело с учреждением «старости» как социальной проблемы, которая коррелирует с экономическими потрясениями, затрагивающими семейные структуры, до того бравшими на себя заботу о престарелых родителях, уже не способных удовлетворять свои потребности. Здесь пример со старостью еще раз подтверждает сложность и разнообразие факторов, которые лежат в основе возникновения социальной проблемы, и напоминает, что причиной тому является все единство социального порядка.

«Что делать со стариками, которые больше ни на что не годятся?» Так был сформулирован вопрос «экономистами» и «политиками» в середине XIX века по поводу старости в тех «обездоленных» классах, которые стали пролетарскими. С самого начала проблема пенсий была проблемой выяснения того, какая группа должна взять на себя обеспечение старости тех классов, у которых, по определению, не было капитала для передачи: семья или предприятие?

Возникновение «старости» как социальной проблемы затронуло прежде всего рабочий класс и стало результатом быстрого распространения, главным образом с середины XIX века, капиталистической организации труда и системы связанных с ней установок. Заработная плата должна была вознаграждать только рабочую силу, вложенную в труд, без учета того бремени, которое индивид должен взять на себя дополнительно, удовлетворяя свои непосредственные нужды. Отдача этой силы тем лучше поддается измерению, чем сильнее развивается механизация и следующая за ней декартификация рабочего, и чем отчетливее эту силу пытаются свести к одной только физической. «Старость» рабочих, таким образом, приравнена капиталистическим патронатом к «инвалидности», т. е. к «неспособности производить», как уточняет Эмиль Шейсон, один из специалистов по социальной политике руководителей крупных предприятий своего времени. Именно по этой логике руководителями предприятий были организованы пенсионные кассы, чтобы, как уточняет историк Ролан Трэмпе, исследовавший случай угледобывающей компании в Кармо, «снизить производственные затраты, достойным образом избавившись от старых работников, оплачиваемых выше той отдачи, которую они обеспечивают» (Trempe, 1971).

2.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА И ФОРМЫ СОЛИДАРНОСТИ

Мы видим, что старость в качестве социальной проблемы не является механическим следствием роста числа «пожилых людей», как пытается внушить двойственное понятие «демографического старения», часто используемое демографами, и пример которого можно видеть в следующем суждении: «Для всего населения на данный момент времени, — пишет Альфред Сови, — действительно следующее распределение: $H = M + V + C$, где H представляет собой все население, M — численность молодежи, V — численность взрослых, C — численность стариков. Последние три группы позволяют вычислить три показателя старения: а) отношение C/H — численности стариков к численности всего населения; в) отношение C/M — численности стариков к численности молодежи; с) отношение C/V — численности стариков к численности взрослых» (Sauvy, 1963, p. 371).

Перед лицом подобных абстракций социолог приходит к необходимости осуществить двойное действие, состоящее в разрыве с социально признанными определениями изучаемого явления, которые в качестве таковых являются слишком общими и/или историческими. Первое действие заключается в том, чтобы обращать внимание на различия между социальными группами с точки зрения своего объекта (в случае смертности, возраста выхода на пенсию, изменения зарплаты на протяжении всего жизненного цикла и т. д.). Второе нацелено на то, чтобы поместить эти различия в более общие социальные единства, которые можно назвать «контекстом», где развертываются наблюдаемые явления. Таким образом, проникнуть в изменения способов введения в оборот старости можно, как видится, не столько на примере приюта для стариков, сколько отталкиваясь от трансформации силовых отношений между поколениями в семье, которые сами вытекают из внешних для семейной жизни фак-

торов. Вот почему социологическое изучение старости приводит к тому, чтобы в расчет брались факторы, которые изменяют то, что Эмиль Дюркгейм называл «видами солидарности», т. е. «природу связей, объединяющих индивидов» в данной группе (Дюркгейм, 1996).

Если «старость» рабочего класса действительно была учреждена с самого начала в качестве «социальной проблемы», как об этом свидетельствуют многочисленные и длительные парламентские дебаты по вопросу о «пенсиях рабочих и крестьян» в течение всей второй половины XIX века, то семейное обеспечение старости членами других социальных классов возникло в том же качестве гораздо позже и в других условиях. В последнем случае речь уже не идет о прямом воздействии перемен в способе экономического производства, но, более общо, о следствиях изменения способа воспроизводства социальной структуры, которое, по всей видимости, затронуло главным образом отношения между поколениями в этих классах.

Экономические трансформации и эволюция семейных структур: придуманная старость

Все наблюдатели того времени отмечают то, что Макс Вебер назвал «распадом домашней общины», который, по его мнению, обязательно сопровождает развитие капиталистической экономики (Weber, 1971, p. 399–405). Его аргументация такова. Введение денег способствовало возможности рассчитывать вклад, который каждый из членов вносил в жизнь группы, и позволило некоторым из них, начиная с некоего порога, свободно удовлетворять свои индивидуальные потребности. Конечно, как замечает сам Макс Вебер, этот параллелизм не совершенен, но с той поры, как экономическая деятельность ориентируется на выгоду, она становится особой «профессией», которая в отличие от способов производства, назы-

ваемых автором «коммунистическими», осуществляется в рамках «предприятия». Он устанавливает, на его взгляд, решающее отличие («юридическое» и «поддающееся учету») между «домом» и «хозяйством», «домашним хозяйством» и «мастерской» и т. д.

Это отделение сопровождается распадом ценностей солидарности и обмена, которые регламентировали отношения между родственниками: деятельность членов группы, глубоко дифференцированная, в частности, по полу, вплоть до ее ритуального оформления, индивидуализируется и направлена отныне на определение и фиксацию социального статуса каждого.

В традиционной (главным образом сельской) экономике принцип распределения функций каждого из членов домашней группы, выступающего одновременно единицей производства и единицей потребления, покоится на неделимости имущества. Как многократно показывали антропологи, эта неделимость соотносится с вытеснением из сознания расчетов, которое этим способом присвоения и распоряжения имуществом поощряется (и которое в то же время позволяет его сохранять). Разумеется, и в экономике такого типа, «труд» социально определен (он оказывается предметом распределения, дифференциации и т. д.), но остается таковым в соответствии со всей системой общинных ценностей (главным образом, связанных с удовлетворением нужд и безопасности группы), а не с денежным обменом и всем тем, что с ним связано («изолированный» работник, «свободный» рынок и т. д.). Труд еще не осмысливается и не воспринимается в отрыве от других социальных функций.

Когда с развитием наемного труда и введением определения труда как продуктивной и рентабельной деятельности, взаимозависимость членов семейной группы все более приходит в расстрой-

ство, образуется новое видение «деятельности»: та, которая вознаграждается и оценивается, называется «трудом», а та, которая им не является, обесценивается вплоть до ее непризнания в качестве таковой («бездеятельность»). Восприятие «старости» как «бремени»; которое необходимо нести, и как расходов для семейной группы оказывается тем сильнее в среде рабочего класса, чем скуднее средства, которыми располагают семьи.

Многие исследователи в свое время описали нищенские условия рабочей старости. К концу XIX века более половины населения в возрасте 65 лет и старше не получало ни пенсии, ни зарплаты, опека большинства из них исходила от детей или благотворительных институций. Можно вспомнить в этой связи, что более 40% приютов было построено в XIX веке, против 26,5% — до 1800 г., 23,3% в период между 1900 и 1944 г. и 9,3% — во время 1945–1970 г.; большинство из них было создано и профинансировано частными фондами, которые нередко субсидировались семьями промышленников и банкиров.

Действительно, переход от способа наследования, в соответствии с которым отношения между поколениями контролировались непосредственно родителями, к способу, когда доступ к позициям и благам обеспечивается все более посредством дипломов и конкурсов, способствовал тому, что изменились ставки в отношениях между детьми и родителями и способы определения содержания и интенсивности их обменов, короче говоря, их взаимных обязанностей. Более того, некоторые сферы деятельности, традиционно остававшиеся прерогативой семьи и способствовавшие ее существованию как группы, оказались постепенно переданы институциями и специализированному персоналу. Так, воспитание детей доверено с самых малых лет школе; доступ молодых на рынок труда обеспечивается все больше и больше путем конкурсов или через агентства по трудоустройству; ссуды молодым семьям

могут предоставляться финансовыми институтами; наконец, материальная поддержка старости отныне обеспечивается пенсионными кассами и специализированными учреждениями и т. д. Подобная переадресация в разных социальных классах способствует ограничению (в различной мере) той власти, которую родители осуществляли ранее в отношении своих детей (Lenoir, 1985, p. 69–88).

В определенной мере основы единства и структуры семейной группы оказываются, таким образом, пошатнувшимися, а то, что позволяло осуществлять обмены и переговоры на личностном уровне, отныне все чаще и чаще перекладывается на институты, действующие в их собственной логике.

С этой точки зрения крестьянская семья представляет типичный случай солидарности, которую она обеспечивает между поколениями и результатом которой она является: она покоится на наследственном имуществе, выступающем одновременно средством производства, средством существования и символом социального положения потомков. Кризис наследования в крестьянской среде особенно явно позволяет обнаружить трансформацию силовых отношений между поколениями в семье (Champagne, 1979). Разумеется, более чем в других социальных категориях, в частности наемных работников, где вступление детей на рынок труда не принуждает родителей к выходу на пенсию, старость среди крестьян «приходит от» детей, которым для того, чтобы самим стать главами хозяйств, необходимо добиться хотя бы частичного отстранения родителей от дел. В отношении наследования положение младших производителей в семье, похоже, оказывается в рамках альтернативы и покоится на очень шатком равновесии: или родителям удастся сохранить свою власть над детьми и держать их как можно дольше в положении «семейных помощников», или дети ради более раннего получения наследства должны

добиваться от родителей преждевременного отказа от управления наследственным имуществом. Возраст, в котором в крестьянской среде дети наследуют родителям, зависит от состояния силовых отношений между поколениями, которые сами зависят от возможности детей «выйти» из семейного предприятия, т. е. заняться ремеслом и устроиться жить в ином месте. Так, всеобщий доступ крестьянских сыновей к первому циклу среднего образования изменил властные отношения внутри крестьянской семейной группы, внося перемены в разделение труда по обучению между семьей и институтом школы: он обеспечил сравнение с детьми из других социальных классов и, главное, наделил молодые поколения школьным капиталом.

Единственно возможным для сыновей крестьян остается только будущее крестьянина или — если они покидают землю — подсобного рабочего. Стать крестьянином — значит согласиться остаться в качестве семейного помощника, а это предполагает ожидание, которое отныне воспринимается как исключительно долгое. Тем более, что в результате развития местной промышленности и изменения установок в отношении городских профессий дети могут попытаться стать рабочими или служащими, т. е. «работниками по найму» со всеми относительными преимуществами (ранней материальной независимостью, еженедельными выходными, фиксированным временем труда), какие подобная ситуация предполагает по сравнению с порабощающими «обязанностями» крестьянствования. С этих пор отсрочка с наследством перестает быть привычным делом, и в результате дети обретают возможность вести переговоры об условиях возможной передачи им семейного хозяйства, прибегая при этом к своеобразному «шантажу отъездом» с целью снижения возраста, в котором родители оказываются вынуждены удалиться от дел.

Итак, социальная проблема, как всякая социологическая проблематика, является продуктом конструирования, исходящего из различных принципов. Социальная проблема есть не только результат плохого функционирования общества (к такой мысли может привести чрезмерное порой употребление таких терминов, как «дисфункция», «патология», «отклонение», «дезорганизация» и т. д.): она предполагает настоящую «социальную работу» (в дюргеймовском смысле), два главных этапа которой заключаются в признании и легитимации «проблемы» как таковой. С одной стороны, ее «признание» — сделать очевидной особую ситуацию, превратить ее, как говорят, в «достойную внимания» — предполагает действие социально заинтересованных групп по производству новой категории восприятия социального мира с тем, чтобы на него воздействовать (Goffman, 1975). С другой стороны, ее «легитимация» не выводится непременно из просто публичного признания проблемы, но предполагает особую деятельность по ее продвижению для внедрения ее в поле актуальных «социальных» забот. Одним словом, к объективным трансформациям, без которых проблема не была бы поставлена, прибавляется специфическая работа по публичному формулированию, т. е. деятельность по мобилизации; социальные условия этой мобилизации и ее успеха составляют другой аспект социологического анализа социальных проблем.

3. Социальный генезис социальной проблемы

Работа по публичному формулированию может быть делом самих агентов политического поля, усматривающих в постановке социальной проблемы общий интерес, который следует отстаивать. Так, борьба, которая в течение

XIX века противопоставляла представителей промышленной буржуазии и представителей консервативной аристократии в отношении систем социальной защиты, в частности, рабочих пенсий, вовсе не интересовала тех, кого эта проблема непосредственно касалась, как об этом свидетельствует отсутствие требований и народных манифестаций на эту тему (Perrot, 1974). Но даже если она была лишь предлогом политической борьбы, проблема все же была сформулирована публично, т. е. заявлена и включена в актуальную политическую проблематику.

Это включение чаще всего предполагает предварительную работу по осознанию и формулированию, которые установление проблем старости рабочих в качестве социальной проблемы в XIX веке не позволяет непосредственно обнаружить. Это так, поскольку лишь минимум обеспечения, гарантируемый постоянной занятостью и зарплатой и т. д., способствуя организации повседневной жизни, дает возможность появиться рациональному восприятию мира и позволяет строить планы, прогнозы, короче некое предвидение в отношении будущего, что предполагает, среди прочего, притязание на пенсию (Bourdieu et al., 1963, р. 303–312). Такие условия будут обеспечены во Франции в конце XIX века, и они будут таковыми лишь для категорий рабочих, пользующихся наибольшими преимуществами.

3.1. ДАВЛЕНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ

Исследование изменений семейного законодательства и права женщин на труд в 1955–1975 гг. (Lenoir, 1985) позволяет обнаружить операции, за которыми следует придание юридической формы решению социальных проблем. Первоначально протест против положения женщины, каким он был определен гражданским кодексом

1804 г. (слегка измененным полтора века спустя), выразился прежде всего в повседневной практике некоторых категорий женщин. Он воспринимался скорее в виде смутного, туманного, относительно неопределенного затруднения, такого, подобно, если обратиться к метафоре из химии, состоянию суспензии. Этот род смятения, невыразимого вербально, но разделяемого большим числом женщин (социальная позиция и образовательный уровень которых уже с начала XX века были выше среднего), обрел, в основном после войны, форму публичного выражения у «специалистов по невыразимому», которыми часто являются романисты, в данном случае романистки.

Быстрое развитие «женской прессы» («Эль», «Мари-Клэр» появляются в этот период) ускорило и усилило это «духовное смятение» женского начала, определив его не столько в форме юридических требований, сколько в виде образцов искусства жить. Это были эталоны для идентификации, шла ли речь о манере представлять себя (мода, уход за телом и лицом и т. д.), о домашней жизни (кухня, обстановка, прием гостей и т. д.) или о морали (сексуальность, воспитание детей, профессиональная деятельность и т. д.).

Из этого следует, что воссоздание генезиса социальной проблемы предполагает изучение культурно продвинутых посредников, которые становятся ее глашатаями. Поэтому их можно рассматривать как представителей если не социальной группы, то хотя бы скрыто разделяемого общего дела, реализации которого они способствуют. Как бы то ни было, подобная форма давления, какой является публичное самовыражение, несет на себе след социального присутствия тех, кто имеет доступ к различным средствам массовой информации. Вот почему социолог не должен отождествлять организованный квазисистематизированный и связный дискурс, свойственный профессионалам, и формы протеста, ощущаемые, но не вербализованные и не тематизированные.

В случае феминистских требований этот дискурс был в основном делом женщин, имевших доступ не только к

средствам публичного выражения (писатели, журналисты, адвокаты, преподаватели, врачи и т. д.), но и к социальным позициям, которые позволяли иметь право говорить (и говорить публично) как о переживаемом кризисе, так и о предпочтительных выходах из него. Можно сказать, что в последнем случае «личные проблемы» становятся «проблемами общества» не столько из-за их превращения в публичные благодаря средствам информации и образованию, к которым женщины получили доступ, сколько из-за их значения продукта самой социальной позиции, которая дает им право, подобно «образцовому пророку» Макса Вебера, превращать свою «личность» в образец, приводить себя в пример, адресуясь к «личному интересу тех, кто испытывает жгучую потребность быть спасенными и побуждать их следовать тем же путем, что и он» (Weber, 1971, p. 471).

Многие другие категории не располагают ни социальными средствами, ни инструментами доступа к публичному выражению, хотя бы в вербальной форме. Случай с «пожилыми лицами» особенно интересен тем, что они составляют часть «стигматизированных категорий», как их обозначает И. Гоффман, «не способных к коллективному действию» и «вынужденных подчиняться», чтобы быть признанными и услышанными «высшей организацией» в качестве таковых (Goffman, 1975, p. 36–40). Кроме некоторых попыток организовать представительство демократического типа («суд присяжных», «генеральные штаты» и т. д.), представители «пожилых лиц» являются, главным образом, «экспертами», компетенция которых официально признана и отнесена к специальности, установленной по научному образцу, а именно к «геронтологии» (Lenoir, 1984, p. 80–87).

Как и в феминистском движении, здесь эксперты столкнулись с необходимостью сформулировать новое определение старости (новую манеру быть «старым», в данном случае, скорее, манеру не быть им), хотя бы отчасти соответствующее спросу, который можно было бы назвать «опознавательным» со стороны новых социальных кате-

горий «пожилых лиц», старость которых не была на содержании их семей, а обеспечивалась бы пенсионными системами. Этот новый образ старости («третий возраст») предполагал работу по категоризации, состоявшей, главным образом, в эвфемизации словаря, используемого для обозначения «стариков». Речь шла о том, чтобы найти приемлемое для публики название тому, что прежде отвергалось и что не могло получить официального наименования. (Другой пример касается аборт. Как только разрешение абортов стало предметом публичных дебатов, это понятие было заменено понятием «искусственного прерывания беременности» и даже «ИПБ», аббревиатурой, способной исключить всякие семантические уничижительные намеки.)

Традиционные синонимы, обозначающие старость, в действительности касались только низших классов и были единственным набором обозначений, публично употреблявшимся еще в пятидесятые годы («старика без средств», «прикованные к постели», «дряхлые калеки», заброшенные в «приютах»). Эта терминология уступает место другой, стремящейся выразить форму, которую принимает старость в средних классах и о которой говорят «пожилые лица» (иногда обозначают просто заглавными буквами «П. Л.» или «З. В.»): люди, принадлежащие к «преклонному возрасту» или «золотому возрасту», живущие в «домах под солнцем» или в «блистательных загородных виллах», «развлекающиеся» в «клубах третьего возраста» или обучающиеся в «университетах третьего возраста».

Производство некоего типа потребностей в собственном смысле этого слова (в частности, потребностей в культурных и психологических услугах, которые, в основном, обозначает выражение «третий возраст»), несомненно, вытекает из трансформации отношений между поколениями (снижение возраста выхода на пенсию, сужение поля семейных карьер и уменьшение их продолжитель-

ности и т. д.). Что касается политической работы, то она главным образом состоит в назывании, т. е. официальном обозначении этих потребностей и в разрешении выражать их легитимно и легально (Lenoir, 1979; Guillemard, 1986).

Речь о «третьем возрасте» не является просто дискурсом, сопровождающим объективные процессы. Дискурс сам оказывает непосредственное легитимирующее воздействие, отчасти способствующее ускорению этих процессов в той мере, в какой он пытается произвести символическую реклассификацию социально деклассированных поколений. Работа по классификации совершается агентами, выполняющими чаще всего одновременно культурное и психологическое управление старостью, и являющимися поэтому, без сомнения, первыми, кто заинтересован в классификации, которую они навязывают. Эта работа приводит (если не является следствием) к тому, что «нормализует» «социальную проблему», т. е. заставляет принять как «нормальное» новое состояние отношений между поколениями, хотя бы и путем присвоения ему официального наименования. Эта работа также приводит к тому, что создаются новые нормы, управляющие повседневной жизнью и деятельностью, связанной с этим «новым жизненным возрастом».

3.2. Сила слов и социальные силы

Анализ дискурса, заключенных в нем представлений, формулируемых претензий невозможен в отрыве от изучения тех, кто его произносит, и инстанций, где он произносится или публикуется. С социологической точки зрения — это именно те факторы, которые придают силу и эффективность особой форме выражения, чем и является этот дискурс, который нельзя изолировать от других инструментов, нацеленных на придание некой «социальной устойчивости» декларируемым притязаниям. Если

верно, что сила (и смысл) дискурса зависят в значительной степени от характеристик того, кто его производит, важно поставить вопрос о «репрезентативности» выразителя официального мнения и его способности «мобилизовать общественное мнение». Изучение также должно охватывать все формы мобилизации и условия, которые делают их возможными и которые воздействуют таким образом, что, в частности, поддерживают авторитет дела перед лицом публичных властей.

Действительно, для обретения «проблемой» формы социальной проблемы недостаточно того, чтобы нашлись агенты, социально признанные компетентными для анализа ее характера и выработки приемлемых решений; нужно еще навязать ее присутствие на сцене публичных дебатов. Например, публичная критика положения женщины феминистскими движениями 1960–1970-х сопровождалось работой по мобилизации. Это предполагает разработанный социальный инструмент, такой, как создание «групп», функции которых являются одновременно материальными (разделение труда на информирование и распространение) и символическими (придание отдельным выступлениям силы «коллективных» событий).

Это приводит (по крайней мере, в первое время) к утверждению и новому определению «убеждений», как говорил Макс Вебер, через совокупность приемов социальной и интеллектуальной интеграции, которые «мелкие собрания» превращает в «митинги», а редактирование листовок, лозунгов или брошюр переводит в публикацию специализированных журналов. Митинги и манифестации предъявляют себя официально, проходят в публичных местах и стремятся стать «событием, о котором говорят», в частности, наиболее значимым на сегодня — благодаря освещению его в прессе (Lenoir, 1985 и глава 4 наст. изд.).

В процессе установления «третьего возраста» как социальной проблемы обнаруживается коллективная работа по внушению специфической социальной идентичности. Но, в отличие от «феминистского движения», она

исходит не столько от ассоциаций защиты пенсионеров или пожилых людей (существующих чаще всего, как говорится, «на бумаге»), сколько от различных категорий специалистов в области управления старостью (социальных работников и организаторов, геронтологов, гериатров и т. д.), которые играют роль «активистов движения». Именно они в действительности чаще всего находятся у истоков ассоциаций, составляют и распространяют брошюры и журналы, участвуют во всех манифестациях, где высказываются специфические притязания, свидетельствуя одновременно о социальном существовании «группы» и политической важности проблемы, которую она ставит.

3.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОСВЯЩЕНИЕ И РАБОТА ПО ЛЕГИТИМАЦИИ

Именно через механизм государственного освящения частные, с трудом тематизируемые проблемы возводятся в ранг социальных проблем, требующих коллективных решений, чаще всего в виде всеобщей регламентации, правового обеспечения, материального оснащения, экономических субсидий и т. д. Эти решения почти всегда разрабатываются добровольными или профессиональными «специалистами». Одна из основных фаз установления проблемы в качестве социальной состоит именно в ее признании в качестве таковой государственными инстанциями.

Следовательно, социолог должен принимать в расчет те пространства, где вырабатываются подобные «политики» (такие, как комиссии Генерального Комиссариата планирования, парламентские комиссии или комиссии Экономического и Социального Совета и т. д.). Кроме того, он должен описывать свойства агентов, соревнующихся в определении мер, притом что эти последние частично обаяны своим содержанием социальным и профессиональ-

ным способностям таких «специалистов». Именно так разрабатываются инструменты выявления основ политического курса в данной сфере при действующих в ней заинтересованных агентах и связывающих их силовых отношениях, которые могут изменяться.

Анализ официального признания «проблем старости» — благодаря тому, что оно представляет собой многомерную, прежде всего экономическую, но также профессиональную и моральную ставку — выявляет, по крайней мере, две формы легитимации, которые сочетаются и взаимно усиливают друг друга: признание «мудрецами», т. е. главным образом лицами, занимающими высшие посты в администрации, и признание «экспертами». Изобретение «старости» как категории политического действия (говоря о «политике старости», министерские инстанции берут на себя специфическую заботу по ее разработке и приведению в исполнение) является типичным случаем работы по признанию, унификации и официализации, короче, нормализации, которая в значительной мере определяет государственное политическое действие.

В начале 60-х годов правительство создало Комиссию изучения проблем старости. Она не была первой, но предыдущие не объединяли членов столь высокого положения в соответствующих профессиональных иерархиях и не располагали такими существенными материальными и символическими средствами. Эта комиссия объединила наиболее известные личности из областей, вовлеченных в дело не проблемой «старости», а проблемой «старения».

Комиссия изучения проблем старости (1960–1962)

Процесс, через который дотоле изолированные и распыленные действия, ведущиеся в основном практиками социального действия, достигают статуса политических мер,

обладающих силой и наглядностью, присущими всему официальному, очень важно анализировать, чтобы понять, каковы же ставки в ходе конструирования социальной проблемы. Но подобное превращение, разумеется, не было бы столь быстрым, если бы оно не стало предметом официального признания со стороны одной из новых инстанций легитимации социального действия, инстанции, которую можно было бы назвать политико-административной. Пример тому — Комиссия изучения проблем старости.

Учрежденная при премьер-министре, Комиссия объединила вокруг Пьера Ларока — президента социальной секции Государственного Совета и основного руководителя созданного в 1945 г. Социального обеспечения — двух наиболее титулованных и знаменитых специалистов по вопросам старения. Ими были Франсуа Бурльера, занимавший должность профессора первой кафедры гериатрии на Медицинском факультете Сорбонны, и Альфред Сови, профессор *College de France*, которые участвовали в большей части коллоквиумов по вопросам старения, начиная с самого первого («Дни науки о старении» в 1948 г.). Кроме того, в эту Комиссию вошли генеральный директор страховой компании, заместитель генерального комиссара Планирования, несколько специалистов в области социальных наук. Несмотря на участие в Комиссии представителей различных министерств, занимающихся прежде всего стариками из низших классов, «политика старости» в «отчете Ларока» касается «не только наиболее обездоленных людей старшего возраста, но и всего пожилого населения» (*Comission d'etude...*, p. 215) и переходит от обеспечения неимущей старости к «включению пожилых людей в общество» (p. 9)¹.

¹ Этот отчет часто называют «отчетом Ларока», по имени председателя Комиссии.

Эта проблема «старения» (пресловутого «демографического старения») стала прямо-таки «национальным делом», как и проблематика кризиса рождаемости, в тон которой она звучит. Речь больше не идет, как в случае системы традиционного социального обеспечения, об улучшении нищенских условий жизни необеспеченных стариков, которое дополнительно мобилизовало бы специализированных агентов, наподобие сотрудниц учреждений соцобеспечения, приютских или квартальных врачей, руководителей отделений помощи нуждающимся и благотворительных организаций... В повестку дня ставится решение проблемы, которую квалифицируют как угрожающую воспроизводству общества и продолжению жизни целой возрастной когорты нации (и связанного с ней социального порядка). «Старение» рассматривается как национальная «опасность», что предоставляет определенной категории агентов повод для исполнения чего-то вроде метаполитических обязанностей в тех сферах, которые политически относительно слабо структурированы.

Этому изменению «проблематики», т. е. изменению взгляда на порядок вещей, соответствует не только трансформация системы практик агентов, заинтересованных в разрешении «проблемы», но и изменение статуса тех, кому доверена функция определения содержания выбираемой «политики», в частности, в собственно политическом поле. «Серьезность» проблемы (ее «опасность»), размер группы населения (совокупность «пожилых лиц»), множественность затронутых сфер (экономика, здравоохранение, социальное обеспечение...) — вот факторы, мобилизующие этих «общественных деятелей». Они неколебимы не только в отправлении своих профессиональных функций (ведь они находятся на самой вершине профессиональной иерархии), но и в способе занимать публичное пространство, поскольку играют роль «техников», а не «политиков». Однако данные «профессионалы», в отличие от других себе подобных, часто исполняют также и бюрократические функции, будь то руководство очень крупными административными организациями или боль-

шими ассоциациями гуманитарного профиля. Короче, это те, кого называют «мудрецами» — «терапевтами» социальных проблем.

Новое представление о старости своей силой частично обязано поддержке некоторых агентов научного поля — медицинских и социальных наук — и опирается на распространение «геронтологической Вульгаты» которое происходит сегодня одновременно с институционализацией геронтологии как «научной» дисциплины. Геронтология объединяет различные специальности, которые сформировались вокруг осуществления заботы о старости. Вместе с тем, новая «специальность» — геронтология — в большей степени фундируется потребностью в новой коллективной вере, освящающей трансформацию отношений между поколениями и вытекающую отсюда автономизацию управления старостью (которой эти «специалисты» как раз и содействовали), нежели непосредственно научными основаниями, признаваемыми в качестве таковых в поле науки.

Если новое коллективное представление о старости приняло вид науки, то потому что стало легитимным способом представления социального мира. С этой точки зрения геронтология являет собой образец той «научной морали», которая сопровождает создание институций управления «социальными проблемами». Одним из показателей слабой «автономии» этих дисциплин по отношению к административным запросам является само определение их объекта. Они всегда воспроизводят юридически определенную компетенцию институций, простыми эманациями которых они зачастую являются. Действительно, определение таких «специальностей», как геронтология, криминология, эргономика и т. д., прямо строится на принципах бюрократического способа управления социальными отношениями, например, формированием «групп населения», которые были бы наделены или лишены прав социально гарантированных государством. Это соответствие между научным и юридическим объектом лежит, по всей видимости, в основе «реалистического»

представления об объектах, подлежащих научному формулированию, с которым неразрывно соединены кредит доверия и выделение финансовых кредитов: «пенсионеры», «производственная травма», «мать-одиночка», «многодетная семья» и пр.

В борьбе за легитимное определение научного объекта «обладать реальностью-для-себя», как говорил Гастон Башляр, — значит обладать орудием, которое имеет исключительную ценность в глазах административных руководителей. Они требуют от специалистов в области социальных наук быть «реалистами». Они спрашивают с них только то, что в ином виде поставляется правом, и посему от них требуется, в тесной связи с правом, производить работу по рационализации и обоснованию решений. Эта работа заключается в придании административным и политическим распоряжениям статуса законных, т. е. рационально доказанных решений. В свою очередь, специалисты освящаются если не самой «реальностью», то по крайней мере агентами, для которых они работают, или позициями, которые предполагают власть «реализовать» — в частности финансовыми средствами, находящимися в их распоряжении, — представления, вырабатываемые и легитимируемые специалистами.

Например, введение геронтологами нового представления о периоде, который начинается с выходом на пенсию и представляет собой как бы «большие каникулы жизни», содействовало подъему индустрии досуга (или хотя бы существенному повышению рентабельности инвестиций в данную отрасль), благоприятствуя поддержанию в периоды межсезонья той инфраструктуры, которая чаще всего загружена только в сезон. Тем более, рынок «каникул третьего возраста» не был бы, конечно, так развит, если бы он не субсидировался столь щедро муниципалитетами и пенсионными кассами, которые взяли на себя обеспечение ему рекламы, поиск и выявление для него клиентуры и частичное финансирование.

Итак, выдвигая утверждение, что «нормальным состоянием третьего возраста является досуг», геронтология способствует, со своей стороны, росту индустрии досуга. В свою очередь, создавая услуги, специально предназначенные для «третьего возраста», агенты экономического поля включают, таким образом, это выражение в категории восприятия здравого смысла. Это усиливает позиции тех специалистов, которые видят в развитии данного нового рынка подтверждение получающих всенародное признание потребностей, возникновению которых они способствовали своим анализом и обследованиями (Lenoir, 1979).

3.4. ЭКСПЕРТ И СОЦИОЛОГ

Приглашение экспертов в административные инстанции не ново. Робер Кастель описал эволюцию, которая приводит эти инстанции к обращению к специалистам, функция которых поначалу состояла «в оценке, исходя из их собственных знаний, конкретной ситуации» (Castel, 1985, р. 84–92). Это вмешательство характеризовалось тем, что мобилизованная компетенция, «капитал экспертизы» был независимым по отношению к интересам институции, которая к нему обращалась.

Предельным случаем такого технического аспекта отношения, которое может продемонстрировать экспертиза, является отношение эксперта-бухгалтера, которого судебные органы просят подвести финансовый баланс предприятия. То же самое происходит в случае баллистической экспертизы. Именно с этих «служебных отношений» между двумя институциями начинает формироваться экспертиза как «инстанция легитимации». Робер Кастель, анализ которого мы здесь воспроизводим, приводит пример обращения судов к психиатрической экспертизе, практике, которая в судебных кругах стала вводиться с начала XIX века.

Обращение к экспертам объясняется внутренним противоречием функционирования судебного аппарата. В соответствии с уголовным кодексом, чтобы быть обвиненным, нужно быть ответственным за свои действия. Когда какое-либо деяние происходит в таких обстоятельствах, что оно кажется совершенным за гранью вменяемости, суду, тем не менее, необходимо дать свое определение, однако критерии, на которые он опирается в обосновании своего приговора, не всегда могут квалифицироваться судебной институцией как относящиеся к делу. Обращение к эксперту, т. е. агенту, снабженному специфической компетенцией, внешней по отношению к компетенции институции, которая к нему обращается, позволяет последней преодолеть противоречие. «Говоря, что обвиняемый, — продолжает Кастель, — ответственен или не ответственен (и предоставляя знания в доказательство), эксперт-медик позволяет судебному аппарату функционировать в соответствии со своей логикой, т. е. выносить приговор “по всей справедливости” или добровольно отказывать в вынесении обвинительного решения, в зависимости от того, согласуется инкриминируемое действие с его собственными категориями или нет».

Видно, что речь идет в этом случае о служебном отношении: эксперт здесь не представляет собой фигуру «решающего». Он передает мнение, и это уже дело заказчиков, использовать его или нет. Но даже в случае, когда «мнение эксперта не распознает сути», как говорят юристы, содержание экспертизы не перестает влиять на решение. Так что легитимность судебной инстанции здесь скорее отступает перед легитимностью экспертизы. «Точнее, первая основывается на легитимности экспертизы, которую она лишь переформулирует на своем собственном языке». Эксперт —

часто врач или психолог — является агентом, обладающим легитимной властью устанавливать категории классификации индивидов, а также распознавать в их отношении симптомы и показатели, этим категориям соответствующие.

Таким образом «предписывающая» экспертиза совершает нечто вроде морального влияния, основанного, безусловно, на знании («специфическом капитале» специалиста). Это знание производит «нормативные факты», квалификации и дефикации, имеющие правовой статус. Такой мандат эксперта является не исключительно техническим мандатом, а способностью определять нормы. «Он выступает посредником не при выборе технических возможностей, а при ценностном выборе» (Castel, 1985, р. 81–92). Ту же самую логику можно обнаружить в решениях, касающихся образовательной ориентации в секциях специального обучения (Balazs, Faguer, 1986, р. 115–118) или в использовании тестов на понимание в школе (см. Muel-Dreyfus, 1975).

Появление социальной проблемы обязано, таким образом, двум рядам факторов. В результате различных социальных потрясений на повседневную жизнь индивидов воздействуют различные потрясения [структуры], влияние которых различается в зависимости от социальных групп; но эти объективные условия порождают социальную проблему только тогда, когда ей найдена публичная формулировка. Это отсылает ко второму ряду факторов (работа по сообщению, навязыванию и легитимации), о которой только что говорилось. Остается третья фаза: процесс институционализации, который призван фиксировать категории и делать их устойчивыми и очевидными для всех.

4. Институционализация

Собственно социологическому анализу в меньшей степени препятствует сложность объекта, нежели социальные условия его изучения. Социология имеет дело с уже установившимися представлениями, имеющими различную форму: они являются не только в виде научного или политико-морального дискурса, но также в институциональном состоянии, как системы оплаты, перераспределения, оснащения и т. д. Множество факторов участвует в навязывании социологу определения его объекта. Только анализируя различные формы институционализации своего объекта, социолог способен придать действенность своей познавательной критике. С этой точки зрения, коллективное управление старостью представляет собой типичный пример разнообразных форм институционализации социальных проблем.

4.1. Бюрократизация социальных отношений

Введение пенсионных систем и систем обеспечения в целом характеризует способы решения социальных проблем, используемых с конца XIX века во всех индустриально развитых странах. Главной чертой этой новой социальной технологии является перенесение на механизмы, функционирующие согласно технике обеспечения, того, что прежде входило в компетенцию семейной и частной жизни или, в случае увечья, в функции благотворительности и ее рационализированной формы — помощи неимущим («филантропии»).

Все системы социальной защиты основаны на перераспределении ресурсов, но, в отличие от «благотворительности» (специфического акта, который устанавлива-

ет отношение частного лица с другим частным лицом), социальное обеспечение устанавливает связь держателей прав и социально уполномоченных агентов с целью классификации индивидов согласно юридическим категориям. Что касается старости, то традиционный (семейный) способ управления устанавливает прямые отношения между стариком и теми, кто берет на себя заботу о нем; стоимость этой нагрузки и соответствующие обязательства становятся предметом переговоров обеих сторон с учетом социального воздействия, благоприятствующего пожилым родителям. Этот тип заботы заменяется способом обеспечения, характерной чертой которого является анонимное посредничество между агентами, осуществляемое инстанцией, действующей как обезличенный механизм.

Введение системы пенсий привело к тому, что финансовая поддержка старости оказалась доверена (хотя бы отчасти) статистическим законам (законам смертности), на которых покоится функционирование пенсионных «систем». Последние опираются на категории «населения», принцип образования которых обязан не «личным связям» членов, составляющих «реальные» группы солидарности, а, напротив, — как во всех системах обеспечения, установлению отношений «взаимозависимости» людей, которые не знают друг друга и не подозревают, что они связаны такого рода отношениями. Именно в этих «группах» между членами существуют исключительно юридические отношения, такие, как, например, отношения акционеров анонимного общества: они определяются правом присвоения — на четко определенных и не зависящих от индивида условиях — части капитала, вложенного в общий котел, который в частном случае пенсионных касс формируется совокупностью членских взносов. Этот бюрократический способ управления соответствующими категориями населения предполагает выработку и признание универсальных и отвлеченных принципов классификации, различающих свойства обладателей прав, а также появление специализированных агентов, которые обязуются применять эти принципы.

В случае «старости» применяемые критерии просты: возраст, продолжительность пользования пенсией и величина взноса. Относительно «семьи» формулы более сложные. Употребляются два ряда критериев. Первый касается той «модели семьи», которую надлежит поощрять. (Например, «многодетной» семьи, т. е. имеющей троих и более детей.) С этой целью используются следующие переменные: семейное положение (как его определяет закон в данный момент), время между вступлением в брак и рождением первого ребенка, число детей, интервалы между рождениями, производственная занятость женщины и национальность. Так, семейный кодекс 1939 года поощрял модель семьи французов по национальности, имеющих не менее троих детей и мать, состоящую в браке и живущую в семье. Второй ряд показателей выявляет критерии, в соответствии с которыми устанавливаются и выплачиваются пособия; эти критерии касаются ребенка (наличие детей, порядок рождений и возраст), брака (факт его реальности и продолжительности), национальности и размера доходов. Всякую «семейную политику» можно было бы определить в соответствии с той значимостью, которую она придает той или иной группе критериев.

Безусловно, категории, в соответствии с которыми институционализируются политические решения социальных проблем, представляют собой (как и в предшествовавших, менее формализованных способах управления) ставку в борьбе, которая сталкивает друг с другом различные категории, заинтересованные в навязывании той или иной формулы. Главное в произошедшем изменении заключается в том, что с новым способом управления различными группами населения сама сфера этого управления начинает смещаться, поскольку традиционные орудия политических конфликтов все больше уступают место столкновениям между политико-админист-

ративными руководителями и экспертами институций. Все происходит так, как если бы трансформации социальной структуры (эволюция отношений между классами, эволюция отношений между поколениями и т. д.) были отныне опосредованы тем, что обозначается выражением «социальная политика». Действительно, «политика» и ее социальные функции не ограничиваются юридическим представительством (партии, парламент, правительство...), к которому масс-медиа и сама политическая практика (выборы, парламентские дебаты, принятие законов...) нас приучают.

Таким образом, политика (в частности, «социальная») действует двумя способами. С одной стороны, она производит представления достаточно высокого уровня общности и обоснованности, легитимированные наукой (биологией, демографией, физиологией, социологией) и освященные правом, причем эти представления учреждены в многочисленных специализированных институтах и воплощены в экспертах, концепции которых признаны и гарантированы юридически. С другой стороны, политика действует как сила, изменяющая сами практики, способствующие развитию диверсифицированной системы институтов, охватывающих отдельные сферы жизни.

4.2. Дискурсы институций

Социолог сталкивается прежде всего с дискурсом; направленным на обеспечение явления, которое лежит в основе различных специальностей. Он имеет дело с разнообразием *ученого здравого смысла*, часто присущего дисциплинам, признанным в качестве научных и открывающих для себя новые возможности в этом новом объекте. Проблематика различных дискурсов, посвященных старости, подобно геологическим пластам, несет в себе следы этапов эволюции дисциплин, которые превратили «старость»

в специальность. Содержание каждой из них соответствует проблемам, с которыми по мере развития этих дисциплин сталкиваются специализированные учреждения в каждой области.

Первые дискуссии научного свойства исходили из *медицинского поля* и касались поначалу органического старения. Но если дискуссия вокруг физиологического старения очень рано превратилась в область исследований в медицинском поле, то «геронтология» (или «гериатрия») в качестве автономной медицинской дисциплины, располагающей корпусом знаний и признанных специалистов, появляется во Франции только после 1945 г. Эта дисциплина представляет старение исключительно в качестве непрерывного процесса физиологического износа. Подобное определение старости нашло благоприятные условия распространения вследствие расширения медицинской практики (рост численности и специализации врачей и вспомогательного медперсонала, развитие больничных услуг), о чем свидетельствуют, в числе прочих, многочисленные научно-популярные работы по проблемам геронтологии, написанные медиками, начиная с конца 50-х годов. «Геронтологическая вульгата» состоит в распространении правил телесной гигиены и способствует расширению представлений о старости как об индивидуальном процессе органического увядания.

После введения пенсионной системы (1950 г.) специфически экономическая проблематика (изначально связанная с созданием пенсионных систем), оказавшаяся в ведении *демографов*, стремится к признанию, в частности, и в политико-административном поле. Для демографов речь идет об оценке расходов на содержание старости путем сопоставления активного населения и населения, которое таковым уже не является, при этом «демографическое» соотношение является инструментом, которым пользуются пенсионные кассы для расчетов размеров взносов их членов и размеров выплачиваемых пенсий. С этой точки зрения старость уподобляется выходу на пенсию.

Введение пенсионного обеспечения социальных категорий, которые до того ими не охватывались, и постоянное снижение возраста выхода на пенсию (процент занятых среди мужчин в возрасте 65 лет и старше с 1954 по 1968 г. сократился с 36,2 до 19,1) столкнули пенсионные фонды (включая дополнительные пенсионные фонды) с новыми группами населения, имеющими новые запросы относительно обеспечения своего содержания. С тем, чтобы ответить на эти, скорее культурные и психологические, запросы в обслуживании, кассы вынуждены были прибегнуть к специалистам в области социальных наук (психологам и социологам).

Вхождение специалистов социальных наук в число агентов, осуществляющих управление старостью, способствовало распространению новой проблематики старости — «социального включения пожилых лиц». При этом старение стало описываться как процесс ограничения социальной жизни, «редукции социальных ролей», завершающийся «социальной смертью».

Эти дискурсы (и институции, им соответствующие) в той мере, в какой они способствуют разграничению исследовательского поля, представляют основное препятствие, с которым сталкивается исследователь при конструировании своего объекта. Ведь теперь старость определяется как этап жизненного цикла, вычленяемый в соответствии с критериями, различными в соответствующих дисциплинах: «биологический» износ в медицине, «хронологический» возраст в демографии, отсутствие «социальных ролей» в социологии. Однако, за исключением этих расхождений, дискурсы способствуют в основном поддержанию представления о старости как об автономной возрастной категории, обладающей специфическими свойствами, зависящими только от действия возраста. Тем самым старость является возрастной категорией для демографов («лица в возрасте 65 лет и старше»), медицинской для врачей («прикованные к постели») и социальной для социологов («пожилые лица», «пенсионеры») и т. д.

Таким образом, чтобы изучать «старость», социолог почти неизбежно вынужден проводить исследование населения — социально обозначаемого как «старое», «стареющее», — именно того населения, содержание которого обеспечивается институциями, от которых чаще всего социолог финансово зависит: от приютов, домов престарелых, клубов или университетов «третьего возраста», с одной стороны, и от получающих пособие в пенсионных кассах с другой.

Эта концептуальная автономизация «старости» является отчасти результатом формирования поля институций и агентов, которые в борьбе за навязывание соответствующего их интересам определения старости способствуют своими дискурсами и их «реализованными» (строения, услуги) или «инкорпорированными» (геронтологи, гериатры) формами превращению «ментального представления» реальности, согласно выражению Дюркгейма, в реальность как таковую. Воздействуя на индивидов, эти агенты трансформируют ментальные категории в институции, имеющие реальную силу и действенность. Пример таких воздействий можно видеть в недавно установленной оппозиции между «третьим возрастом» и «четвертым возрастом», которая связана с приходом новых специалистов в систему управления старостью. Отделяя «четвертый возраст» как объект «присмотра и физиологического ухода» от «третьего возраста», который требует в основном «культурной и психологической помощи», эти специалисты стараются навязать новые запросы и, одновременно, потребность в их собственных услугах.

4.3. Институционализация новой морали

Наконец, разрыв с социально предустановленными определениями старости затрудняется в особенности тем, что эти новые дискурсы, сопровождающие появление совре-

менных форм обеспечения содержания пожилых людей, соответствуют социальному запросу. Этот запрос выражается наиболее явным и наиболее общим образом в распространении новой морали, регулирующей отношения между поколениями.

Действительно, дискурс о «третьем возрасте» (и а fortiori о «четвертом») является дискурсом делегирования. Геронтологи — уполномоченные специалисты по старости, выдвигая новые формы потребления и практик для пожилых лиц, способствуют тем самым появлению новой житейской морали, т. е. новому социальному определению того, какими должны быть взаимоотношения между поколениями внутри семейной группы. Дискурсы о «третьем возрасте» легитимируют применение этих новых форм управления старостью в качестве нормы, причем официального характера, который ему сообщает политическое признание.

Однако если трансформация установок на коллективное обеспечение старости завершилась успешно, как об этом свидетельствует развитие этих новых институций и, главное, быстрое распространение дискурса о «третьем возрасте», то это произошло потому, что сами эти установки ей были предпосланы, хотя бы отчасти. Старики — вкладчики своих сбережений, и в частности, те, что принадлежали к средним классам, в немалой степени рассчитывали на детей. Родители копили деньги «для своих детей», а взамен ожидали, что те поведут себя как «хорошие дети», т. е. не будут щадить себя ради обеспечения своих престарелых родителей. Делегирование специализированным институциям заботы по уходу за пенсионерами и легитимация того факта, что пожилые родители больше не делают сбережений, а напротив, расходуют свои пенсии на досуг и отдых, оборачивается тем, что экономится также значительная часть усилий по поддержанию связей и привязанностей, которые возлагались ранее на детей.

Поскольку отношения с поколениями пожилых людей всегда, хотя и в разной степени, задевают семей-

ную мораль, а значит, затрагивают и честь членов семьи, недостаточно превратить приюты в «более гостеприимные» для того, чтобы они стали *ipso facto* морально и эмоционально более приемлемым решением. Чтобы отказ от традиционных семейных решений не оказался приравненным к простому и прямому отказу со стороны семьи («они отделались от заботы о стариках») или, еще хуже, к чему-то вроде деклассирования («они ее пристроили в приют как неимущую»), необходимо, чтобы устройство пожилых людей не могло быть уподоблено помещению в приют. Снижение моральных и эмоциональных затрат может тем самым перейти в увеличение экономических вложений в новые формы обеспечения содержания: делегирование поддержки пожилых родителей специализированным агентам возможно всегда лишь экономически высокой ценой трансформаций приюта в «резиденцию», в «дом здоровья и медицинского исцеления» и т. д.

Однако разнообразие и качество предложения относительно коллективного обеспечения содержания недостаточно само по себе для того, чтобы начался процесс освобождения от чувства вины. На самом деле недостаточно поместить пожилых родителей в «роскошные приюты», чтобы скрыть все еще слишком явный интерес детей к тому, чтобы сбыть родителей с рук. А чтобы обращение к подобным институциям не казалось самым индивидуальным прямым и простым выражением интересов более молодых поколений, нужно, чтобы оно было рекомендовано внешними для семьи агентами, обладающими властью от имени нового определения верно понятого интереса «пожилых людей». Таким образом, если «решение» о помещении в заведение родителя принимается семьей официально, то редко это бывает без «совета» одного из тех официальных служителей доброго семейного порядка. Ими, в зависимости от социальных классов, являются священник, сотрудник учреждения

социального обеспечения или врач; последний помогает устройству пожилого лица не только своим «диагнозом», но и своими связями. Заставив через посредство агентов вне подозрения определить заново то, что является интересом «пожилых людей» (иметь хороший «уход» со стороны «специализированного и компетентного» персонала), индивиды могут принимать решения, соответствующие их собственным интересам, делая вид, что они подчиняются только интересам своих родителей. При этом они не нарушают морали и могут извлекать выгоду, связанную с этим соответствием.

Таким образом, последняя, возможно, «услуга», которую должны оказать пожилые родители своим детям, состоит в том, чтобы не «создавать чувства вины» у детей. Новые формы обеспечения старости управляют не только «стариками», но также чувством вины, вызванным «психологическими» затратами при отказе от постаревших родителей. «Не быть в тягость» — таково вкратце содержание этой морали самоотречения, которую распространяет большинство учебников по «умению стариться» и журналов для пожилых, число которых умножалось одновременно с институтами «третьего возраста».

Разумеется, «политика старости» представляет собой наиболее завершенный пример одной из функций, которую берет на себя *политическое управление* социальными отношениями. Эта функция заключается в том, чтобы сгладить антагонизмы между поколениями или более или менее сформировавшимися социальными группами и найти «решение» («согласование»), облеченное в юридическую форму (коллективное соглашение), а также в форму финансовую (субсидии) или политическую (официальное признание).

Само введение понятия «третий возраст» и, более общо, установление понятия «старости» как категорий политического действия говорит о том, что эти «согласования» предполагают нечто вроде предварительного со-

глашения о необходимости этих «согласований», которые обеспечиваются непосредственно политическими усилиями.

Одним из условий возможности таких согласований, помимо прочего, оказывается появление понятий, «сформированных вчерне», как Дюркгейм определял «предпонятия». Эти «невнятные» понятия являются показателем и одновременно одним из способов согласования и социальной интеграции, которые характеризуют отчасти политическую деятельность. Такие понятия, как «семья», «старость», «занятость» и т. д., настолько неопределенны и расплывчаты, что они поощряют всевозможные перегруппировки, устраняя различия смыслов, которые им придавались.

Воздействие этих «социальных» политик, которые практически не соизмеримы в исчисляемых показателях, даже если они дают повод, как это бывает во время выборов, к «войне цифр», могло бы состоять в том, чтобы поощрять согласования, как правило, двусмысленные. Это могло бы сообщить некую «социальную устойчивость» тем выражениям, полисемия которых уже способствовала усилению сплетения всех смыслов, которые им приданы.

Например, невозможно было бы понять политическое значение, которое сегодня имеет такое выражение, как «неполный рабочий день», если бы не было известно, что оно составляет одну из тех стандартных формул, которые доступны пониманию всех, хотя далеко не все придают этому выражению одинаковый смысл. Неполная занятость одновременно является «способом управления рабочей силой», исключительно благоприятным для патроната (поскольку она связана с неуверенностью в сохранении рабочего места, отсутствием продвижения, неустойчивостью зарплаты и т. д.), а также «мерой семейной политики», которая позволяет «совмещать» профессиональную и домашнюю жизнь женщин. Наконец, неполная

занятость встречается как у некоторых категорий женщин (см. Maguani, 1985), так и у «молодежи» (см. Pialoux, 1979 и Mauger, Fosse-Poliak, 1985) социально установившиеся ожидания. Неполная занятость, по крайней мере, по мнению специалистов, также становится решением проблем все возрастающего бремени по содержанию все более многочисленных пожилых людей (см. Guillemard, 1986 и Gaullier, 1988).

4.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЗИТИВИЗМ

Возведение той или иной ситуации в ранг «социальной проблемы» интересует государственную власть либо в силу того, что с таким определением связаны «решения», которые государство может осуществить через принятие соответствующих мер, либо потому, что считается возможным ее постичь и измерить с достаточной долей точности, создавая таким образом впечатление возможности удержания ее под контролем, что не может не усилить представление о государстве как о всезнающем, а, стало быть, всемогущем. Целью является измерить те или иные «факты» и соотнести их со средствами, которыми располагает или должно располагать рациональное государство. Речь идет не о том, чтобы постичь тот или иной факт как таковой, но чтобы определить те аспекты, на которые может повлиять государство.

Позитивистский подход, который принимает «факты» как таковые, определяемые официальными категориями классификации, либо ответами респондентов на вопросы, смысл которых кажется само собой разумеющимся, как бы зажат между официальной доктриной и соответствующими ситуации добрыми намерениями, как и полагается, когда речь идет о социальных проблемах. Таким образом, любое противоречие автоматически ниспровер-

гается при помощи не только научных, но и моральных аргументов. Опровержение может прийти только либо со стороны людей, сразу же воспринимаемых как плохо информированные или даже как плохо образованные, либо со стороны ангажированных идеологов и клеветников, грубых и не знающих чувства меры, одним словом, неугодных и неуместных¹. И это проявляется в особенности сильно, когда речь заходит об исследованиях групп населения или институтов (а fortiori тех и других одновременно), находящихся вне критики. Таким образом, любые упреки обращаются против того, кто их делает просто потому, что «он их не любит», — истинное святотатство!

На самом деле подобный позитивизм сопровождается филантропическими устремлениями, свойственными таким дисциплинам, как социология или демография, которые среди проблем населения в особенности выделяют «проблемные группы» («пожилые люди», алкоголики, трудные подростки, многодетные и малообеспеченные семьи, матери-одиночки, безработные и т. д.). Этот гуманизм или гуманитаризм является составляющей научно обоснованной и носящей этический характер универсализации частных интересов. Поскольку, превращая их в «дело», которое нужно отстаивать, «специалисты» общественных наук расширяют легитимные полномочия государственного вмешательства одновременно на моральном, политическом, экономическом и научном уровнях. Это касается, помимо прочего, «стариков» или «пожилых людей», условия жизни которых в течение долгого времени были связаны с принятием и функционированием систем пенсионного обеспечения,

¹ Морис Мерло-Понти хорошо выразил на примере Сократа то, что не могут выносить представители государственной власти: это не столько подвержение сомнению государственной доктрины, сколько ее объективация: «Другими словами, становится ясно, что он [Сократ] не искал новых богов и не отвергал афинских богов: он просто придавал им смысл, он их интерпретировал» (Merleau-Ponty, 1994).

основанных на распределении. Такой способ перераспределения доходов от одного поколения другому является как раз таким, который ставит одновременно экономические (пенсионный возраст) и моральные (связь между поколениями) вопросы.

Это верно также и в том, что касается «семьи», которую социологи и демографы определили как причину всего, начиная от школьных успехов и заканчивая социальной успешностью, не говоря уже об алкоголизме и преступности, и в особенности как категорию политического действия, так как она включает в себя моральный взгляд на социальное устройство. Нет ничего сложнее, чем порвать с таким видением мира, ибо оно одновременно обладает гарантией науки и пользуется авторитетом государства. И если все обстоит таким образом, то, возможно, потому, что крайняя форма, которую принимает отныне процесс институционализации, проходит через эти две инстанции, неразрывно связанные между собой, как об этом напоминают до сих пор некоторые дела, касающиеся здравоохранения.

Заключение

СОЦИАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Категории, в соответствии с которыми социальная реальность конструируется и предстает перед взором социолога, являются результатом борьбы. Она может принимать различные формы. Например, борьба за способ представления старости выражается чаще всего в терминах морали, одновременно находя обоснование в экономике отношений между поколениями, где собственно экономические отношения в явном виде чаще всего отрицаются. Напротив, как показал А. Саяд в случае иммиграции,

представление «проблемы» иммигрантов, обычно выражаемой в терминах «затрат и выгод», на деле оказывается рельефным примером политической проблемы (принадлежность к определенной национальной группе), которая скрывается под видом экономической.

Процесс институционализации проблематики в научном (с точки зрения экономики, биологии и пр.) или в этическом виде, кроме того, маскирует целую серию вопросов, которые в результате не возникают в сознании. Например, в отношении иммиграции это касается вопроса о том, кому эта последняя стоила затрат и кому она принесла выгоду, а в отношении старости — вопроса о борьбе между поколениями, которая по определению «аморальна». Может быть, причину выявленных артефактов, от которых социолог избавляется с такими усилиями, нужно отнести на счет разъединения между политической и социальной экономикой. Социологический подход мог бы состоять в том, чтобы с помощью анализа заранее допускаемых социальных представлений конструировать такую экономику, которая интегрировала бы в своем анализе все «затраты» и «выгоды», входящие в экономические теории в узком значении этого слова. Иначе говоря, следует учитывать всю совокупность битв, в которые ввязываются агенты ради построения представлений о реальности, причем той, что наиболее соответствует их интересам¹.

Понятие «ненормального детства»

В своем исследовании «Общеобразовательная школа и возникновение ненормального детства» Франсин Мюэль-Дрейфюс показывает, насколько системы психоло-

¹ Этот вид анализа можно было бы распространить на множество объектов изучения, таких как объект, выбранный Франсин Мюэль-Дрейфюс и касающийся «общеобразовательной школы и возникновения ненормального детства».

гической и психиатрической классификации детей связаны с социальными характеристиками тех, кто эти системы создает, и к кому их применяют. Она устанавливает связь между появлением описания болезней и формированием в конце XIX века особого поля деятельности, каким стал «медико-педагогический» сектор; она описывает контекст, в котором появился сектор административного действия, основной опорой и козырем которого стала начальная бесплатная, светская и обязательная школа. Все институции (ассоциации, комитеты, лиги, попечительские общества и т. д.) были ориентированы на обучение как детей, так и взрослых. Они были нацелены на преобразование индивида во имя «социального предвидения» (чувствуется приближение Парижской Коммуны), поскольку поведение индивида отныне должно быть «прогнозируемым». Действия в поддержку «ненормального детства» присоединяются, таким образом, к более широкому движению, охватывающему «детство под угрозой».

Хотя организации в поддержку ненормального детства довольно дифференцированы, и поборники медико-педагогической активности являют собой представителей разных профессий (врачи, адвокаты, филантропы, учителя и т. д.), однако получается так, что «специалисты по ненормальному детству» были часто пропагандистами попечительских обществ. Равным образом получается так, что дети, о которых идет речь, отличались социальной однородностью своего состава и менялись только названия, к ним применяемые, от «морального восстановления» до «ментальной ортопедии». То же самое касается предусмотренных для малолетних бедняг (беспризорников, правонарушителей, душевнобольных) занятий, которые они получают после переобучения (эти занятия мало варьируют: помощник садовника, чернорабочий, грузчик, прислуга). Именно среди беднейших из бедных притаилась будущая со-

циальная опасность. Именно их без устали будут выталкивать из начальной школы с этикеткой ненормальных, после того как без перебоя приглашали поступать в эту школу. Таким образом, именно отсылкой к школьной норме определяется «ненормальность» этих категорий детей.

Глава III

Доминик Мерлье

СТАТИСТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ

Информационные основания, на которые опирается научный анализ, никогда не даются нам готовыми, но всегда оказываются продуктом конструирования. Тем не менее, употребляя термин «данные», не всегда подразумевают, что социолог — это не пассивный получатель «фактов», которые он осмысливает в теоретических конструктах: анализ и конструирование касаются также и «фазы сбора данных». Применительно к социологической науке Мосс и Фоконэ формулируют это следующим образом: «Наблюдение социальных феноменов не является, как может показаться на первый взгляд, сугубо описательным методом. Социология не только описывает факты; но делает большее — в действительности, она их конструирует. Для социологии, как и для любой другой науки, не существует сырых фактов, которые можно было бы, так сказать, только фотографировать. Научное наблюдение опирается на методически отобранные и изолированные от прочих, т. е. абстрактные, феномены» (Fausonnet, Mauss, 1901, p. 32).

Что относится к историческим и биографическим документам, интервью или ответам на вопросники, значимо также и для статистических «данных», которые, в силу их обобщенности, можно представить как тип информации, наиболее приспособленный к потребностям социальных наук. Таким образом, если необходимость критического подхода к документу, практикуемого историками, кажется само собой разумеющейся (в случае с единичным документом уместны вопросы: мог ли автор текста правдиво сказать, от кого получил он эти сведения, для кого и с какой целью писал?), то обычно официальный и всегда общий, если не исчерпывающий, характер статистических данных часто приводит к блокировке всякого критического восприятия или, что почти то же самое, выдвижения принципиальных возражений (против статистических показателей как «научной формы лжи»

или, в более общем плане, против цифр и их способности показывать все то, что хотят с их помощью показать).

Именно об этом говорят Мосс и Фоконэ в том же тексте: «В работе, которая опирается на статистические основания, совершенно необходимо детально описывать способ, при помощи которого получили используемые данные. Современное состояние разнообразных правовых, экономических, демографических и т. д. статистических материалов таково, что каждый документ требует самой суровой проверки. Даже официальные документы, которые, вообще говоря, наиболее надежны, должны быть изучены самым детальным образом, необходимо точно знать принципы, которые предопределили их разработку» (ibid, p. 33).

Таким образом, акцентирование трудностей, связанных со статистической информацией, или недоразумений, которые может вызвать ее использование, служит не для подпитки антистатистических настроений, но, напротив, для лучшего понимания и лучшего применения статистических данных. Необходимо прояснять практические и технические аспекты их разработки, показывать, каким образом конструирование данных влияет на «результаты». Подобная работа представляет не только методологический или инструментальный интерес: она может также стать собственно социологическим вкладом в анализ статданных как «социального факта». Хотелось бы здесь показать на некоторых примерах, как критическое рассмотрение действительного содержания статистических категорий может привести к анализу исследований, позволяющему более осознанно вести их, а также открыть доступ к специфической и новой информации.

1. Влияние формы сбора данных на результаты

1.1. Статистика самоубийств

«Самоубийство» (Durkheim, 1897) признано сегодня (а так было не всегда, см.: Besnard, 1987, p. 142–144) наиболее значительным произведением Дюркгейма, по той причине, что оно в основном опирается на статистические материалы, а также потому, что из Дюркгейма сотворили классика — основателя количественной методологии. Вот почему нам кажется интересным в качестве первого примера взять статистику самоубийств. Однако можно с удивлением обнаружить, что «критике документа», о необходимости которой говорили выше процитированные представители дюркгеймовской «школы», в этом произведении места нет.

Сравнивая весьма многочисленные статистические данные различного (во времени и пространстве) происхождения, Дюркгейм подразумевает их сопоставимость, т. е. однородность условий сбора информации. Сомнительный характер этой его гипотезы может стать очевидным, помимо прочего, уже из самого стремления Дюркгейма дать обдуманное и строгое определение изучаемого феномена, которое приводит его к отклонению от обычного смысла термина — расширению его определения вплоть до случая «самопожертвования» мучеников. Как только он перестает удовлетворяться имплицитным определением «здорового смысла», возникает некоторое несоответствие между таким образом определяемым феноменом и тем, что охватывается используемой им официальной статистикой. К этому общему различию можно добавить дополнительные вариации в

«определениях», использованных в различных статистических рядах.

Если проанализировать наблюдения Дюркгейма за способом конструирования этих данных, то, с одной стороны, обнаруживается глобальная критика тех из них, что основываются на «мотивах» самоубийства, и, с другой стороны, несколько разрозненных замечок (обычно в сносках), указывающих на статистические колебания, труднообъяснимые в теоретических рамках данного произведения. Эти фрагментарные замечания, сколь обоснованными они ни были бы, носят очевидный характер *ad hoc*. Так, замечание, что статистический рост явления может быть связан просто с улучшением условий сбора информации («правда прежде всего в том, что статистические переписи делаются точнее», р. 400), дано в рамках критики идей Тарда и по поводу несчастных случаев. Особенностью регистрации, условия которой зависят от определенных социальных групп, объясняется тот случай, когда ожидаемое и обычно констатируемое статистическое различие представляется чрезмерным: повсюду военные кончают жизнь самоубийством чаще, чем гражданские, но в Австрии различие явно превышает ожидавшийся Дюркгеймом уровень. Он задается вопросом, не «происходит ли это от того, что самоубийства в армии более точно учитываются, чем среди гражданского населения» (р. 256), — соображение, которое могло бы быть справедливым не только для рассматриваемого исключения, но и для общего правила, которое еще следует подтвердить. Подобно этому и утверждение, что затрагиваемые социальные интересы влияют на условия статистического регистрирования, высказано по поводу Англии как второстепенное объяснение довольно низких показателей самоубийств в этой стране: «Верно то, что английская статистика само-

убийств не отличается большой точностью. Множество случаев относят к смерти вследствие несчастного случая, поскольку самоубийство влечет уголовное расследование» (р. 160).

Касаясь критики, посредством которой Дюркгейм объясняет, почему он не использует статистику «мотивов» самоубийств для построения научной теории их причин, можно также задаться вопросом, почему эта критика не распространяется на всю совокупность рассматриваемых данных. Невежество «агентов, людей, часто подчиненных, которым поручена задача сбора информации», решения «сложной проблемы» о «причинах явления», в конечном счете приводит только к тому, что остается добавить: «к сожалению, официальные констатации слишком часто ошибочны, хотя и опираются на материальные и очевидные факты, доступные пониманию любого разумного наблюдателя и не оставляющие места для оценок» (р. 144). Но вынести заключение, что тот или иной случай гибели есть самоубийство, не означает ли «оценить» именно «причины»?

Определенная осторожность Дюркгейма в отношении некоторых статистических данных, которые он использует (или отвергает), все же не снимает вывода, что он в целом не задается вопросами о практических условиях их разработки. Это замечал уже Франсуа Симиян в своем обзоре о «Самоубийстве»: «В подобном вопросе был бы желателен предварительный анализ относительной значимости статистических выкладок по странам и во времени — всякий факт, у которого есть основания быть кем-либо сокрытым, очень трудно поддается статистическому учету. Статистические материалы по самоубийствам, следовательно, неизбежно неточны, но отнюдь не правомерно и априорное утверждение, что эти неточности будут равнозначны в разных странах, в разные эпохи (различия в организации полиции, в организации сбора сведений, например, могут оказывать свое влияние)»

(Simiand, 1898, p. 650; 1987, p. 82). Кстати, работа, в которой Морис Хальбвакс комментирует в 1930 г. произведение Дюркгейма, содержит достаточно полное описание административных уложений, при которых были тогда собраны эти данные в различных странах Европы (Halbwachs, 1930, chap. 1).

И сто лет спустя вопрос о значимости этих статистических данных остается одной из болевых точек дискуссий, поднятых книгой Дюркгейма, о чем свидетельствует, например, один посвященный ему педагогический труд (Baudelot, Estabiet, 1984). Ответ, который дает этот труд, характеризует наиболее распространенную позицию по данной проблеме. Она сводится главным образом к признанию, что статистические материалы «по умолчанию» недостоверны (в современной Франции недостоверность, видимо, составляет 25%) и что нужно ограничить во времени и пространстве поле сравнений, допуская при этом, что в данной стране в данный период «погрешность» может быть незначительной, т. е. колебания «охвата» статистическим «замером» явления по социальным категориям достаточно слабы. Такова гипотеза, часто применяемая статистиками, в соответствии с которой можно строить справедливые рассуждения на основе ложных статистических данных потому, что если даже сами массивы плохо замерены или мало известны, их изменения можно фиксировать с достаточно большой достоверностью. Таким образом, не будет абсурдным сказать, что такое явление, как суицид или безработица, увеличилось или уменьшилось на 5%, имея в то же время в виду, что применяемый метод измерения дает значения с отклонением в 10–20% от «истинного» значения. Ведь разница (остающаяся неизвестной) между фактическим и «истинным» значением оказывается при этом более-менее постоянной в силу стабильности процедур, с помощью которых произведено измерение.

Однако нельзя ли предположить, что причины расхождения между «явлением» и его статистической фиксацией, не обладая постоянством действия, изменяются

в зависимости от социальных условий таким образом, что статистические колебания частично или полностью могут проистекать из изменений условий самого измерения? Джек Дуглас с достаточной точностью развивал подобные гипотезы в отношении колебаний индексов суицида (Douglas, 1967), и именно в ответ на его критику Бодло и Эстабле защищают достоверность статистических показателей самоубийств и пытаются показать, например, что сокрытие фактов есть величина конечная. Тем не менее, они сами показывают убедительную иллюстрацию этих изменений измерительного инструментария: исследование современных правил статистической регистрации самоубийств во Франции приводит к констатации, что информация о случаях, расследуемых жандармерией, более регулярно передается в статистическую службу, чем информация полиции, что влечет за собой — с учетом их территориальных полномочий — значительное занижение числа городских самоубийств. Таким образом, тот факт, что суицид кажется более распространенным в сельской местности, чем в городе (в настоящее время, поскольку в эпоху Дюркгейма было наоборот), следует объяснять, по крайней мере частично, различием в административных подходах к составлению отчетности. «Судя по таблицам INSERM, какой департамент ни возьми, индекс самоубийств наименее значителен в больших городах. К сожалению, в большой степени здесь речь идет об артефакте, связанном с тем, как жандармерия (в сельской местности) и полиция (в городах) ведут дело после идентификации причины смерти» (Baudelot, Establet, 1984, p. 90).

Этому артефакту, следовательно, соответствует «ошибка», которую можно исправить, как только она станет очевидной (прежде всего статистически, «восстанавливая» затронутые статистические ряды, и, далее, административно, по возможности реформируя порочную практику), но которая, якобы, по мнению авторов работы, не оказывает значительного воздействия на другие колебания статистических показателей суицида. Тем не менее, следуя

за Дюркгеймом и за теми, кто его защищает от возражений Дугласа, можно констатировать, что между самоубийством и его статистической фиксацией существуют различные опосредованные показатели, которые могут быть ненадежными и благодаря которым вопрос о «качестве» или «точности» данных распространяется не только на подсчет явлений в их совокупности (число самоубийств в стране), но и на значение его статистических колебаний. Для начала можно ограничиться этой констатацией, хотя в дальнейшем не мешало бы обдумать, является ли вопрос о допустимых пределах ошибки и их изменчивости единственно важным и достойным внимания.

1.2. БЕЗРАБОТИЦА

Хотя индексы суицида могут быть приняты в качестве индикаторов «здоровья» общества или социальных групп, они все же необязательно связаны с мероприятиями социальной политики: самоубийство может, но не всегда предстает как «общественная проблема». Итак, понятно, что подвижки и колебания заложены в способах установления статистических рядов, и нетрудно догадаться, что дело обстоит иначе с данными, общественная значимость которых, видимо, более существенна, например, показатели «стоимости жизни» (индекс потребительских цен; см.: Piriou, 1983; Rousset, 1986) или безработицы. Одна только публикация данных по этим показателям может вызвать определенные социальные последствия, в силу чего они являются объектом тщательного контроля. Отсюда интерес представляет то, как особенности проведения исследования могут повлиять на измерение, например, безработицы.

Трудность однозначного статистического определения безработицы проистекает прежде всего из множественности источников и индикаторов, которые носят конку-

рентный характер. Во Франции следует различать «спрос на рабочие места на конец месяца» (DEFM), подсчитываемый ANPE, «неработающее население, ищущее работу» (PSERE), «безработицу по определению MOT» (Международная организация труда), которую исчисляет INSEE (см. табл. 1).

Сокращения, употребляемые в главе III:

<i>ANPE</i>	— Национальное агентство занятости
<i>BIT</i>	— Международная организация труда (MOT)
<i>DEFM</i>	— спрос на рабочие места на конец месяца
<i>ENSAE</i>	— Национальная школа статистики и экономического управления
<i>FQP</i>	— профессиональное образование, квалификация (анкета INSEE)
<i>INED</i>	— Национальный институт демографических исследований
<i>INSEE</i>	— Национальный институт статистики и экономических исследований
<i>INSERM</i>	— Национальный институт здоровья и медицинских исследований
<i>PDRE</i>	— активное население, ищущее работу
<i>PMDRE</i>	— аргинальное активное население, ищущее работу
<i>PSERE</i>	— неработающее население, ищущее работу
<i>UEP</i>	— научно-исследовательское подразделение

Вплоть до 1981 г. использовался показатель «активное население, ищущее работу» (PDRE), к которому можно было добавлять или не добавлять показатель «маргинальное население» и т. д. (PMDRE), а показатель «безработица по определению MOT» был промежуточным между этими двумя (различные техники сбора информации по безработице до этой даты составляют объект весьма полного критического анализа в кн.: Besson, Comte, Rousset, 1981; см. также: Besson, Comte, 1986. Что касается последующих лет, следует обратиться к введениям к отчетам

Таблица 1

Структура безработицы в соответствии с определениями, использованными в исследовании занятости (март 1987)

1. Неработающее население, ищущее работу (безработные PSERE)

	Объявившие себя безработ. и зарегистрир. в ANPE	Объявившие себя безработ., но незарегистрир. в ANPE	Прочие, отнесенные к неактивным	Прочие, отнесенные к активным	Итого
1	2	3	4	5	6
Объявившие себя безработными и прочие, не входящие в занятое активное население и ищущие работу	2397225	285881	421212	49556	3153874
За вычетом: объявившие себя безработными, работавшие за неделю до опроса, и, следовательно, входящие в занятое активное население	61374	12347	—	—	73721
За вычетом: объявившие себя безработными, нашедшие работу, которая начнется после опроса	105996	22838	—	—	128834
За вычетом: другие, объявившие себя безработными, не ищущие работу	110600	54230	—	—	164830
За вычетом: лица, не входящие в занятое активное население, ищущие работу, но: — нерработоспособное население (в течение 15 дней), не занимавшееся поисками работы в течение месяца перед опросом	—	7761	45600	6587	59918
— нерработоспособное население (в течение 15 дней), но предпринявшее хотя бы одну попытку найти работу в течение месяца, предшествовавшего опросу	116081	5213	61893	14803	197992
— работоспособное население (в течение 15 дней), не предпринявшее никаких попыток найти работу в течение месяца, предшествовавшего опросу	—	52333	104024	5553	161950
Остаток: безработные PSERE (неработающее население, ищущее работу)	2003174	131157	209695	22573	2366599

2. Безработица по определению Международной организации труда (МОТ)

1	2	3	4	5	6
Безработные PSERE	2003174	131157	209695	2573	2366599
Плюс: неработающие, нашедшие работу, которая начнется после опроса (за исключением студентов и военнослужаших срочной службы)	105996	22838	40905	30961	200700
Итого: безработные МОТ	2109170	153995	250600	53534	2567299

Источник: Исследование занятости. Март 1987. INSEE: Труды INSEE. Сер. D. № 122. Р. 27.

об исследованиях занятости в «Трудах INSEE»; история изучения занятости от 1950 до 1985 г. воспроизведена в кн.: Affichard, 1987).

Выбору этих показателей не соответствуют различия общего объема, а также расхождения в динамике или в распределении по таким социальным категориям, как возраст, пол и т. д. Табл. 2 показывает, что ощутимые различия в динамике категорий безработных могут проявляться даже за короткий период: с 1982 по 1983 г. достаточно слабое изменение показателей «безработицы по МОТ» маскирует значительно более ощутимую динамику численности «объявивших себя безработными». Более того, два разных показателя, представленных в данный момент близкими результатами и потому кажущихся взаимозаменяемыми, могут соответствовать весьма отличающимся значениям изменения объема и структуры безработных в долгосрочном плане. Так, исследование занятости в марте 1978 г. дает численность «Безработных по определению МОТ», равную 1 094 500, и очень близкую численность в 1 098 000 по показателю «Спрос на рабочие места на конец месяца» в тот же период (Besson, Comte, Rousset, 1981, р. 347). Это, казалось бы, могло подтвердить тезис о фактической взаимозаменяемости этих двух показателей, несмотря на значитель-

Таблица 2

Структура безработицы по данным опросов занятости
1982 и 1983 г.

	апрель— май 1982	март 1983	коэффици- ент коле- бания
Объявившие себя безработными	1783000	188200	+5,6
Прочие, не входящие в состав активного занятого населения и ищущие работу	+446000	+429000	-3,6
За вычетом: лиц, не отвечающих услови- ям регистрации в качестве безработных (PSERE) (1)	-606000	-635000	+3,5
Остаток: безработные PSERE (неработа- ющее население, ищущее работу)	1623000	1680000	+3,5
Плюс: неработающие лица, нашедшие работу, которая начнется после опроса (за исключением студентов и военнору- жащих срочной службы) (2)	+166000	+160000	—
Итого: безработные по определению MOT	1789000	1840000	+2,8

(1) Условия таковы: не работать за неделю до опроса; объявить себя дей-
ствительно ищущим работу; быть трудоспособным в течение 15 дней;
осуществить действительную попытку найти работу за месяц до опроса.

(2) 43000 студентов или военнору-жащих в 1982 году, 25000 — в 1983
объявили о том, что нашли работу. Поскольку они в принципе не счита-
ются трудоспособными в данный момент, то эти лица не учитываются.

Источник: INSEE. Economie et statistique. №160. Novembre 1983. P. 48.

ные различия в определениях. Но эта «сбаланси-
рованность» вписана в два различных динамиче-
ских ряда: «С марта 1976 г. по март 1983 г. число
безработных по MOT увеличивается на 844 тыс.
(или +85%), в то время как рост численности
ищущих работу более значителен — 1090 тыс.
(или +114%). Разрыв в уровне общей численно-
сти достигает, следовательно, 210 тыс. человек,
а различие в приросте — 246 тыс.» (Marchand,
Thélot, 1983, p. 41). Такой характер изменения в
целом соответствует, помимо прочего, обратному
соотношению показателей при анализе их в зави-
симости от пола: в течение всего периода пока-

затель «Спроса на рабочие места на конец месяца» превосходит показатель «Безработица по МОТ» для мужчин, а у женщин — наоборот. И если две кривые, описывающие динамику соответствующих показателей, тяготеют к расхождению у мужчин и к сближению у женщин, то они остаются практически параллельными в анализе по возрастным группам от 25 до 49 лет (*ibid*, p. 32).

Если вполне понятно, что показатели, имеющие различия в своих определениях, приводят к различиям в измерении, то, видимо, в меньшей мере очевидно, что одни и те же определения показателей приводят к результатам, которые варьируются в зависимости от особенностей исследования. Это легко увидеть на примере показателя «Спрос на рабочие места на конец месяца», используемого как конъюнктурный показатель в силу своей месячной периодичности (в то время как стандартное исследование занятости является ежегодным): являясь побочным продуктом деятельности администрации, подобная статистика измеряет прежде всего саму эту деятельность и очень чувствительна к нормативным и административным изменениям условий, в которых она осуществляется. Многочисленные модификации правил, регулирующих выплату пособий по безработице, регистрацию и снятие с учета в Национальном агентстве занятости, а также порядок явки, лишают статистический ряд формальной однородности. То же самое обнаруживается и при сравнении переписей населения, в том случае, когда их процедуры явно и намеренно модифицируются: «Понятие безработицы, измерявшейся при переписи населения 1982 г., отличается от того, которое зафиксировано в переписи 1975 г.» (*ibid*, p. 41), в силу изменения формулировок вопросов. Аналогичным образом изменение вопросника в исследовании занятости 1982 г. с расчетом на «более тонкий анализ характеристик безработных» сделало «сравнения между оценками 1982 г. (и в последующем) и оценками предыдущих лет [...] особенно щекотливыми» (*ibid*, p. 44), включая показатели, определение которых

оставалось неизменным. Явно, что разнообразие статистических определений безработицы зависит не только от применяемых критериев или от «концептуальных» различий, но также от особенностей исследования. Так, различие между «активным населением, ищущим работу» и «маргинальным активным населением, ищущим работу» соответствовало не критерию априорной «маргинальности», а результатам формы опроса (отсюда последующее исчезновение этого различия при изменении вопросника в 1982 г.): «маргинальное активное население, ищущее работу», выделялось как результат противоречия между ответами на разные вопросы, т. е. эту категорию «составляли лица, которые в начале вопросника заявляли, что они неактивны (или были так закодированы), а впоследствии при ответах на уточняющие вопросы заявляли, что в действительности ищут работу» (Thélot, 1985, p. 55).

Не удивительно поэтому, что различия возникают и тогда, когда применяется одно и то же формальное определение, но используется оно в разных исследованиях. Таков случай сопоставления результатов переписи и исследований занятости: даже с учетом корректив временного разрыва (перепись проводится в феврале, а исследование занятости обычно в марте, причем оно задерживается на 1–2 месяца в годы проведения переписи) и отличий «поля» (исследование охватывает лишь «обычные семейные хозяйства»), величина PDRE по переписи значительно (порядка 10%) превосходит PDRE, фиксируемое в исследовании занятости для данных по 1968 г. В 1975 г. различие в том же направлении выступает слабым для мужчин (порядка 2%) и сильным для женщин (порядка 20%) (Besson, Comte, Rousset, 1981, p. 305–321).

Осмысливая результаты и способ, каким они были получены INSEE, Бессон и его сотрудники отмечают, что эти результаты основываются лишь на «совокупном сравнении» и что «было бы чрез-

вычайно интересно, — но практически недоступно — проверить на тех же индивидах, как они определяют себя сами и как их классифицирует исследование и перепись. Лишь этот метод позволил бы оценить последствия различия методов» (ibid, p. 320).

Подобная оценка, вероятно, возможна при сравнении попарно вопросов исследования и переписи 1975 г.: «Исходя из этого, расхождения выглядят значительными: около 1/5 мужчин и 1/3 женщин, зафиксированных как PDRE в исследовании, представляют собой иную категорию при сравнении с теми, кого относили к PDRE в переписи населения; 1/3 мужчин и 1/2 женщин PDRE, по переписи, отличаются от PDRE, отмеченных в исследовании, то есть от активного населения, ищущего работу (20% мужчин, 10% женщин)» (Céizard, 1981, p. 207). Таким образом различие в классификации индивидов как безработных в зависимости от двух способов исследования гораздо более значительно, чем различие на основе сравнения только численности, учтенной этими исследованиями. Впрочем, частично именно данная верификация привела к изменению формулировок вопросов в переписи 1982 г., что позволяет надеяться на сближение оценок по результатам переписи и исследования (см.: Marchand, Thélot, 1983, p. 41, note 4).

Кроме того, возможно показать и внутреннюю изменчивость самого исследования, которое дает различные результаты в зависимости от содержащихся в нем «подвыборок». Действительно, особенность данного исследования состоит в том, что оно повторяется каждые три года и проводится если не в точности среди тех же самых опрашиваемых, то по крайней мере в тех же самых жилищах, которые ежегодно, как правило, обновляются на треть. Это частичное обновление, позволяющее уменьшать флуктуации выборки, оказывает неожиданное воздей-

ствие на результаты измерения, так как выяснилось, что безработица, наблюдаемая в обновленной трети выборки, систематически превосходит ту, которую выдали две другие трети годом или двумя раньше. Получается будто бы исключительно сам повторный приход интервьюеров побуждал интервьюируемых отказываться от объявления себя безработными, а безработица была бы выше, если бы выборка целиком обновлялась каждый год при неизменности всех прочих условий проведения опроса (Thélot, 1986, p. 71).

Таким образом, существуют многочисленные определения безработицы, что соответствует специфике ее эволюции или структуры, однако каждое из них, кроме того, подвержено влиянию одного обстоятельства, внешне самого незначительного, — особенностям его применения в исследовании. И, наконец, поскольку статистика безработицы является предметом наиболее сильного социального и институционального контроля, постольку важно прояснение (как и ограничение) изменчивости ее определений и их зависимости от используемой техники исследования.

1.3. КОНТРАЦЕПЦИЯ

Если пример суицида служит иллюстрацией скорее различий в деятельности институтов (полиция и жандармерия), то пример безработицы в исследованиях и переписях отсылает к определениям и способам или формам постановки вопросов. Связанные с этим расхождения в результатах часто понимаются как проявление разрыва между четко определенным — в глазах организаторов исследования — феноменом и многообразием того смысла, который опрашиваемые вкладывают в одни и те же слова. Статистик охотно отмечает недостатки ответов своих респондентов: «В то время как кодировщик скло-

нен использовать наиболее точные и адекватные термины, например, для характеристики видов деятельности, люди выражают это как могут и очень часто в довольно расплывчатой форме» (Chevry, 1962, p. 268–269). Поэтому «кодировщик» стремится ввести в вопросник своего рода уточнения, с одной стороны, адаптируя его к разговорному языку опрашиваемых, с другой — предоставляя им информацию, которая кажется полезной для понимания вопросов.

Исследование по контрацепции, проведенное в 1978 г. Национальным институтом демографических исследований (INED) и INSEE, служит хорошим примером этого двоякого процесса (Sardon, 1987). Предшествующие исследования приводили к результатам, которые могли показаться заниженными по сравнению с действительностью изучаемого явления. В этой связи были предприняты многочисленные меры предосторожности, обеспечивающие более точное измерение применения средств контрацепции.

«Для того чтобы избежать умолчаний опрашиваемых при разговоре о своей интимной жизни с лицом противоположного пола», к этому анкетированию были привлечены исключительно интервьюеры-женщины, прошедшие специальную однодневную подготовку. Они должны были опрашивать респондентов-женщин с глазу на глаз, «стремясь максимально избежать присутствия супруга», дабы обеспечить беседе «спокойствие и доверительность». Лексикон вопросника был адаптирован с помощью тестов. Так, выражение «цикл» в отношении менструации, было заменено словосочетанием «период между первым днем вашей менструации и первым днем следующей менструации». Но наибольшие усилия были предприняты в отношении смысла, придаваемого «контрацепции».

Вопросник предварялся несколькими страницами общих характеристик; тема контрацепции начиналась «вводным

параграфом», объясняющим, что речь идет о «средствах, применяемых парами, чтобы отдалить рождение детей и иметь детей не больше, чем они хотят». При этом подчеркивалась всеобщность этой практики: «Почти все пары что-то делают в этом направлении (например, воздерживаются от половых сношений), так как иначе все имели бы по 8 или 9 детей». Затем шли вопросы (в действительности предназначенные не для тестирования, но для снабжения этой информацией) на знание основных противозачаточных средств, причем вопросы предварялись определением или объяснением: «Например, мужчина может пользоваться резиновым изделием, который называют “презерватив”, “кондом”, “капюшон” и который надевают на половой член перед сношением. Знаете ли Вы этот метод?» и т. д.

Предложив это общее определение и дефиниции «средств», незамужних или одиноких женщин спрашивали: «Вы сами пользуетесь каким-либо методом, чтобы избежать беременности?», а у замужних женщин или имеющих сожителя (за исключением беременных или стерильных): «Ваш муж (сожитель) и Вы сами пользуетесь каким-либо методом, чтобы избежать зачатия?» (поскольку та же формулировка, что и для одиноких женщин, могла бы вызвать отрицательный ответ в том случае, если предохранение берет на себя мужчина). При отрицательном ответе следовал вопрос: «Ни Вы, ни Ваш муж не принимаете никаких мер предосторожности?». Новый отрицательный ответ приводил к перечислению причин этого отказа от применения, затем — к вопросу об абортах в случае беременности и, наконец, к вопросу: «Избегаете ли Вы, по крайней мере, половых сношений в течение некоторых дней менструального периода?». Если ответ по-прежнему был отрицательным, переходили к вопросам о предыдущей практике и причинах отказа от нее.

Мы видим, что во всей этой батарее вопросов и в манере их постановки контрацепция представлена как нечто «нормальное», а отказ от нее предполагает оправдания и дополнительные вопросы с целью избежать лю-

бых недоразумений относительно способов, представляющих сложными для отнесения к контрацептивной практике. Таким образом, чтобы попасть в категорию не применяющих контрацепцию, требовалось определенное упрямство. Данный способ постановки вопросов представляется достаточно далеким от нейтральности, обычно рекомендуемой для интервьюеров.

Однако не удивительно, что такой прием произвел весьма ощутимый эффект. Только повторение в другой форме первоначального вопроса «позволило увеличить на 25% оценочное количество женщин, применяющих тот или иной вид контрацепции». А последний, «уточняющий», вопрос (по поводу периодического воздержания) позволил еще на 1,5% увеличить количество предохраняющихся женщин. В целом «более 21% предохраняющихся женщин не были бы учтены» без повторных вопросов. В терминах исследования занятости, проведенного до 1982 г., можно было бы сказать, что именно при таком опросе становится очевидным существование значительной части «маргинального предохраняющегося населения», отличающегося от «предохраняющегося населения» тем, что оно не объявляет себя таковым «добровольно» при первом вопросе, но проявляется как таковое лишь с помощью последующих уточняющих вопросов. В результате пропорция, а также структура категорий «предохраняющихся женщин» очень четко отличается от данных исследования, проведенного почти в то же время одним из институтов изучения общественного мнения (см. табл. 3). INED показывает в обобщенном виде явно больше «предохраняющихся женщин» и в то же время меньше тех, кто прибегает к оральным методам контрацепции; а настойчивый повтор позволил выявить больше тех, кто пользуется иными, чем «таблетка» или стерилизация, методами. Без этой настойчивос-

Таблица 3

Применяемый контрацептивный метод (основной) по данным различных исследований

Метод	INED 1978		Enquête «Omnibus» (1)
	20–24 года	Оценка 15–44 года	Женщины 15–44 года
Таблетки	27,9	25	38,3
Стерилизация	8,9	7	7,5
Презервативы	5,2	5	0,9
Колпачки, спирали	0,8	1	0,3
Прерванный акт	18,3	17	0,3
Периодическое воздержание	5,6	5	0,7
Разные, неизвестный	1,4	2	0,2
Итого пользовательниц	68,1	62	48,2
Стерилизованные пары	7,3		
Нет метода	24,6		51,8
	100,0		100,0
Число	(>3000)		(561)

(1) Ответ на вопрос «Применяете ли Вы средство контрацепции, если да, то какое?», заданный в 1979 г. частным институтом изучения общественного мнения.

Источник: INED. 1986. Р. 302.

ти и уточнений лишь медикаментозные и «современные» методы обычно именуются контрацепцией, по крайней мере в глазах части опрошенных женщин, а использующие более традиционные методы проявляют склонность не считать себя пользующимися противозачаточными средствами, либо заявлять о применении оральной контрацепции, даже если это не так или уже не так на момент анкетирования (медики часто рекомендуют «периодическое прекращение оральной контрацепции»).

Между тем другие вопросы позволили выяснить применяемые методы, их сочетание или чередование в течение цикла, и методы, к которым прибегали прежде. Полученная информация помогла, в частности, различить «периодическое воздержание», «воздержание в контрацептивных целях» и «воздержание в целях комфорта» (во время менструаций) и исключить это последнее при подсчете контрацептивных средств. При отсутствии этих уточнений полученная информация дала бы лишь деформированную картину контрацептивных практик (Sardon, 1987, р. 311). Весьма вероятно, что результаты этого исследования, принимая во внимание определение контрацепции, которым снабдили себя его авторы, гораздо «достовернее», чем результаты других исследований на ту же тему. Помимо прочего, обнаружилось достаточно полное соответствие между заявленной здесь практикой оральной контрацепции и имеющимися данными о сбыте оральных контрацептивов на тот период. Но в то же время этот успех свидетельствует о степени двусмысленности понятия «контрацепции» («сложная реальность», как говорится в подзаголовке) и о зависимости результатов исследования от формы постановки вопросов и дефиниций контрацепции.

Если статистические определения безработицы не являются полными без уточнения всего диапазона вопросов и случаев, включенных или исключенных процедурой анкетирования и анализа, то невозможно также определить контрацепцию, «измеренную» данным исследованием, не касаясь технических деталей способов постановки вопросов и анализа ответов (что здесь частично показано). И следуя тому, что вопросник исследования контрацепции предварялся длинными рассуждениями на тему самого предмета исследования, можно задаться вопросом, не должна ли подобная логика побудить INSEE предложить лицам, вошедшим в выборку исследования занятости, курс непрерывного обучения определению безработицы?

1.4. СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

В этом обзоре мы сознательно ограничиваемся показателями, касающимися поведения или ситуации, и можно заметить, что приводимые до сих пор примеры поведения имеют, по крайней мере в совокупности, одну особенность — они предполагают элементы намеренности или заданности, связанные с субъективностью действующих лиц. Самоубийство отличается от смерти в результате несчастного случая своим добровольным характером и намерением убить себя (хотя можно было бы разработать дефиницию, в которой нет обращения к намерению, как предлагает Дюркгейм); безработица отличается от бездеятельности поиском работы или стремлением работать; контрацепция характеризуется как мера предосторожности, чтобы избежать возможных или вероятных — и внушающих страх — последствий сексуальных отношений. Именно в этой отражающей намерение и субъективизм компоненте заложены трудности однозначного определения, а также эффект влияния вопроса на результаты. Вот почему представляется интересным выбрать в качестве примера ситуацию, определение которой не предполагает желания или намерения агентов.

В этом смысле профессия выступает переменной, удобной для анализа. Во Франции всеобщий характер классификатора «социально-профессиональных категорий», разработанного INSEE, предопределяет одновременно силу и слабость этого понятия. С одной стороны, применение одних и тех же категорий в самых разнообразных исследованиях способствует сопоставимости или сочетаемости получаемой информации, с другой стороны, общий словарь может скрывать различия или расхождения в конструировании или применении понятия, что приводит к ошибкам в интерпретации. Как бы там ни было, важность использования социально-профессиональных категорий обуславливает необходимость знания как их официальных дефиниций, так и возможного разнообра-

разия способов их практического применения и его вероятных последствий (классификатор социально-профессиональных категорий в версии до 1982 г. и современная его версия представлены у Briand, Chaoulie, 1985 и у Desrosières, Thévenot, 1988; в последней работе представлены также исследования и рассуждения, которые привели к современной версии классификатора).

Благодаря многочисленным опросам, в которых используются социально-профессиональные категории, редко возникает вопрос о процедуре их классификации. Поскольку эти категории встречаются повсюду, а их словарь является общеупотребительным, пользователи имеют ощущение, что смысл категорий самоочевиден и что каждый вкладывает в них одно и то же содержание. Достаточно, однако, присмотреться к «результатам», чтобы констатировать, что это не так.

В качестве примера можно взять анкетный опрос об идеологии студентов двух парижских университетов (François, 1980). Ответы на многочисленные вопросы, отсылающие к политическим, моральным и т. д. установкам, анализируются в зависимости от таких «объективных» критериев, как изучаемая специальность и социальное происхождение. Причем оказывается, что первый критерий всегда больше «объясняет» различия установок: «Выбранная специализация выступает на всех осях факторного анализа в качестве определяющей переменной, тогда как, например, внешний критерий, который считается основополагающим (социальное происхождение, устанавливаемое по профессии отца), появляется лишь в объяснительном анализе II и III осей» (р. 198). Отсюда делается заключение, что «идеология отражает скорее ситуацию выбора дисциплины, чем простое влияние социального происхождения» (р. 203). Не углубляясь в дискуссию о значении этого результата (здесь нет ничего удивительного, если учитывать, что рассматриваемая совокупность сту-

дентов имеет крайне слабый социально дифференцированный характер), заметим лишь, что по способу вычленения сопоставляемые переменные существенно отличаются друг от друга. Поскольку вопросник заполнялся студентами, уже выбравшими специальность, определение их профессии не вызывало никаких затруднений. Иначе дело обстоит с социальным происхождением. Прежде всего, вопрос о профессии родителей был сформулирован с помощью подвопроса, включенного в тот раздел, который касался темы «влияние вашего окружения на выбор факультета», что задает направленность содержания или формулировку ответа. Различные формы неответа на этот вопрос (отсутствие ответа, а также ответы «пенсионер» и «без профессии», не дающие никакой информации о социальном происхождении) составляют одну пятую опрошенных в первом и одну четвертую во втором университете, а на некоторых факультетах достигают еще больших долей. Наконец, вызывает удивление указанное в приложении распределение профессий, ибо оно содержит, в частности, весьма значительное число представителей «свободных профессий», что не соответствует данным других имеющихся статистических обследований студентов, в том числе парижских. Можно предположить, следовательно, что способ вычленения этой переменной не был достаточно корректным и что он не соответствует «нормальному» употреблению классификатора социально-профессиональных категорий. Этого достаточно для заключения, что переменная находится лишь в слабо выраженной статистической связи с другими переменными вопросника или вообще ее лишена.

Весьма сомнительно, что условия, при которых собирается и анализируется информация, позволяющая классификацию по социально-профессиональным категориям,

постоянны для различных исследований. Последствия этого особенно значимы, когда данные, получаемые из различных источников, комбинируются между собой. Так происходит при подсчете процентного отношения, в котором числитель и знаменатель имеют разное происхождение: первый, например, взят из исследования какой-либо специфической популяции (например, «умершие», «разведенные», «учащиеся» и т. д.), а второй из данных о всей совокупности населения (включающей рассматриваемую популяцию). Часто, чтобы рассчитать степень охвата образованием по полу, возрасту или по социально-профессиональной категории родителей, сопоставляют статистику, взятую из обследований или переписей в учебных заведениях, с совокупностью категорий населения с теми же характеристиками (включая охваченных и не охваченных образованием), численность которой известна из национальной переписи населения. Различные условия сбора информации, обнаруживаемые у данных двух источников, ставят под сомнение значение полученных процентных отношений. Иногда можно констатировать такие различия (не «засекая» их напрямую), в частности, когда полученные проценты оказываются неправдоподобными (исходя из того, что уже известно).

Так, охват образованием некоторых возрастов достигает иногда 105%: для такого результата нужно, чтобы численность учащихся этих возрастов была бы подсчитана с округлением в сторону увеличения, а совокупность в переписи — в меньшую, или то и другое вместе. Интересна зависимость подсчета процентов от социально-профессиональных категорий: охват образованием учащихся в четвертом классе в 70-е годы явно превосходил 100% для детей служащих, обслуживающего персонала и предпринимателей; дети служащих лучше охвачены образованием, чем дети среднего персонала, а эти последние — чем дети высшего персонала. Это прямо противоположно тому, что показывают все «однородные» исследования (где

числитель и знаменатель имеют одно происхождение) (Briand, 1984).

Подобные результаты позволяют ощутить значимость различий в условиях исследований. Избыточная численность детей служащих или среднего персонала в школьных опросах достаточно хорошо понятна, если принять во внимание весьма неточный характер подлежащих классификации ответов, а также инструкций по кодированию (фактически несуществующих), передаваемых школьным работникам или административному персоналу учебных заведений. На самом деле школьные опросы, переписи населения или опросы, проводимые INSEE, по-разному распределяют население по социально-профессиональным категориям, несмотря на их формальную идентичность.

Если классификатор социально-профессиональных категорий INSEE применяется по-разному INSEE и другими административными органами или организациями, проводящими исследования, можно ли полагать, что этот классификатор остается однородным в совокупности данных, представляемых INSEE? Вряд ли. Проценты на основе данных, извлекаемых из актов гражданского состояния (локально собираемых в мэриях, но обрабатываемых INSEE) и данных переписи также неправдоподобны (см., например, Briand, 1984, о проценте смертности по социально-профессиональным категориям). Точно так же социально-профессиональная структура наемных работников, выводимая на основе «годовых деклараций о заработной плате» (заполняемых предприятиями и обрабатываемых INSEE), явно отличается от структуры, которая обнаруживается в результате опросов и переписей собственно наемных работников. Можно предположить, что несоответствия зависят от точки зрения респондентов этих исследований: в частности, люди, стремясь поднять себя в глазах интервьюера, завышают иерархический уровень своего рабочего места, в то время как ответы, представляемые предприятиями, более реалистичны и

более «скромны». Но, если в отчетах о заработной плате обнаруживается больше служащих и меньше высшего персонала, чем в опросах по занятости, то прямо противоположное происходит с рабочими (Baudelot, 1981, см. табл. 4).

Таблица 4

Сравнительные социально-профессиональные структуры наемных работников частного сектора (по данным опросов по занятости и «Годовых деклараций о заработной плате» (DAS)) в 1975 г.

	Мужчины		Женщины	
	Опрос занятости	DAS	Опрос занятости	DAS
Кадры высшего звена	8,4	6,6	2,3	1,6
Кадры среднего звена	13,5	13,0	12,4	10,4
Служащие	9,4	11,6	34,1	43,2
Рабочие; из них:				
мастера	5,1	4,9	0,5	1,0
квалифицированные рабочие	7,7	33,9	6,8	8,4
специализированные рабочие	23,0	19,5	17,1	18,5
производственные ученики	1,5	2,2	0,1	1,6
разнорабочие	8,5	5,3	9,5	5,7
обслуживающий персонал	2,9	2,0	16,9	9,1
другие	0,6	0,2	0,2	0,1
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: INSEE. Archives et Documents. № 38. 1981. P. 177.

Особый случай оценки рабочей квалификации в зависимости от опрошенного лица можно обнаружить на примере контрольного опроса, проведенного в 1964 г. связи с исследованием FQP (FQP — «Образование, профессиональная квалификация» представляет собой крупномасштабное исследование, проводимое INSEE с 1964 г. в промежутках между переписями). Для определения квали-

фикационного уровня рабочих специальностей — кодировка квалификации по которым выглядела спорной¹ — были опрошены работодатели. Их ответы дали структуру квалификации сильно отличающуюся и гораздо более высокую, чем ответы самих заинтересованных лиц (Pohl, Thélot, Jousset, 1974, p. 16).

Если исследования одного и того же учреждения дают столь различные результаты в зависимости от того, к какому информатору апеллируют, то что происходит в случае исследований, осуществляемых по схожим методикам? Применительно к вопросу о квалификации были выявлены колебания ответов, полученных от одних и тех же лиц в зависимости от времени²: в отношении рабочих, входящих в общую часть выборки исследований занятости 1971 и 1972 г., были сопоставлены квалификации, зафиксированные в марте 1971 г. и те, что получены в марте 1972 г. Процент совпадающих ответов варьирует от 81 % для мастеров до 64 % для чернорабочих (ответ, следовательно, тем менее стабилен, чем ниже квалификация) (ibid, p. 15).

В случае социально-профессиональной классификации сличение вопросника исследования занятости 1975 г. с

¹ Если говорить точнее, речь шла о случаях, когда квалификация отличалась в зависимости от того, получали ли информацию о ней от носителя указанной профессии (в соответствии с практикой переписи 1954 г.) или из вопроса о квалификации, сформулированного в явной форме (как в переписи 1962 г.) (см. Гийо, 1979 г.)

² Лучше говорить «в отношении лица», а не «самим лицом», поскольку опрос о занятости проводился в «домохозяйствах» (то есть среди живущих в одном жилище), когда одно лицо может отвечать за других, если их несколько. В этом случае тот, по поводу которого спрашивают, и тот, кто дает ответ, не обязательно идентичны, и два сопоставляемых ответа могут, соответственно, быть даны разными лицами.

соответствующими вопросниками современной переписи обнаружило значительные классификационные отличия. Так, можно обнаружить вариативность самих ответов в зависимости от того, является ли их формулировка идентичной или различной в обоих исследованиях («неточность наименования»), а при их кодировке — в зависимости от того, был или нет присвоен опрашиваемому один и тот же код («неточность шифровки») (Thévenot, 1981). Для детализированных профессий (являющихся одним из элементов, комбинация которых образует определенную социально-профессиональную категорию), расхождения в масштабе рассматриваемой выборки достигают 33,6% в случае «наименования» (различающиеся формулировки ответов) и 31,2% — «шифровки» (различная в обоих исследованиях профессиональная классификация).

Различия наименования обуславливают различия классификации, но не всегда приводят к ним (только в 47% случаев), а различия классификации могут встречаться даже при идентичном ответе (в 21,2% случаев). Пример профессий в сфере здравоохранения позволяет проиллюстрировать это путем противопоставления профессий с небольшой расплывчатостью шифровки (несмотря на достаточно большую расплывчатость наименования этих профессий — например, врачи — имеют достаточно прочно устоявшийся социальный образ для идентификации, несмотря на многообразие применяемых названий) другим (помощники медсестер), шифровка которых испытывает сильное воздействие нестабильности наименований (Thévenot, 1981).

Этот опыт раскрывает меру колебаний, которые, каково бы ни было исследование, влияли на вычленение социально-профессиональных категорий в номенклатуре до 1982 г. Хотя осуществленная тогда реформа и опиралась на эти констатации, а процедуры постановки вопросов и кодировки были изменены, подобная «расплывчатость» все же продолжает существовать.

Следует задать вопрос, означают ли выявленные характеристики «расплывчатости» лишь пределы точности

измерительного инструмента, или нужно придать им социологическое содержание и смысл. Пока же достаточно заметить, что они свидетельствуют не только о колебаниях измерения в различных исследованиях (как в предыдущих примерах), но и о колебаниях внутри одного и того же опроса, по-разному влияющего на разные «объективные» ситуации. Если допустить, что код достаточно точен, чтобы выступать в роли точного классификатора (в соответствии с определениями кода) для каждой «реальной» ситуации, то в каждом данном опросе (без «протокольного» колебания) вероятность быть «правильно» классифицированными для различных «реальных» ситуаций остается весьма изменчивой. Вариативность измерительного инструмента связана, следовательно, не только с изменчивостью технических условий его применения в различных исследованиях, но в равной степени зависит от объектов, к которым его применяют.

1.5. КАКОЙ СТАТУС ПРИДАВАТЬ «ОШИБКАМ»?

Итак, мы показали — на примерах «поведения» или ситуаций (априорно легче поддающихся единообразной объективации, чем «мнения») — зависимость статистических результатов от технических особенностей сбора и анализа информации. Примеров могло быть и больше. Взяты достаточно значительные, повторяющиеся, контролируемые исследования, которые предоставляют сведения о методологической базе.

Совершенствование исследований INSEE позволяет констатировать несоизмеримость различных статистических источников. Например, введение в 1982 г. в анкету по занятости вопроса о регистрации в ANPE — с целью обнаружить более надежную связь между безработицей, измеряемой исследованием, и показателем DEFМ (спрос на

занятость на конец месяца) — имело парадоксальное следствие. В ходе опроса выявились безработные, которые соответствовали критериям ANPE, но заявляли, что они там не зарегистрированы, а также «лица, которые говорят, что зарегистрированы в ANPE», но «не соответствуют категории безработных по критериям MOT», проявилась также различная динамика этих пограничных категорий (Thélot, 1987).

Подобные констатации, как правило, укрепляют либо радикальный скептицизм по поводу значения и использования статистических обследований, либо веру в то, что, совершенствуя статистический инструментарий, можно сократить зоны сомнительности. Промежуточной позиции соответствует нарочитая скромность: «Хотя статистики уделяют большую часть своего времени количественным измерениям, порой они попадают в ситуацию, когда возможны лишь качественные заключения», — утверждаетс в вводной части одной статьи, которая показывает, что, как правило, не удастся «свести воедино» оценки самодеятельного населения, занятости и безработицы (Marchand, Thélot, 1986, p. 5).

Такие наблюдения приводят к мысли об артефактах (когда в колебаниях измерения считаются повинными скорее характеристики инструментария, чем характеристики измеряемого предмета), об ошибках (ответственных за артефакты), о погрешностях (форме систематических ошибок, приписываемых инструменту) или о предосторожностях (которые нужно соблюдать, дабы избежать ошибок или чтобы использовать данные с учетом возможно содержащихся в них ошибок). А все остальное при этом сводится к разногласиям о значимости ошибок и о технических возможностях их исправить.

Подобные позиции, следовательно, в более или менее явной форме опираются на идею, согласно которой существует реально детерминированное явление и что «ошибка» является теоретически измеряемой величиной, т. е. определенным разрывом между тем, что требуется

измерить, и измерением, обеспечиваемым инструментом. Поддается ли разрыв коррекции (полной или частичной) или нет, его статус в основном негативен по отношению к цели познания явления, как граница, отделяющая от «верного» или «точного» измерения. Таким образом, в данный момент, в данном месте и для данного определения самоубийства, безработицы или конторских служащих может существовать «действительный» (даже если нельзя его определить) контингент покончивших жизнь самоубийством, безработных или конторских служащих. Поскольку ничто и никогда не может гарантировать полную искренность (или хорошую память) информаторов (всегда найдутся причины скрывать самоубийство близкого, признавать или не признавать наличие рабочего места или профессии более или менее высокого уровня), то точная статистика возможна лишь для того, кто сумеет «проникнуть в сердце и осмотреть внутренности» (если бы статистические данные опирались главным образом не на заявления, но на прямые наблюдения).

2. Социология статистического производства

Дебаты вокруг затронутых вопросов затемнены бытующим представлением, которое различает сбор данных и их анализ как две самостоятельные и последовательные фазы научной работы и предполагает, что деятельность статистика считается чисто описательной, не допускающей непосредственного анализа или интерпретации описываемых явлений. Для опровержения такого представления хотелось бы напомнить, что конструирование данных само по себе является теоретическим делом (как «подсчитывать безработных» без теоретическо-

го определения безработицы?) и тщетно желание отделить «измерение» явления от его анализа или интерпретации. Именно в этом направлении мы продолжим анализ на основе примеров. Преодолевая рамки «критики документа», которая предполагает суждение о его «ценности», мы приложим максимум усилий, чтобы выйти на настоящую «социологию документа», восстанавливающую его статус как социального факта, а не только как информации (прозрачной или обманчивой) о социальных фактах.

Эта позиция, которая, очевидно, значима не только для статистических документов, может быть проиллюстрирована отношением Марселя Гранэ к таким документам, дату которых невозможно установить, которые неизбежно искажаются или переиначиваются в процессе их передачи. Непригодные к употреблению или с трудом используемые как свидетельства того, о чем они говорят или кажется, что говорят, эти документы, тем не менее, несут информацию о цивилизации, их выработавшей, например о Древнем Китае.

«Еще совсем недавно западные исследователи рассказывали историю Китая на китайский манер, даже не отмечая догматизма письменной традиции. Сегодня они пытаются отделить в его традициях истину от лжи. Используя китайские критические работы, они не ощущают, как правило, недостаточность чисто литературного, историко-юридического объяснения. Несмотря на свою критическую позицию, они нечасто признают, что факты остались непознанными.

Достаточно ли определить дату документа для того, чтобы его данные стали употребимыми? Что дает, например, установление даты и ценности китайских документов о древних методах сохранения плодородия почвы, если при этом не берется в расчет, что площадь земельного участка, которым, как утверждают эти документы, владел один земледелец, в пять или шесть раз меньше площа-

ди, которая в наши дни рассматривается как необходимая, чтобы прокормить одного-единственного человека в странах с самой плодородной и наилучшим образом обработанной землей? Литературная история культовых книг вызывает большой интерес, но можно ли всерьез ею заниматься, если не дать себе труда заметить, что: 1) среди предметов, упоминаемых в ритуальных книгах, почти нет тех, которые действительно были найдены при раскопках; 2) среди предметов, найденных при раскопках, слишком мало тех, о которых в культовых книгах даются некоторые сведения? Раскопки едва начались, и китайская археология вдохновляется книжным духом. Чрезвычайно важно, что документы, которыми мы располагаем, носят утопический характер. Остается посмотреть, имеют ли они ценность в том виде, в каком они существуют. Они не позволяют отыскать меню исторических фактов и описать с достаточной точностью материальную сторону китайской цивилизации. Мы не знаем ни деталей войн и политических интриг, ни методов управления, экономических практик, манеры одеваться и т. д. Напротив, у нас есть множество точных свидетельств о различных духовных или теоретических установках, которые были в Китае присущи различным слоям — по поводу костюма, богатства, искусства управления, политики, войны... Особенно мы осведомлены о тех установках, которые носили нормативный характер. Но китайцы не хотят ничего терять из своего прошлого: даже когда стараются представить его идеальную реконструкцию, они сохраняют множество сведений, противоречащих духу ортодоксальных теорий.

В настоящий момент не существует возможности написать Учебник китайской античности. И, напротив, можно вникнуть, и даже достаточно глубоко, в знание Китая, если ограничиться опреде-

лением совокупности предпочтений, характеризующих социальную систему китайцев античности» (*Granet M. La Civilisation chinoise. Paris: Albin Michel, 1968, p. 10–11*).

Аналогичным образом мы хотели бы теперь показать, что конструктивным предметом анализа могут стать «ошибки» статистического сбора или обработки информации, вызывающие сожаление (и более или менее неизбежные) «недостатки» статистических данных. Причем именно как дополнительная информация, как богатые смыслом «симптомы», пригодные для социологического конструирования изучаемых явлений.

2.1. ТОЛКОВАНИЕ «НЕЕСТЕСТВЕННЫХ» СМЕРТЕЙ

Подозрения, высказанные Дугласом по поводу статистики самоубийств, опираются скорее на правдоподобие (определения самоубийства должны варьироваться социально; следует исходить из того, что имеются сокрытия, и сомнительно, что они распределяются случайным образом), чем на «исследование», позволяющее установить их обоснованность посредством наблюдения. Другие же авторы непосредственно наблюдали, как «коронеры»^{*} опрашивают и принимают решение, чтобы классифицировать «неестественную» или подозрительную кончину, которой им предписано заниматься (Atkinson, 1978, Taylor, 1982). Их опыт образует практическое знание, с трудом кодифицируемое (например, в форме «определения» самоубийства, которое отсутствует в учебнике для коронеров), однако в достаточной степени эффективное, что-

^{*} Коронеры (coroners) — судебные чиновники в ряде стран, производящие дознание в случае насильственной смерти. — *Прим. пер.*

бы их работа могла осуществляться как рутина и не казаться им слишком проблематичной. Ее изучение приводит к выявлению совокупности ожиданий и постулатов, которые определяют манеру проводить дознание и публичное расследование перед судом присяжных и доводить это дело до «вердикта», согласно которому, «чтобы смерть была учтена как самоубийство», она должна походить на самоубийство, и нужно иметь причины покончить жизнь самоубийством (Taylor, 1982, p. 77).

Дознание концентрируется, с одной стороны, на «сцене кончины»: некоторые формы насильственной смерти часто приводят к классификации ее как самоубийства (повешение, например) или как несчастного случая (дорожные «несчастные случаи»), либо являются более неопределенными (в случаях с утопленниками на решение влияют время года, место и другие признаки, а также случаи медикаментозных отравлений). С другой стороны, дознание сосредоточено на выяснении биографии и состояния рассудка умершего — своего рода «психологической аутопсии», по выражению одного коронера, и аутопсии трупа, — предполагающего поиск в прошлом медицинских или психиатрических показаний, существования семейных, профессиональных, денежных затруднений и определение их возможного воздействия на психологическое состояние умершего. Таким образом, какими бы ни были объективные характеристики обстоятельств смерти, «субъективные» элементы в «причинах» покончить жизнь самоубийством остаются определяющими и объясняют, например, почему случаи повешения в конечном итоге оказываются интерпретированными как несчастный случай (для детей или подростков). Совокупность этих условий классификации образуют формы своеобразной теории самоубийства. Итак, аппарат статистической регистрации связан с профессиональными теориями, которые сами испытали влияние «ученых» теорий. Не стоит удивляться поэтому, что данный аппарат производит результаты, подкрепляющие на манер замкнутого круга эти теории.

Процедуры, которые определяют соответствующие классификации, предполагают участие не только «профессионалов», таких как коронеры или полицейские, но и других людей — близких умершего, свидетелей, присяжных, для которых нужно сформулировать социально приемлемое заключение. В силу этого, нельзя, с одной стороны, допустить здесь резкого разрыва между профессиональной теорией самоубийства и других форм «нестественной» смерти и «самодеятельными», обиходными теориями; с другой стороны, классификация всегда есть результат взаимодействия участвующих сторон (а не только применение формализуемых правил). Так, можно наблюдать различную позицию свидетелей (чтобы заставить отбросить или нет гипотезу о самоубийстве, например, исходя из свидетельства в пользу или против депрессивного состояния сознания) в зависимости от того, являются они или нет близкими умершего. Так что вероятность классификации смерти как самоубийства не одинакова при прочих равных обстоятельствах и зависит от того, жил или нет умерший в семейном окружении.

Помимо границ между категорией «самоубийство» и некоторыми другими «причинами смерти» вся система классификации этих причин может рассматриваться как проблематичная: классификация ставит в один ряд различные, но не исключительные типы причинности. Действительно, всегда так или иначе имеешь дело с комбинацией или цепью причин, выбор между которыми может показаться произвольным или просто делом благопристойности. Следующий рассказ позволяет проиллюстрировать относительную неопределенность понятия «причина смерти» и в то же время — при выборе категорий — коррелятивное значение социальных взаимодействий для классификации. Его действующими лицами являются врач-судмедэксперт и помощник коронера, фигурирующие при вскрытии трупа пациента, умершего вследствие хирургической операции. Будучи

обязанными прояснять случаи подозрительной смерти, коронеры могут осуществлять свою миссию в различной последовательности: они могут сразу классифицировать смерть как «естественную» или же сделать это после аутопсии, в противном случае вынести случай на суд присяжных заседателей, который принимает одну из возможных категорий (естественная смерть, убийство, суицид, несчастный случай и т. д.). Менее 20% случаев, вынесенных на их суд, достигают этой последней фазы процедуры, именуемой следствием.

Пациент умер после операции, не приходя в сознание, и ассистент коронера, которого я сопровождал на вскрытие, сказал, что случай лишен какой-либо двойственности. Несмотря на это утверждение, единственными сюжетами разговора между врачом-судмедэкспертом (патологоанатомом) и помощником коронера во время самого обследования были биография умершего, его болезнь, необходимость операции и его шансы выжить. Иначе говоря, «простота» случая требовала, казалось, подтверждения или опровержения при обследовании. Ближе к концу помощник коронера спросил у врача: «Ну что, нашли ли Вы что-нибудь для меня?» Этот вопрос был странным, так как он раньше заверил, что все совершенно «ясно». Врач умолк и вновь принялся за сердце умершего, которое, казалось, он внимательно исследовал. Эта пауза дала мне возможность спросить: «Я не думал, что вы ищите что-то особенное; что вы ожидаете обнаружить?» Помощник коронера ответил: «Причину смерти: мне нужна причина кончины». Тогда врач поднял глаза и сказал: «Я хотел бы ответить: “шок” (“шок” в медицинском смысле, потому что шок во время операции — это именно то, что действительно остановило сердце); но следователи не любят слово

“шок”, не так ли?» Помощник coronera подтвердил, и врач продолжил: «Я мог бы поставить “сердечную недостаточность”, как, пойдет?» «Это мне подходит — очень хорошо», — ответил помощник coronera.

Таким образом, мы столкнулись с причиной кончины, которая хотя и была установлена на основе профессионального научного обследования, все же явилась результатом переговоров и соглашения между двумя должностными лицами. Кроме того, они пришли к этому соглашению с учетом личности coronera, ради которого они трудились, а сторонний наблюдатель, каким был я, не сразу это заметил. Впоследствии я спросил у помощника coronera, что именно хотел сказать врач-судмедэксперт, и тот мне объяснил, что coroner был озабочен медицинским статусом слова «шок». Это значило бы для него, что причина смерти была «неестественной», из чего следовало, что он мог бы настаивать на проведении инквеста. Именно так произошло тремя неделями раньше, когда этот же самый врач-судмедэксперт указал «шок» как главную причину смерти, и помощник заметил: «Я был вынужден заняться организацией следствия, а доктор Х должен был потерять добрую часть своего дня, чтобы произвести освидетельствование».

Этот инцидент может быть предметом двух видов интерпретаций. С одной стороны, можно утверждать, что врач-судмедэксперт и помощник coronera вступили в сговор, чтобы «манипулировать» главным следователем или обманывать его. С другой стороны, можно считать, что все это объяснялось сложностью и двусмысленностью задачи точного объяснения причины смерти. Иначе говоря, имелись две альтернативные категории, обе обоснованные с медицинской и юридической сторон, так что они могли выбирать ту, которая

им подходила наилучшим образом. То, что они принялись обсуждать выбор, ничуть не беспокоясь присутствием свидетеля, о котором было известно, что он проводит исследование, и то, что помощник коронера столь охотно прояснил ему ситуацию без затруднений или просьб не афишировать услышанное, внушает мысль, что интерпретация типа «обман» маловероятна. Для них было важно, что «шок» мог привести к следствию, а в конечном счете к заключению, которое можно было получить и без лишних хлопот, а именно к заключению о смерти по «естественным причинам». Формулировка, компетентно предложенная врачом, была, следовательно, выбрана для того, чтобы не пробуждать никаких сомнений по этому поводу у коронера, ведущего это дело. (*Atkinson A. T. Discovering suicide. MacMillan, 1982, p. 97–99.*)

На основе анализа такого типа можно сделать вывод, что хотя следователи корректно вершат свое дело, статистические данные о суициде социологически неупотребимы. Либо определение, которое они практически вводят в оборот, отличается от социологического и последнее нельзя использовать в теоретических целях исследования. Либо же эти определения совпадают, но тогда статистический анализ может лишь тавтологически подтвердить теорию, примененную в наблюдении, превращая в причины явления те характеристики, которые привлекались как признаки, чтобы его выделить. Действительно, если подозрительная смерть холостяка или давнего пациента психиатрических клиник в силу самого этого факта более легко рассматривается и классифицируется как самоубийство, то неудивительно, что статистические данные показывают более высокий процент самоубийств у холостяков и психических больных (*Taylor, 1982, p. 122*).

Очевидно, такая критика использования статистических данных отнюдь не означает, что эти данные не име-

ют социологической ценности. Так, можно заметить, что работа следователей способна повлиять на индивидуальные поведенческие установки. «Следователи не только [...] разделяют господствующие в данный момент в данном обществе определения самоубийства, но занимают позицию, заключающуюся в их постоянном публичном подтверждении и, возможно, даже во внедрении новых» (Atkinson, 1978, p. 144). Социальные категории, направляющие их деятельность по классификации, могут определять тех, кто является потенциальным кандидатом в самоубийцы. Официально заявляя о тех, кто покончил с собой и почему, они способствуют определению категорий и ситуаций, где самоубийство является возможным и допустимым решением (даже если это грозит вечным проклятием, возможны случаи, когда самоубийство требуется). Так что их «теории» могут довольно хорошо соответствовать «фактам», потому что эти последние — следуя логике «творящего предсказания» — будут проистекать в своих категориях из самих себя. Если допустить, согласно логике коронера, что намерение является определяющим элементом категории «суицид», то можно предположить, что агенты, способные осуществить это намерение, являются именно теми, кому господствующий дискурс, на который «работают» статистические данные, это предписывает. Если для того, чтобы классифицировать смерть как самоубийство, нужно придать ему смысл самоубийства, и, наоборот, чтобы прибегнуть к самоубийству как к средству решения какой-либо проблемы, нужно оказаться в ситуации, при которой собственная смерть представляет собой социально приемлемое решение.

Очевидное для «драматических» смертей, которые можно классифицировать как самоубийства, годится для атрибутирования «причин смерти» вообще: роль агентов статистической классификации, как и «экспертов», на которых можно опереться, а также роль других агентов по социальному определению смерти заключается в придании смысла тому, что в фундаментальном значении

может показаться нонсенсом. Эти роли могут «придать порядок и интеллигибельность событиям, которые иначе были бы беспорядочны и, потенциально, не имеющими значения» (ibid, p. 173). Делая так, они вносят свой вклад в коллективную разработку социального порядка — случайного и временного, более или менее признанного и стабильного, без которого не было бы общественной жизни. Таким образом, социологический анализ деятельности по статистической классификации самоубийств не остается внеположенным, как чисто идеологическая уловка, по отношению к анализу самого «явления», но прямо подводит к нему, образуя один из существенных аспектов его социального конструирования.

2.2. БЕЗРАБОТИЦА, ЕЕ ФОРМЫ, ОТНОШЕНИЕ К БЕЗРАБОТИЦЕ

Чувствительность измерения безработицы к условиям его осуществления не позволяет прямо интерпретировать длинные хронологические ряды или данные, характерные для разных стран (по поводу сравнения Франции и Японии, см.: Besson, 1988). В статье, посвященной динамике безработицы за 20 лет, говорится: «Далеко не очевидно, что можно реально измерить динамику подобного явления в долгосрочном плане. В силу того, что безработица частично связана с данной социальной формацией, изменения последней в течение нескольких десятилетий достаточны для того, чтобы именем безработицы в начале и в конце периода назывались весьма разные вещи. Например, при переписи 1936 г. насчитывалось 864 тыс. безработных, а при переписи 1982 г. — 2059 тыс. Поскольку, несмотря на внешнее подобие, речь не идет в точности об одних и тех же вещах, постольку заключение, которое можно из этого сделать, имеет ограниченное значение» (Thélot, 1985, p. 38).

Если использование статистических данных в целях сопоставления столь ограничено, можно, как и в случае с суицидом, задаться вопросом об условиях их применимости (в познавательных целях, в частности). Этот вопрос совпадает с вопросом об изменяющихся значениях, которые скрываются за этими данными, и через них выходит на само понятие, или, скорее, на понятия «безработицы». Переменчивость статистического измерения позволяет, по крайней мере, поставить этот вопрос, который иначе мог бы остаться скрытым за кажущейся очевидностью смысла термина: является ли показателем меняющийся форму показатель (постоянного явления), отсылают ли его вариации к изменениям самой природы явления? Если статистические данные о безработице «не говорят в точности одно и то же» для 1936 и 1982 г., то это не просто потому, что отличаются технические условия постановки вопросов, но, прежде всего потому, что само содержание «безработицы» изменилось. Если допустить, что речь может идти о различиях в природе, а не в степени (более или менее «той же самой» безработицы), видимые несоответствия статистических данных действительно становятся одним из способов вычленения анализа этих различий.

В промежутке между переписями 1931 и 1936 гг. количество учтенных безработных увеличилось с 452 тыс. до 864 тыс. «В то же время занятое активное население сократилось на 1760 тыс. человек (из которых 1423 тыс. рабочие): кризис более проявляется в падении занятости, чем в росте безработицы. Представленный департаментом анализ двух изменений не обнаружил «никакой значимой связи» между ними и остановился на «таком парадоксальном результате, что процент занятости по найму и процент безработицы [...] увеличиваются параллельно» (Salais, 1986, p. 77–82). Если говорить точнее, то в 30-е годы безработица фиксируется в большей степени там, где труд определяется как «наемный труд», т. е. на круп-

ных предприятиях, и противопоставлен, например, надомному труду. Появившееся в то время «современное» понятие безработицы коррелирует с типом труда и отношением к труду, диктуемыми методами управления крупными предприятиями и формами рационализации, дистанцирующими рабочее место от работника и устанавливающими эквивалент «между рабочим временем и заработной платой» (р. 89), а также «четкое размежевание» между трудом и нетрудом, связанное именно с «отдалением места работы от места жительства» (р. 92).

В противоположность этому надомный труд представлен как «труд без безработицы» в той мере, в какой «занятость нерегулярна по количеству труда и по рабочему времени» (р. 94), а связь с работодателем тем сильнее, чем она менее институционализирована. Слабая институционализация, выражающаяся помимо прочего в сложности учета труда, в 1936 г. еще присуща категории с нечеткими границами — «надомным работникам», — объединяющей самодеятельных, не зависящих от «учреждения» (см.: Desrosières, Thévenot, 1988, р. 13–15). Следовательно, там, «где труд продолжает определяться количеством и объемом, которые подвержены сильным флуктуациям, там безработица низка; там, где труд регулируется внешним по отношению к нему образом, где он является предметом социальных процедур подсчета, планирования, учета, там безработица выше, хотя флуктуации труда имеют, по той же самой причине, меньший диапазон». Между 1931 и 1936 гг. численность надомных работников и работников «малых предприятий сокращается в меньшей степени, чем на крупных предприятиях»: «колебания объема труда в более широком масштабе открыто проявляются как безработица на крупных предприятиях, которая находит свое выражение в

значительном разрыве связей между работодателем и наемным работником. И напротив, труд на малых предприятиях скорее представляет собой объект разделения [...] в котором участвуют и наемные работники, и хозяин» (Salais, 1986, р. 96–97). Таким образом, безработица, зафиксированная в переписи 1936 г. неравно измеряет последствия экономического кризиса в зависимости от природы — в то время очень дифференцированной — общественной организации труда, поскольку сама категория безработицы была связана с особым и еще новым представлением о труде. Если безработица осмысливается только с помощью позитивной категории, отрицательной формой которой она является, то она институционализируется лишь посредством специфических социальных мероприятий: «положение безработного» есть прежде всего «положение лиц, [материально] защищаемых фондами по безработице». Эти последние существуют «только в городах определенного размера» и предполагают регистрацию в качестве «ищущего работу» в бюро по трудоустройству. Это и объясняет те факты, что «безработица» предстает главным образом еще как городское явление и что велика корреляция между «учтенной» и «защищенной безработицей», фиксируемая в разных департаментах (ibid, р. 109–120).

Социальное восприятие «не-труда» как безработицы, необходимое для ее регистрации, определяется, следовательно, восприятием труда как «наемной занятости» и является функцией ее институциональной связи со статусом. Именно значительное различие географической и социальной распространенности категорий и моделей безработных делает абсолютно несопоставимым численный их состав в переписях 1936 и 1982 гг. И наоборот, эти различия в качестве статистических колебаний безработицы, зарегистрированной в 1936 г., представляют меру этой распространенности. Новое историческое прочтение

статистических данных может быть увязано с констатацией, сделанной в связи с исследованием занятости в Алжире в 1960 г.: парадоксальным образом именно в самых отсталых зонах, где низкая занятость была наиболее явной, наименьшее число мужчин (в частности глав семей) ответило, что не имеют работы, потому что их социальная роль сама по себе представляла некую форму деятельности. И, напротив, в наиболее урбанизированных зонах процент объявленной безработицы был самым большим, потому что вследствие проникновения западного определения занятости, нерегулярные «подработки» не рассматривались как настоящая работа. Таким образом, опрос измерял скорее дифференцированное проникновение западного определения труда, чем географическое распределение труда, как было предусмотрено (Bourdieu, 1963; Bourdieu, Sayad, 1964; см. документ ниже). И в том, и в другом случае занятость и безработица вычленяются только через отношение к труду.

[...] Пока труд определяется как социальная функция, понятия безработицы и частичной занятости не могут быть сформулированы. Осознание безработицы знаменует, следовательно, изменение позиции в отношении к миру. Естественная приверженность к порядку, воспринимаемому как естественный, традиционный, оказывается подорванной; привычный труд воспринимается и измеряется посредством новой референтной системы, т. е. понятия полной занятости, связанного с опытом работы в современном секторе. Так, при очень близких значениях процентных отношений фактической занятости, сельские жители кабийских районов охотно объявляют себя безработными, если считают, что их деятельность недостаточна, в то время как земледельцы и пастухи алжирского Юга скорее называют себя занятыми. Не имеет значения, что кабийские безработные — земледельцы, объявляющие себя безработными, или что земледельцы Юга — безработные,

которые этого не знают. Одни, бывшие эмигранты или члены группы, чьи экономические практики и представления об экономике глубоко переродились вследствие долгого опыта эмиграции в города Алжира или Франции, расценивают традиционную сельскохозяйственную деятельность через ее соотнесение с единственно достойной деятельностью — той, которая приносит денежный доход, следовательно, как безработицу. Другие, при отсутствии такой концептуализации труда, не могут воспринимать как безработицу ту бездеятельность, на которую они обречены, и еще менее — те функции, которые им предписывает традиционный порядок (*Bourdieu P. Algérie-60. Structures économiques et structures temporelles. Paris: Minuit, 1977, p. 74–75*).

Безработица предстает, таким образом, не как понятие, имеющее трансисторическое и транскультурное значение, но как понятие, неотделимое от специфического социального контекста.

«История безработицы есть, следовательно, история распространения капиталистического способа производства. [...] Необходимо также подчеркнуть, что идентификация безработицы в качестве социального “статуса” и статистически измеряемого положения осуществляется в определенной последовательности. Она предполагает наличие двух условий: во-первых, невозможность опираться на “докапиталистические” виды деятельности или на формы надомного труда и, во-вторых, появление специализированных институций — бюро по трудоустройству или механизмов пособий по безработице, создающих в совокупности интерес заявлять о себе, как о безработном. [...] Связь развития безработицы с развитием экономики капиталистического типа не исключает того, что при других уровнях экономического развития или при других формах социальной организации существ-

вуют формы недоиспользования рабочей силы» (Freyssinet, 1988, p. 7–9).

Это историческое отступление помогает также уяснить изменяющийся смысл размеров безработицы в одной и той же выборочной совокупности в зависимости от техники исследования. Отказавшись придавать данным 1936 г. то же значение, что данным 1982 г., следует также уточнить утверждение, что «на более коротком отрезке времени, например, в течение двадцати последних лет, эти концептуальные сложности менее остры (Thélot, 1985, p. 38). Если, действительно, нет сомнений в том, что отношение к труду в 1984 г. ближе к тому, каким оно было в 1964 г., чем в 1936 г., то можно также подчеркнуть значительные различия в условиях, при которых безработица воспринимается и заявляется, в частности, различия в распространении женского наемного труда, с одной стороны, и распространении институционализированной безработицы с другой.

Самой отчетливой чертой динамики данных за двадцать лет является, несомненно, «разрыв 1974 г.», который означает начало более быстрого роста процента безработицы, возравставшей и в предыдущие годы, а также ее более выраженную дифференциацию по полу, возрасту или социально-профессиональной категории (ibid). Действительно, с этих пор безработица рассматривается как аспект общего экономического кризиса и трактуется как «социальная проблема» (о которой, например, обязаны высказываться политические деятели), что само по себе способно преобразовать условия, в которых она воспринимается и, как следствие, заявляется. Безработица не является «той же» не только потому, что не охватывает те же самые категории, но и потому, что ее восприятие в 1964 г., когда статистические данные определяли ее в 2%, отличается от того, как она воспринималась двадцать лет спустя, когда составила 10% всего самодеятельного населения.

Административные меры, принятые против безработицы, прежде всего прямо влияют на ее реги-

страцию, а не на неполную занятость, которая при регистрации интерпретируется, например, как «досрочный выход на пенсию». Это определение, основанное на продолжительности активной жизни, позволяет исключить из категории безработных тех незанятых, которые, благодаря особой форме выплаты пособий, обозначаются иначе и выводятся за пределы рынка труда. Кроме того, на учет влияет также — в противоположном направлении — банализация и институционализация категории «безработный». Рост числа самостоятельных наемных работниц усилил этот эффект. Этот рост способен изменить условия, при которых — при прочих равных — женщины, не имеющие работы по найму, но желающие ее найти, могут объявлять себя скорее безработными, чем несамодеятельными¹.

В 1936 г. 72% безработных составляли мужчины (в основном промышленные рабочие), и статистическая связь между «учтенными безработными» и «безработными, охваченными пособиями» (на уровне департаментов) гораздо сильнее выражена у мужчин, чем у женщин (потеря заработка у них возмещалась с гораздо большим трудом, поскольку «помощь оказывается семье, а не индивиду») (Salais, 1986, p. 77, 118). Эта мужская «погрешность» безработицы, зарегистрированной в 1936 г., подлежит сравнению с женской, поскольку в более поздних исследованиях именно

¹ Увеличение самостоятельного женского населения воздействует также и в другом направлении: поскольку процент безработицы рассчитывается относительно самостоятельных, не только числитель, но и знаменатель возрастают. Обратное происходит для другой категории, сильно подверженной безработице, а именно молодежи: рост или удлинение срока обязательного образования, что частично связано с ситуацией в сфере занятости, способствует сокращению знаменателя (а не только числителя) отношения.

учет женщин в качестве безработных больше зависит от особенностей опросов. В период между 1968 и 1974 г. среди женщин категория PMDRE (этот тип безработицы объявляется в форме, которая может показаться двусмысленной) значительно более многочисленна, чем категория PDRE, особенно 25–49-летних; и прямо противоположное наблюдается у мужчин, особенно у 25–49-летних (Thélot, 1985, p. 54–55). К тому же уже говорилось, что смысл показателей DEFM [спрос занятости на конец месяца] и «безработицы по определению MOT» имеет отличия в зависимости от пола: в период между переписью 1975 г. и современным исследованием занятости классификация женщин претерпела больше изменений, чем классификация мужчин. Создается впечатление, что, несмотря на усилия сблизить измерение безработицы в переписи и в опросе о занятости 1982 г., перепись продолжает показывать большую численность безработных среди женщин, чем среди мужчин.

Не исключено, что женщины чаще, чем мужчины, «злоупотребляют» заявлением о поисках работы («ложные безработные») или что они чаще, разуверившись, перестают считать и объявлять себя находящимися в поисках работы («деморализованные безработные»). Обе интерпретации сходны еще и в том, что несмотря на рост женской наемной силы и что большинство среди объявивших себя безработными составляют женщины, господствующие социальные представления о положении и роли женщин не допускают иного смысла женской безработицы или иного отношения женщин к занятости и безработице: эти характеристики строго эквивалентны тому, что присуще мужчинам. Отсюда следует, что вариативность вопросника при измерении безработицы в зависимости от пола является не столько аномалией или подлежащим исправлению техническим дефектом, сколько симптомом определенной социальной реальности.

Очевидно также, что технические сложности, которые выражаются в множественности и сложности определений безработицы или в невозможности «увязать» измерения самодеятельного населения, занятости и безработицы, играют положительную роль, подводя к вопросам о природе и динамике границ, которые разделяют (или не разделяют) эти понятия, а также о пограничных критериях, которые они содержат (такие, как неполный рабочий день, договоры о временной работе, другие формы нестабильной занятости, производственные стажировки и т. д.), что размывает понятие безработицы (Cézard, 1986): «Разделительные полосы между занятостью, безработицей и бездеятельностью стали более размытыми, более рыхлыми. Линия границы, следовательно, стала более условной» (Marchand, Thélot, 1986, p. 5; см. Freysinet, 1988, ch. 1; Gambier, Vernières, 1988, ch. 7). Развитие таких «маргинальных» ситуаций, нестабильных и подвижных, трудно поддающихся точному статистическому вычленению, было бы не столь заметно, если бы несогласованность или неувязанность статистических показателей не способствовали их акцентированию. Таким образом, подобные ситуации сами являются следствием и одновременно характеристикой развития безработицы. Итак, ситуация 80-х годов отсылает нас к двусмысленности «измерений безработицы», осуществлявшихся во Франции в 30-е годы или в «развивающихся странах» в настоящее время: в самой модели «занятости по найму» (стабильной, на условиях полного рабочего дня, мужской и т. д.) заложены изменения, которые влияют на всю совокупность производственных отношений (включая, например, процент охвата профсоюзами). В условиях, когда модель определена, занятость теряет единый или доминирующий характер, безработица также перестает быть стабильной или однозначной реальностью. И то, что является двусмысленным для статистика, может также быть таковым для агентов, включенных в эти пограничные группы (например, между занятостью, безработицей и образованием для временно замещающих основных ра-

ботников, см.: Pialoux, 1979). Получается, что анализ безработицы не может быть отделен от анализа отношения к безработице (Balazs, 1983).

Следовательно, можно утверждать, что когда «уровень» безработицы вырос от 2 до 10 и более процентов, изменилась сама природа, а не только интенсивность безработицы. Однако очевидно, что статистические данные не утратили полностью свою валидность. В силу изменения содержания этих данных большое значение приобретает их интерпретация и практическое применение. Анализ статистических результатов сам способен прояснить это изменение содержания, обращаясь к смыслу несоответствий, ошибок или погрешностей. Опасность «реификации» (или подмены гомогенностью гетерогенности), присущей статистической практике, была бы еще большей, если бы социальная реальность не заявляла о себе посредством этих «недостатков» статистического измерения.

2.3. «ИМЕТЬ ДЕТЕЙ — ЭТО ЗНАЧИТ НЕ ХОТЕТЬ ИХ НЕ ИМЕТЬ»

Двусмысленность или сложность статистических данных о самоубийствах или безработице ставит вопрос об адекватности научного определения, на которое опирается исследование, и тех определений (гомогенных или нет), которые используют опрашиваемые агенты или информаторы. Так, исследование деторождения 1978 г. целиком строится на представлении, радикально противопоставляющем типы поведения, диктуемые желанием иметь ребенка или избежать рождения ребенка. Женщинам, которые ответили отрицательно, даже после повтора, на вопрос о применении в настоящее время какого-либо «метода, чтобы избежать рождения ребенка», интервьюер сразу предлагает в качестве возможного «мотива»: «Вы желаете забеременеть». Альтернатива между хотеть и не

хотеть предстает как обязательное четкое разграничение, соответствующее представлению, которое предполагает сознательный расчет и учет опасности и исключает даже в малейшей степени фатальное подчинение возможному риску. Совершенно очевидно, что демограф тем самым упускает гетерогенность типов социального поведения, сгруппированных им под одним термином.

Определение контрацепции, положенное в основу вопросника и анализа результатов, охватывает достаточно большое количество условий (Leridon, Sardon, 1987). Рассматриваемое как поведение с целью избежать риска (зачатия или, если включать аборт в понятие «контрацепции», рождения), такое определение предполагает осознание наличия опасности и, следовательно, выделение «группы риска». Соответственно, внутри когорты риска, выделяемой по возрасту (опрос проводился среди женщин 20–45 лет), вводится различие между женщинами, у которых есть «партнер» (муж — для живущих в браке, сожитель — для «сожительствующих» или «постоянный партнер», живущий отдельно, — для прочих), и «одинокими» женщинами («заявляющими об отсутствии постоянного партнера»). За недостатком информации о самих половых сношениях определение риска выделяет относительно однородную по форме половых связей популяцию; остальная же часть остается разнородной, потому что здесь «смешиваются, по всей очевидности, женщины, не имеющие никаких половых связей, с теми, кто имеет эпизодические половые отношения или же регулярные, но с разными партнерами» (р. 124).

Однако не все женщины, имеющие постоянного партнера, находятся в зоне риска: необходимо также исключить стерильных женщин (или имеющих стерильного партнера) либо в силу естественно-природных причин (но они еще должны и знать об этом, чтобы признаться), либо по

причине стерилизации (предпринимаемой часто в контрацептивных целях, так что эту подгруппу с таким же успехом можно классифицировать как пользующуюся определенным методом контрацепции), а также тех, для кого не существует риска и есть уверенность в его отсутствии (беременные женщины). И наконец, поскольку контрацепция предполагает, что риск вызывается боязнью, нужно также вычленить женщин, желающих иметь ребенка.

При таком определении риска и понимании контрацепции в соответствии с уже изложенным способом постановки вопросов суждение о качестве результатов (как о качестве практики) выводится из факта, что наблюдается лишь малое число женщин, «подверженных риску», но «не использующих контрацептивных средств»: «В конечном итоге менее 4% совокупности женщин от 20 до 44 лет не используют никакого контрацептивного метода, несмотря на то, что они рискуют забеременеть, не желая того». Это позволяет сделать заключение, что «распространенность контрацепции близка к своему максимуму» (р. 126).

Таким образом, благодаря достаточно широкому определению значений контрацептивного метода, исследование приходит к констатации квазивсеобщего рационального (как адаптации средств к цели) отношения к деторождению: подавляющее большинство женщин знают, способны ли они к деторождению, хотят ли они зачать, и действуют соответственно. В зависимости от значения, которое сообщается этой констатации, можно считать, что либо она не относится к новой ситуации, потому что все социальные группы всегда умели ограничивать в той или иной форме рождаемость, либо в случае предложения опрашиваемым «научного» понятия контрацепции — а таково отношение демографа — данная констатация, видимо, чрезмерна или верна только для особой категории населения. Несомненно, что для Франции 1978 г. еще остается справедливым утверждение, что «деторождение предстает как результат двойного отрицания: иметь де-

тей — это не значит, что их хотели иметь, это значит, что не хотели (абсолютно и всеми средствами) их не иметь» (Bourdieu, Darbel, 1966, p. 139).

Сомнительно, что на практике многочисленные различия, приводящие к этому статистическому результату — между риском и не-риском, желанием зачать или не зачать, контрацептивной практикой или отсутствием таковой, являются столь четко расчлененными. Отсутствие четкой границы между стремлением зачать или не зачать ясно обнаруживается, например, у значительной доли замужних женщин, использующих контрацептивные методы и заявляющих о желании иметь еще детей (и, следовательно, исключенных из вышеприведенного подсчета) (Collomb, Charbit, 1987, p. 143–144). И как провести грань между контрацепцией и «неподверганием риску», если «периодическое воздержание» становится постоянным? В целом, «контрацепция», измеряемая опросом, необоснованно смешивает определения, которые применяются в ответах (указывающих признаваемую совокупность декларируемых практик), и определение контрацепции, которую демограф считает «действительной». Последний случай предполагает знание реального содержания ответов (что приводит демографа, например, к исключению из результатов периодического воздержания, связанного с менструальным циклом). Однако невозможно установить, не применяются ли другие «средства» либо с целью предохраниться от зачатия, либо такой цели не преследующие, но имеющие такой результат. Можно, например, заметить, что вопросник имплицитно предполагает существование лишь одной формы сексуальной практики и попадает в «тупик» в отношении других, именуемых по традиции «неестественным путем».

Возможный разрыв между социальными определениями, указанными в спонтанных ответах, и

научным определением контрацепции, организующим способ постановки вопросов, может стать очевидным, например, если сравнить различные способы определения «основного метода». Так как методы могут сочетаться, то чтобы представить совокупные результаты, необходимо решить — если методов несколько, — какой из них основной. Демограф достигает этого посредством «объективного» знания о периодичности рискованных ситуаций и относительной эффективности различных методов, рассматривая как основной тот, который «применяется в середине цикла», и, если в этот период применяется несколько методов, — отдавая предпочтение «современным» (Sardon, 1987, p. 305). Эта классификация отличается от той, которую сделали бы опрошенные женщины. Такой вопрос не задавался им напрямую, но можно считать, что метод, который они называли в первую очередь, еще до того, как их спрашивали о тех, которые могут его сопровождать или дополнять, является для них самым важным (если не самым эффективным). Не отличаясь слишком друг от друга (хотя бы потому, что только 14% «контрацептирующих» женщин называют больше 1 метода), тем не менее эти классификации расходятся достаточно ощутимо. Так, «прерванный акт» приводится в качестве первого ответа в 29,7% случаев. Критерии классификации, заложенные в опрос, сводят эту долю к 26,3% «основных методов», и один лишь критерий «эффективности в середине менструального цикла» сократил бы эту пропорцию уже до 25,4%. Эти различия существенны: теоретически верхний предел этих пропорций составляет 32,5% (женщины, которые называли этот метод единственным, или сочетаемым с иными), а нижний предел 23,4% (женщины, назвавшие только его) (p. 306–307).

Если применяемые категории содержат значимую долю гибкости или расплывчатости, процент, получаемый в результате их использования, может приобретать ложное значение, что отражает его зависимость от способа постановки вопросов. Так, весьма вероятно, что женщины, которые спонтанно, с первого вопроса, не указали какую-нибудь контрацептивную практику, но называли себя «предохраняющимися» при различных формах повторения вопроса, отличаются от других не только используемыми методами (которые почти всегда относятся к «традиционному» типу), но и своим отношением к «риску» зачатия. В результате, если и нет оснований не учитывать их как пользующихся какой-либо формой контрацепции (как то имеет место при других исследованиях), то можно спутать их с теми женщинами, которые более спонтанно заявляют о какой-либо форме предохранения. Один из аспектов социальной реальности контрацептивной практики проявляется в том, что некоторые формы практики — менее легитимные или недостаточно медицински апробированные — женщины отказываются признавать контрацептивными или колеблются, прежде чем их признать, в отличие от методов, о которых пишут в журналах. Таким образом, было бы интересно получить таблицы, которые позволили бы сравнить эти формы практики — или признания — применения контрацепции относительно таких переменных, как возраст, социально-профессиональная категория, уровень образования, вероисповедание.

Создается ощущение, что демограф, как эксперт, замкнутый на своем знании контрацепции, даже понимающий, что его определение не разделяется всеми, тем не менее избегает вопроса, чем же контрацепция является для опрашиваемых женщин. Социологическое изучение практики в отношении деторождения (или способности к деторождению) должно было бы вписаться в рамки социологии отношения к телу и отношения к будущему (см.: Bourdieu, Darbel, 1966). Но это предполагает, что вопросник о практических действиях не основыв-

вается на имплицитной гипотезе об универсальности отношения, базирующегося на осознанном расчете. В этом случае можно прийти к парадоксальной идее, что контрацепцию можно измерить только там, где она является всеобщей (т. е. там, где никто не находится в пограничной ситуации между контрацептивной практикой и стремлением зачать, иначе говоря, там, где проблема ее измерения не стоит). Воспроизводя формулу, уже приводившуюся применительно к безработице, можно было бы написать: «Контрацепция существует там, где деторождение составляет предмет социальных процедур расчета и предвидения» (см.: Salais, 1986, p. 97). Но, как и в случае с безработицей, нужно было бы уточнить: в «современном» смысле. Таким образом, остается открытым вопрос о том, что представляют собой прочие формы регулирования, когда расчет и предвидение не вписываются полностью или эксплицитно в формализованные социальные процедуры.

2.4. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ КАК СТАВКА В ИГРЕ

Если трудности статистического определения самоубийства, безработицы или контрацепции могут превращаться в источник информации, способный обогатить наш анализ форм их социального конструирования, происходит ли то же самое со столь «объективной» переменной, как профессия или социально-профессиональная категория? Хотелось бы показать, что помимо собственно технических аспектов и факта, что все данные разнятся по своему качеству, трудности регистрации этой переменной, иллюстрируемые неустойчивостью ответов и их кодирования, могут также быть носителями позитивной информации о производящих их ситуациях.

Если профессия является ключевым понятием для социологического анализа, так это потому, что помимо профессиональной деятельности как таковой, она включает в себя тип социального опыта и социального статуса. Она выступает синтетическим показателем, способным охватить почти всю совокупность аспектов социального бытия. Но то, что справедливо для социологического применения, справедливо также и для взаимодействий в повседневной жизни: в нашем обществе профессия (или роль «главы семейного хозяйства») предстает как важный и значимый аспект полученного социального образа, она функционирует как удобное средство социальной маркировки и играет большую роль в представлении себя. В силу этого факта наименование профессии может породить более или менее широкую гамму разных высказываний в зависимости от социальной ситуации, когда о нем либо спрашивают, либо оно называется спонтанно. Оно не вытекает из профессиональной деятельности, которая не довольствуется диверсифицированными представлениями, в частности игрой по уточнению ответа как уровней языка своей формулировки. «Крестьянин» — не «земледелец», который также не идентифицируется с «земледелием»; а «винодел» — не то же самое, что «виноградарь».

В социологических опросах, как и в официальных документах и взаимодействиях повседневной жизни, информация о профессиональном положении подается, следовательно, в формах, зависящих от представления о ситуации, в которой проводится опрос, от риска или преимуществ, в ней содержащихся. То, что верно для собственной профессии, быть может, еще более верно, когда вопросы касаются профессии родителей: функция классификации — социальной, а не прямо профессиональной — в таком случае более очевидна и способна налагаться на особенности представлений о себе, что приводит к отказу ответить, искажению или просто к контролю над информацией.

Так, опрос студентов 60-х годов позволил заострить внимание на том, что студенческая ситуация,

в силу присущего ей переходного характера и неопределенности будущего, предрасполагает к отрицанию различных социальных детерминант, в частности, связанных с социальным происхождением: «Желать быть и желать делать выбор, это прежде всего отказаться быть тем, кем быть не выбирали. Главной среди отвергнутых или преобразованных детерминаций является укоренение в социальной среде. Студенты чаще всего единодушны в том, чтобы не называть профессию родителей, какой бы она ни была. Стыдливое умолчание, полуложь или провозглашенный разрыв являются, таким образом, способами ухода от невыносимой мысли, что подобная неизбранная детерминированность может детерминировать того, кто занят исключительно выбором себя» (Bourdieu, Passeron, 1964, p. 63). В случае более недавнего опроса студентов к этим эффектам добавляются вызванные знанием — пусть весьма смутным — результатов подобных опросов: прежде всего знанием о воздействии, которое опросы оказали на социально-политические дискуссии о «демократизации» высшего образования.

Конструирование социальной биографии, где «профессия отца» символизирует среду происхождения и те типы солидарности, которые она может обуславливать, является, таким образом, социальной практикой до того, как стать средством социологического анализа. Личный «успех» может измеряться — как в «жизни», так и в «таблицах мобильности» — путем, пройденным от этого «происхождения». «Представление о происхождении» входит в социальные диверсифицированные реконструкции как аспект представления о себе. Рабочее или крестьянское происхождение является практически обязательной частью биографий руководителей коммунистических партий (Pudal, 1988). Епископы стремятся заявить о более «про-

стом» происхождении, чем то, которое может выявиться при более углубленном анкетировании (Bourdieu, Saint Martin, 1982). Обрисовывая позицию — «во весь рост перед враждебностью» — бывшего министра обороны — социалиста, замешанного в различных «делишках», газета в то же время напоминает, что он «сын жандарма». Школьные учителя на рубеже XIX–XX вв. могли найти духовные силы, необходимые для исполнения профессиональных обязанностей, в самой реальности и в представлении о своем «призвании», поддерживаемом родителями-крестьянами и рабочими по происхождению; тогда как сегодняшних педагогов объединяет социальный и символический разрыв с их «мелкобуржуазными» семьями, которые надеялись на другое будущее для них (Muel-Dreyfus, 1983). А писатели минувшего века — провинциалы по рождению, — выставляя напоказ географическое место рождения, которое они поначалу стремились скрывать, находят свою публику и открывают литературный жанр, позволяющий обратить в знак избранности то, что они сначала переживали как препятствие и стигмат на парижском рынке литературы (Ponton, 1988). Можно было бы продолжать примеры, демонстрирующие, что определенное социальное происхождение может порождать самые разнообразные представления — от показных претензий до публичного отрицания или стыдливого признания — в зависимости от социальных реконструкций, в которых оно занимает место и посредством которых оно освещается.

Социологическое применение информации о профессии не должно учитывать природу субъективного отношения к этой информации лишь с целью уравновесить, откорректировать или ввести коэффициент сомнения в зафиксированные ответы: эта информация собрана не ради нее самой, но для прояснения скрывающегося за ней отно-

шения к ситуации, присутствующего в ответе, поэтому она действительно может представлять собой наиболее подходящую социологически информацию.

Помимо особой манеры, в которой выражается социальная идентичность посредством особенностей наименования профессии, само отношение к опросу в целом может представлять собой поддающуюся анализу и подходящую для социологической работы информацию. В манере отвечать или не отвечать интервьюеру, а в более обобщенном виде — входить в общение с незнакомыми, содержатся характерные для определенных социальных групп установки. Например, это проявилось в тех сложных уловках с целью избежать — без явного отказа — неопределенного риска интервью, которые применяли мелкие служащие Сан-Паулу.

Во время полевого исследования мы столкнулись с ситуацией, весьма отличающейся от знакомой нам по предыдущему изучению рабочих и шоферов такси, причем в обоих случаях мы применяли одни и те же методы. Действительно, первые 30 мелких служащих, с которыми мы столкнулись на фазе составления списка адресов и домохозяйств, отказались дать нам интервью¹. Эти отказы можно сгруппировать в две большие категории. В первом случае ответы всегда уклончивы; человек, которого хотят увидеть, или тот, кто его представляет, предлагает зайти в другой день. Интервьюер возвращается, и все повторяется. После многочисленных попыток (в некоторых случаях до шести раз) происходит то, что подтверждает подозрения интервьюера и подводит его к осознанию, что предыдущие ответы и встречи, далеко не быть случайные, имели целью лишь за-

¹ Среди рабочих, лиц, занимающихся ручным или наполовину ручным трудом, шоферов такси редкие случаи отказа в интервью были ясными и вербализованными.

маскировать отказ и вместе с тем отказать¹. Эти мелкие служащие демонстрируют доброжелательность и хорошее воспитание: они просят, чтобы их извинили, объясняют, почему они не могли быть дома в условленный момент, и кажутся озабоченными поиском решения. Случалось даже, что они предлагали больше, чем мы у них просили. Так, один мелкий служащий, когда мы пришли в третий раз, предложил: «Послушайте, мы сделаем следующее: вы дадите мне свой адрес, я сам приду к вам. Так будет лучше, потому что трудно выкроить свободное время. Я приду туда».

Другой пример. Молодой человек догнал женщину-интервьюера на улице, хотя ей только что сказали в его квартире, что его нет дома.казалось, что он изменил мнение, очень мило поговорил с интервьюером, а потом снова предложил отложить дату интервью. Во втором случае мы ощущали подозрительность уже в тот момент, когда звонили в дверь. В доме слышались звуки суеты. Приходилось подолгу переговариваться до того, как дверь открывали. Часто кто-нибудь брал на себя роль ответственного лица, того, кто должен уладить «проблему», и удалял остальных покровительственным жестом. Порой случалось, что интервьюера в его первый приход принимали хорошо и удавалось назначить свидание, но когда он возвращался, его встречали холодно: оказывалось, что принять его невозможно.

Представляется, что наиболее часто уклончивые ответы во время первого визита давали мелкие чиновники². Как мы убедились, они демон-

¹ Например, интервьюер видит того, с кем назначена встреча, но при этом кто-нибудь выходит ему сказать, что этого человека нет дома; или интервьюер слышит голос того, кого он хотел проинтервьюировать, хотя ему только что сказали, что он вышел.

² Мы не располагаем точной информацией о должностях, которые занимают мелкие служащие, отказавшиеся дать интервью.

стрировали одно и то же отношение: даже согласившись на интервью, они, казалось, продолжали испытывать затруднения с принятием решения. Как определиться перед лицом новой ситуации и решить в создавшейся обстановке, принесет ли интервью какую-либо пользу или, напротив, оно таит какую-то угрозу, — вот что приводило их к бесконечным переговорам с интервьюером. Часто они покидали место разговора и переходили к действиям (прятались, просили знакомых прийти в гости, чтобы положить конец интервью и т. д.). Когда же они, в конце концов, соглашались на интервью, то часто старались не выражать политических взглядов. Эту двойственную позицию нельзя, однако, объяснить страхом выразить «опасные» идеи. В самом деле, те, кто однажды решился говорить «откровенно», фактически ограничивались высказываниями против дороговизны и пожеланиями правительству принять соответственные меры и лучше заботиться о собственных служащих.

Создается впечатление, что такое отношение к интервью характеризует общую жизненную установку. Защитные церемонии, которыми часто пользуются мелкие чиновники, тактические уловки, чтобы избежать любого страдания, непрерывный поиск мелких преимуществ благодаря совокупности знаний и умений, привязанность к символическим аспектам частично являются следствием промежуточного положения, которое они занимают в социальном пространстве, и составляют также параметры этой установки, связанной с их положением. (*Rodrigues A. M. Pratiques et représentations des petits fonctionnaires administratifs à São Paulo // Actes de la recherche en sciences sociales. № 73. Juin 1988. P. 85–87.*)

Таким образом, напрасно стараться сводить ответы о рабочей квалификации в единые и однозначные рамки. Если эти ответы столь чувствительны к условиям, в которых

их получают, если «в зависимости от взгляда на занимаемую позицию, явление изменяет смысл и представляет различные количественные аспекты» (Naville, 1956, p. 129), то это потому, что «квалификация» не является единой реальностью (Hugues, Petit, Rerat, 1973; Salais, 1976; Commissariat général du Plan, 1978; Cézard, 1979; Azouvi, 1982; Dubois, 1982) и что разные варианты ее регистрации должны информировать о принципах ее дифференциации. Посредством квалификации выражаются различные точки зрения на различные возможные аспекты рабочих профессий. Статистическая неустойчивость классифицирования квалификаций также может направить на путь социологического анализа плюрализма социальных значений этого понятия. Бессмысленно стремиться уменьшить эту полисемию в статистических исследованиях, будь то путем предпочтения какого-нибудь одного смысла (считающегося более объективным, или более объективируемым, или более важным) либо путем полного разъединения тех, кого можно различать. Дело в том, что полисемия может быть составным элементом социального статуса понятия — в той мере, в которой она представляет собой социальную ставку, — объект борьбы между социальными группами, так что выбирать какое-либо одно определение означало бы пренебречь этим аспектом и встать на точку зрения одной из заинтересованных групп.

Таким образом, в обобщенном виде среди ответов о квалификации можно различать те, которые выражают скорее личную квалификацию работника, все равно, является ли она результатом специального обучения, порой подтверждаемого дипломом, или лишь инкорпорированной формой навыков и социального опыта; либо же ответы о квалификации рабочего места, объективируемой в соответствии со сложностью операций или в соответствии с длительностью требуемого теоретического обучения, независимо от фактической квалификации тех, кто занимает ра-

бочее место. Наконец, ответы могут предполагать квалификацию по уровню установленной заработной платы (более или менее жестко увязанной с рабочим местом) (Cézard, 1979, p. 18–19). Совсем не обязательно, что заработную плату определяет квалификация: «Классификация чернорабочих, разнорабочих и профессиональных рабочих различных уровней производится в промышленности чаще всего в соответствии с сеткой фактически выплачиваемой заработной платы, а не наоборот» (Naville, 1956, p. 64).

Эти различные точки зрения помогают понять значительную часть статистических вариаций в различных обследованиях. Например, ответы, получаемые от предприятий в рамках «ежегодных деклараций о заработной плате», несомненно, многим обязаны третьему из выделенных выше аспектов, хотя бы потому, что речь идет об обследовании заработной платы и что ответ, а также кодирование могут испытать влияние объявленной заработной платы (Guillot, 1979; Baudelot, 1981). Но эти точки зрения не могут быть полностью отделены друг от друга, так что ответы всегда являются в большей или меньшей степени продуктом их взаимодействия. Если, например, уровень заработной платы определяет «квалификацию» (которая может отличаться от предполагаемой, исходя исключительно из анализа рабочего места или удостоверенной компетенции работника), то это осуществляется посредством тарифной сетки в коллективном договоре, зафиксировавшем эти уровни в результате переговоров, на которых работодатели, несомненно, пытались навязать определение, отсылающее к рабочему месту, а профсоюзы — к работнику (Eugaud, 1978; Cézard, 1979, p. 17). «Заработная» квалификация сама является, следовательно, более или менее устойчивым компромиссом в

борьбе заинтересованных лиц за признание того или иного определения.

Если квалификация очевидным образом является социальной ставкой и фиксируется в юридических текстах типа коллективных договоров, то можно проиллюстрировать игру, которую отношение к профессии вводит в ответы в ситуации опроса, причем посредством воздействий, не связанных с какой-либо официально регламентированной формой. Так, самые расплывчатые ответы (и в силу этого наиболее трудные для интерпретации и кодирования) парадоксальным образом могут быть носителями специфической информации. Констатации, сделанные в рамках учреждения новой номенклатуры «Профессий и социально-профессиональных категорий» INSEE по поводу употребления расплывчатых и двусмысленных наименований профессий, показывают, что их распределение не случайно: в свете специфических социальных ситуаций «расплывчатость» выступает не только источником информационных помех (и «ошибок» кодирования, которые могут из них вытекать), но также — если ее проанализировать социологически — позитивной информации.

«При систематическом анализе самоназвания “заводской служащий” [...], в котором смешиваются категории “рабочий” и “служащий”, становится очевидным, что оно чаще всего относится к женщинам: в изучаемой выборке [переписи 1975 г.] их доля составляет 71 %, тогда как доля женщин среди разнорабочих — только 27 %, а среди чернорабочих — 38 %. Перечень отраслей, в которых работают эти “заводские служащие”, показывает, что речь идет часто о сельскохозяйственной и пищевой промышленности (24 %) и бумажно-картонном производстве, т. е. о секторах, размещенных чаще всего в сельскохозяйственных регионах, где рабочая сила весьма феминизирована и по своему происхождению относится в основном к сельскому населению. Все эти характеристики подчеркивают удаленность данной категории рабочей

силы от типичного рабочего, что выражается в декларируемом дистанцировании от профессии» (Thévenot, 1983, p. 210–211). Иначе говоря, выражение «заводской служащий» содержит в себе не один только риск классифицировать как служащих опрошенных, чей род занятий обычно включается в категорию «рабочие», так как такие ответы дают не любыми «рабочими», но прежде всего теми, кто этим выражением передает свою слабую социальную интегрированность в рабочий класс.

Следовательно, пластичность названий профессий, отраженная в этих примерах, не должна пониматься как простая иллюстрация двусмысленности разговорного языка. Значение слов, конечно, всегда очень сильно зависит от контекста их употребления: двусмысленность может быть составной частью социальной функции используемых слов. Так, история понятия «кадры», которая отсылает, в зависимости от контекста и потребностей, к узким или, напротив, очень широким определениям (ведь статистика «кадров» обладает большой растяжимостью), показывает, что напрасны старания уменьшить двусмысленность при помощи точной дефиниции, противопоставить «хорошую» дефиницию социолога или статистика всем прочим конкурирующим определениям. Это заведомо исключило бы анализ использования данной категории группами давления или в политической деятельности в широком смысле, а также анализ социальных «игр», тех самых, которые делают возможным ее двусмысленность и составляют основу ее социальной эффективности (Boltanski, 1982, 1983).

Таким образом, неточности или «осечки» статистического сообщения заслуживают нашего внимания не только в целях исправления или создания условий, позволяющих их сократить: эти неточности могут быть носителями социального значения, которое требует анализа, потому что оно обогащает статистическую информацию. Вот почему, если социальные науки используют статистическую информацию, то они не должны экономить на социологии статистического производства.

2.5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Практические проблемы применения статистических категорий, которые выражаются в многосложности их определений, а также в чувствительности результатов к особенностям исследования, представляют социологический интерес в той мере, в которой они позволяют сделать очевидными ставки, связанные с этими категориями, и прояснить социальные механизмы, которые действуют не только при опросах, но также и в других социальных ситуациях. Какими бы ни были теоретические интенции опроса, опрашиваемый не довольствуется ответом на вопрос, значение которого заранее установлено социологом: его ответ неотделим от смысла, который он придает или не приемлет в вопросе и таким образом участвует в объективном определении этого значения. Он обладает, однако, лишь частичным контролем над своим ответом, так как этот процесс дублируется его обработкой, а именно посредством операции кодирования, предполагающей интерпретацию кода и ответа в целях классификации. Статистическая информация является, таким образом, продуктом серии взаимодействий между различными представлениями о социальной реальности, которые могут быть в большей или меньшей степени конституированы или автономны.

Приведенные нами примеры относятся лишь к малой части операций, которые предполагает опрос. Иллюстрируя двусмысленность статистических категорий, мы затрагивали лишь работу разработчика анкеты, с одной стороны, и респондента — с другой, а также сумели отметить важность роли кодировщика, который преобразует ответы в статистические категории. Чтобы прояснить наряду со ставками, здесь разыгрываемыми, разнообразие и сложность операций, составляющих статистическую работу, нужно было бы провести эмпирическую работу по наблюдению и анализу на всем протяжении исследования. Например, в отношении интервьюеров и кодировщиков следовало бы проделать ту же работу,

которую вышеуказанные английские социологи провели в отношении деятельности по классификации, которую осуществляют коронеры и их сотрудники. Испытывая затруднения с примерами подобной работы (см., например, Merllie, 1983; Peneff, 1984, об исследованиях социального происхождения студентов), можно набросать принципиальную схему всей статистической цепи, в которой постановка вопросов и ответы являются лишь ее отдельными звеньями (Volle, 1980; Desrosières, 1986).

Любой процесс коммуникации содержит, как в игре в «испорченный телефон» (соседу шепчут какую-нибудь фразу, он передает ее своему соседу и т. д., а в конце круга сравнивают конечный и начальный варианты сообщения), многочисленные источники «недоразумений». Понятно при этом, что, когда слышат «плохо», то слышат не «невесть что», но то, что социально предрасположены услышать (особые примеры — по поводу университетской педагогики — см. Bourdieu, Passeron, Saint Martin, 1965; по поводу приема телевизионных «посланий» — см. Champagne, 1971). Разработка статистических данных отличается от других ситуаций коммуникации достаточно высокой степенью формализации, способом организации, тяготеющей к стандартизации информации, что влечет за собой достаточно значительное разделение труда по ее производству. Тем самым разработка статистических данных сближается с промышленным конвейерным производством: стандартизированный и раздробленный на мелкие операции труд большого количества действующих лиц, с большей или меньшей долей автоматизации, производит взаимозаменяемые объекты, отвечающие установленным нормам.

Статистик — это инженер (ENSAE — учебное заведение INSEE, является специализированным подразделением Высшей политехнической школы [*Ecole Polytechnique*] и кадры INSEE часто являются выпускниками ENSAE). Их профессиональное образование включает теорию опросов, первые опыты практического применения которой

Схема статистической цепочки



были обращены на контроль над промышленным производством. В соответствии с этой промышленной схемой, стандартизация должна обеспечивать однородность — а значит, сопоставимость, требование статистической обработки собранной

информации в форме таблиц и т. д.; стандартизация направлена, следовательно, на рационализацию коммуникации и сокращение источников недоразумений. Если, как при каждой передаче информации, происходит ее потеря (операция кодирования, при которой сводятся в единые категории различные ответы или ситуации, предполагает обеднение слишком богатой исходной информации), то эта потеря систематизируется и организуется в зависимости от предварительно определенных потребностей (номенклатура должна быть достаточно ограниченной, чтобы обеспечить анализ, который хотят осуществить, но нежелательно, чтобы она была слишком узкой). Разделение труда и применение средств автоматизации (используются ли они агентами или машинами) отвечают не только императивам производительности, но сами должны способствовать гомогенизации, и при ее посредстве — качеству продукта, ограничивая индивидуальную инициативу.

Но «послание», обрабатываемое по этой технологической цепи, не есть материальный продукт, способный противопоставить сопротивление материала труду по его обработке. Поэтому сама длина цепи, т. е. последовательные этапы воспроизведения, объектом которых является это послание, и использование средств автоматизации становятся фактором деформации и возникновения недоразумений, и «прогресс», ожидаемый от автоматизации, оказывается негативным. Таков пример развития техники конструирования профессиональной мобильности через год, после исследования занятости, осуществленного INSEE: в отношении уже опрошенных в предыдущем году респондентов (входящих в необновляемую выборку) первоначальный метод предписывал кодировщицам соотноситься с вопросниками предыду-

щего года для того, чтобы отыскивать там необходимую информацию и кодировать одновременно ситуации, объявленные в первый и второй раз. Затем сравнение двух ситуаций стало осуществляться непосредственно программным способом: вопросники физически больше не сличались, и кодирование мобильности представляло собой результат механического перекрещивания закодированных категорий — независимым способом, по обеим датам, что казалось не только более быстрым, но также более надежным и рациональным. Профессиональная мобильность совершила в этом случае впечатляющий скачок, который в конечном итоге привел к возвращению через несколько лет к первоначальному методу, фактически опирающемуся на взвешенный подход к людскому суждению о «реальности» изменения (в случае следующих друг за другом различных сообщений, или таких, которые содержали двусмысленности, что и приводило к различным кодировкам). Такое решение было продиктовано и тем, что та же самая анкета производит также иное измерение социальной мобильности относительно респондентов, вновь введенных в выборку, чья ситуация годичной давности становится предметом ретроспективного вопроса (в соответствии с обычной процедурой опросов о мобильности). Этот вопрос всегда ощутимо проигрывает в важности тому, который ставится при применении последовательных по времени вопросников, даже проанализированных в соответствии с первым методом (Laulhé, 1981; Seys, 1981).

Схема статистической цепочки, которая была предложена выше и которую нет возможности детально прокомментировать, имеет относительно общий вид. Она приводится с целью составить единое целое из особых случаев, которые мы смогли осветить в этой главе. Можно было бы усложнить ее, материализовав, например, раз-

нообразные виды контроля, объектом которого может быть каждый из агентов, или введя в нее возможные отклонения, как в случае с интервьюером, который, сочтя ответ неподходящим, переформулирует вопрос или попросит уточнений и объяснений перед тем, как воспроизвести измененный ответ (или же вдруг видоизменяет начальный ответ в соответствии с вновь собранной информацией). И наоборот, все указанные фазы не всегда доверяются различным агентам и могут объединяться, например, когда респондент должен сам заполнять вопросник (без интервьюера), или интервьюер должен непосредственно кодировать полученные ответы, или кодировщик должен производить машинную обработку и т. д. Для упражнения можно материализовать варианты схемы, соответствующей отдельным исследованиям, конструирование которых будет проанализировано далее. Но эта схема также подлежит продолжению: вверх — введением социальных «рамоч» (таких как запросы «политиков» и интеллектуалов, формулирующих «потребности» исследования, которые статистик должен обеспечить) и вниз — посредством последующих воздействий статистического объекта на эти социальные «рамки» и на некоторые «участки» цепочки, так как статистическая цепочки не ограничивается пределами статистической институции и имеет тенденцию функционировать по спирали.

Приведем пример, иллюстрирующий последствия распространения терминологии статистического кода респондентов: статистическая категория «средние кадры» — это «изобретение» кода социально-профессиональных категорий в 1954 г. — до такой степени вошла в разговорный язык, что многие респонденты спонтанно употребляют это выражение, отвечая на вопрос об их профессии. В этом случае в статистической цепи происходит короткое замыкание, потому что таким образом респондент детерминирует кодирование, тогда как нет никакой возможности проконтро-

лировать, что использование им термина соответствует определениям справочника (что, возможно, способствовало устранению этого термина, ставшего слишком двусмысленным, в справочнике 1982 г. «Профессии и социально-профессиональные категории»).

Заключение

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОМУ МИРУ

Процедуры статистической регистрации, как и всякая форма знания, неотделимы от разрозненных точек зрения, составляющих объекты, на которые они направлены, что не означает, будто статистические отношения лишены тем самым всякого значения. Но это значение никогда не является прямо «данным», оно проходит через анализ многочисленных операций конструирования, продукт которых есть статистические данные. Таким образом, то, что свойственно, в частности, такой официальной статистике, как статистика преступности или правонарушений, отражающей деятельность учреждений по социальному воздействию на «феномен», должно быть обобщено для использования всех статистических источников как «изготовленного продукта».

«Социолог получает свой предмет в конце сложного процесса отбора и обработки. Непосредственные характеристики, доступные его наблюдению, представляют собой частичную селекцию среди совокупности возможных характеристик (чаще всего определение пригодных к использованию переменных навязывается институцией), а также результат применяемых институцией “критериев отбора” и неясной этимологии, во имя которой она рассматривает и объясняет случай. Можно ли ана-

лизировать изготовленный продукт как сырье? Не рискуем ли мы придать правонарушителям в качестве врожденных и подлинных качеств те свойства, которым они обязаны истории своего происхождения?» (*Chamboredon*, 1971, p. 375).

Отметим, что этот текст, если он также применим к статистическим данным о правонарушениях, в действительности в более общем виде направлен на сам «феномен» правонарушений, такой, каким социолог может его видеть представляющим из иных, нежели статистические данные, документальных источников или средств наблюдения (как досье соответствующих институций или наблюдение практики их агентов). Не только «статистические данные о правонарушениях» являются объектом, предварительно сконструированным полицейской и юридической институцией, но также и сами «правонарушения». Собственно статистическое конструирование категории есть лишь особый аспект (одновременно следствие и средство) ее конструирования в качестве социальной категории. Мы не можем, следовательно, упрекать статистиков за использование лишь одного из возможных определений категории, не учитывая факта, что речь идет об определении, даваемом институцией, которая «производит» не только официальные «данные» о правонарушениях, но сами правонарушения. Социолог не выполнял бы своей работы, если бы он анализировал как «естественную» реальность то, что является конструктом, «изготовленным продуктом». Но этот изготовленный продукт — не просто вуаль, которую достаточно снять, чтобы открыть социальную реальность: существуют социальные воздействия, он сам является социальной реальностью, которая как таковая подлежит анализу. Вот почему анализ статистического конструкта может пролить свет на нечто гораздо большее, чем только статистическая институция.

То, что мы сумели показать в отношении статистических категорий и их социологического применения, есть в конечном итоге, лишь единичная иллюстрация специфики социологической точки зрения и конструирования

объекта в различных исследовательских контекстах. Социолог всегда помещен в ситуацию анализа реальности, которая ему предъявляет, в более или менее разработанных формах, представление о самой себе. Он обязан от нее дистанцироваться, но одновременно быть способным отдавать себе в этом отчет.

Мнение институций о самих себе, выражаемое действием или высказыванием их агентов или, научно перефразируя, их «экспертов», «политиков» или статистиков, всегда — это одновременно и препятствие и точка опоры, соперничающее мнение и составная часть анализируемого объекта. При чтении этой работы может, вероятно, возникнуть чувство, что социология — это эпопея, герои которой преодолевают преграды, громоздящиеся на их пути (очевидность переживаемых ситуаций и институций, готовая проблематика социальных проблем, отточенные анкеты об общественном мнении и о поведении), лишь для того, чтобы вновь столкнуться с этими преградами, ставшими еще более крутыми. Нужно уточнить, что они являются препятствием лишь тогда, когда берутся непосредственно как инструменты знания, и становятся подмогой, когда они объективируются как предметы познания: «социолог» (мифический персонаж, который связывает воедино попытки), чтобы увидеть свои очки, нуждается лишь в том, чтобы их снять.

Вероятно, статистическое производство составляет предмет социологического изучения столь же интересный, как, например, наука или производственные отношения. Если это не так, то лишь потому, что история отношений социологии со статистикой полна недоразумений.

Оппозиция сторонников и противников количественных методов, как и прочие «эпистемологические пары» той же природы, имеет результатом сокрытие того, что нужно было привести в соответствие, чтобы противопоставить. Постоянно возобновляющийся спор между «количественным» и «качественным», статистическими и другими методами на деле препятствует социологическому анализу статистического производства, поскольку обе

позиции способствуют несоциологизированному видению статистической деятельности, представляемой как однозначная точка зрения на реальность. С одной стороны, «среди причин, благодаря которым количественные методы стали ведущими в социальных науках во Франции, как и в США, главная состоит в том, что количественное представление дает иллюзию однозначности языка, исключающего двусмысленность и, следовательно, служащего целям, ориентированным преимущественно на внешнюю реальность, которая, хотя еще и не полностью познана, не вызывает сомнений как таковая» (Brenneis, 1988, p. 82). С другой стороны, движение протеста против диктата статистических методов (от Сорокина до современных адептов социологии субъективности и «повседневности»), являясь продуктом самого этого господства, непосредственно работает на «иллюзию» статистической однозначности. Когда, например, упрекают Дюркгейма в том, что, трактуя «социальные факты» как «вещи», он пренебрегает гуманистическим характером «социальных фактов», то тем самым признается, что статистика соответствует обработке «вещей», что ее категории однозначны, а методы подсчета не вызывают сомнений. В конечном счете статистика помещается в один ряд с этими негуманистическими вещами, которые исключены из поля социологии.

До тех пор пока рассуждения о статистике и ее взаимоотношениях с социальными науками будут вестись лишь в этой плоскости, есть опасность, что они не избегут альтернативы использования статистики либо как гаранта научности, либо как свидетельства ущерба в различных формах (метафизической, моральной, политической).

Лучшим средством вывести статистику из этого замкнутого пространства было бы обращение к эмпирическим работам, способствующим тому, чтобы статистическая деятельность предстала как одна из социальных конструкций, на изучение генезиса и функционирования которых направляют свои усилия историки и социологи.

Глава IV

Патрик Шампань

***РАЗРЫВ С ПРЕДВЗЯТЫМИ
ИЛИ ИСКУССТВЕННО
СОЗДАНЫМИ
КОНСТРУКЦИЯМИ***

Социолог должен иметь в виду, что социальный мир, который он изучает, сегодня все более «размечен» общественными науками. В некоторых секторах, таких как реклама или политика, социальные науки стали столь всемогущими, что иногда трудно отделить то, что является всего лишь идеологией социальных агентов, от результатов социологического дискурса. В «Методологии социологии» Дюркгейм отметил необходимость радикального разрыва между тем, что он называл «предпонятиями», являющимися «продуктами обыденного опыта [...], сформированными практикой и для практики» (Durkheim, 1895, p. 16) и собственно научными понятиями, которые вырабатывает социолог. Этот разрыв между социальными представлениями здравого смысла и научным дискурсом носит фундаментальный характер, и социолог может конструировать свои объекты, лишь отказываясь от того, что ему дается как бы *a priori*. Вместе с тем сегодня эта граница становится менее четкой и более подвижной, чем это было в конце прошлого века, когда Дюркгейм создавал основы нашей дисциплины и закладывал базу систематического социологического образования. Иными словами, современный социолог должен принимать во внимание факт существования своего рода «научного здравого смысла» — смеси продуктов обыденного сознания и социальных наук в той мере, в какой последние широко преподаются, начиная со средней школы. Каждый год появляется определенное количество трудов по социологии, причем не только книги, предназначенные для профессионалов и студентов, но и работы, рассчитанные на более широкую интеллектуальную элиту, «социологические» романы для «широкой публики» и т. д. Тем самым подверглись вульгаризации сами методы социальных наук, ее концепты и результаты. Это означает, что социолог имеет все меньше шансов видеть перед собой (например, когда он применяет метод интервью) социального агента, полностью игнорирующего социаль-

ные науки, так как их достижения имеют тенденцию вписываться в само функционирование общества.

Более того, социолог не может не знать, что существует все больше и больше полей деятельности, в которые открыто внедряются специалисты — социологи, политологи, анкетеры, социопсихологи и др., — радикально трансформирующие сферы, в которых они работают. Например, в современных дискуссиях относительно «демократизации системы образования» на первый план выдвигается тема «равенства шансов», при этом значительно меньше, чем в 60-е годы, настаивают на материальных и психологических барьерах, препятствующих школьным успехам, но акцентируют культурный характер неравенства. Эти дискуссии не были бы тем, чем они являются сегодня, если бы в шестидесятые годы не возникла «социология образования», которая установила существование собственно культурных факторов в процессе школьной селекции. Таким же образом, распространение психоанализа (пусть даже в упрощенной и искаженной версии), которое проявляется в широком употреблении его наиболее технических терминов («бессознательное», «сверх Я», «вытеснение», «трансфер», «комплекс», «инвестирование» и т. д.) содействовало, возможно, изменению психического состояния широких слоев населения (Elias, 1939) и, в частности, их отношения к воспитанию детей и деятельности таких институций, как ясли и детские сады (Chamboredon, Prévot, 1973).

Социальные науки вынуждены поэтому включать в предмет своего изучения последствия, возникающие в результате их собственного распространения. Более того, они должны учитывать существование псевдосоциологического дискурса: его влияние не менее реально и значимо.

В этом отношении пример опросов общественного мнения представляет особый интерес в силу того, что они становятся всемогущими на политической сцене и обладают всеми внешними признаками науки. Политика в том виде, в котором она предстает через прессу и особенно через телевидение, многим обязана группе специалистов,

чья работа заключается в анализе и, в конечном счете, манипуляции «общественным мнением». Каждый день осуществляются многочисленные и весьма разнообразные опросы, которые заказываются политическими деятелями и, преимущественно, печатными органами, с целью измерения избирательных пристрастий граждан, популярности политических лидеров, мнений о той или иной проблеме или правительственной мере. Журналисты в своих комментариях все более стремятся опираться на результаты публикуемых в газетах зондажей, политические лидеры используют их для оправдания тех идей, которые они защищают, или тех мер, которые они намерены принять, а их советники черпают в них информацию для разработки своих коммуникационных стратегий.

Для того чтобы показать, что же такое собственно социологическое исследование, полезно было бы проделать критический анализ той «науки», которая группируется сегодня вокруг институтов опросов общественного мнения, хотя бы потому, что ее повсеместно путают с социологией. Такой анализ поможет выявить то, что не является социологией, показывая, что настоящее научное исследование включает в себя рефлекссию, разрыв со здравым смыслом и прежде всего работу по конструированию проблематики. Он даст возможность показать, что не существует плохих или хороших опросов: есть лишь верные или ошибочные интерпретации. Более того, этот критический анализ зондажей общественного мнения полезен не только с методологической или эпистемологической точки зрения. Он необходим также потому, что такого рода практика использования опросов является сегодня главным препятствием развития самой социологии. Опросы общественного мнения, которые благодаря внешней научной атрибутике лишь придают форму обыденному сознанию, в действительности представляют сегодня новый образ социальной науки, своей властью обязанной тому факту, что удовлетворяет потребности многочисленных фракций господствующего класса, а именно политических и журналистских кругов.

1. Техника опроса — это не наука

Зондажи могут рассматриваться как простая и относительно достоверная техника. Однако этот тип опроса стремится представить себя в качестве примера настоящего научного исследования, в частности, в политической сфере, поскольку имитирует методический сбор фактов и делает вид, что ограничивается лишь их комментарием без всяких теоретических или идеологических предрассудков. Сама форма, в которой они предстают перед широкой публикой — статистические таблицы, графики или кривые, которые зачастую сопровождают публикацию результатов в прессе, — кажется, предоставляет все гарантии научности.

1.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КРИТИКА ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Публикация результатов опросов вызывала различные упреки, которые, впрочем, легко отметали специалисты по зондажам. Упреки одних относились к собственно принципу анкетирования: подвергалась сомнению сама возможность узнать, «что думают» все французы при опросе достаточно ограниченной выборки в 1000 или 2000 человек. Другие критиковали формулировку некоторых вопросов, которая сама по себе провоцирует соответствующие ответы. К критике, касающейся достоверности полученных таким образом данных, присоединялась критика не столько самих результатов, сколько влияния, которое оказывала их публикация в прессе на мнения избирателей в период предвыборных кампаний.

Что касается техники опроса, то «интервьюеры» отвечали, что речь идет о тривиальной и одновременно очень надежной технике, которая давно применяется соци-

альными науками и крупными статистическими институтами (как, например, Национальный институт статистики и экономических исследований, Национальный институт демографических исследований и т. д.). Действительно, техника опросов широко применяется в социологии и отнюдь не исключительно принадлежит институтам опросов общественного мнения. В целях быстроты и экономии лишь в самых редких случаях охватывается изучаемое население во всей его совокупности, поскольку давно известно, что достаточно провести опрос по ограниченной выборке, при условии, конечно, что население будет «правильно отобрано», чтобы на этом уровне начали проявляться социологические закономерности. Относительная точность исследований об электоральных намерениях накануне выборов, которая представляется институтами опросов как рекламный аргумент в свою пользу, как доказательство их «научности», подтверждает лишь то, что эти институты хорошо овладели техникой репрезентативной выборки (Girard, Stoetzel, 1973).

Более того, сами специалисты в области опросов утверждают, что они давно знают, что формулировка вопросов и даже порядок, в котором они задаются, могут влиять на распределение ответов, и поэтому они уделяют особое внимание составлению вопросников для того, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты (Grémy, 1987). Что касается модификаций мнений, которые могут быть вызваны публикацией зондажей в широкой прессе, то политологи весьма убедительно показали на примере электорального поведения, что лишь незначительная часть электората попадает под влияние публикаций и что, кроме того, почти половина зарегистрированных избирателей высказывается в противоположном смысле, что в конечном счете сводит эффект публикации на нет (Bon, 1974).

С определенных пор дискуссии относительно научной ценности этих исследований прекратились, но дает ли это основание считать последние безупречными с научной точки зрения? Отнюдь нет. Огромное количество

опросов, проводимых институтами опросов общественного мнения, самим фактом своего существования опровергает столь распространенное мнение относительно их достоверности. Будучи просто техникой, зондаж не может сам по себе создать условия, адекватные его использованию, поскольку они зависят от предпосылок исследования. Выбор техники исследования (вопросник, прямое наблюдение и т. п.), типа выборки (случайная, квотная и т. п.), а также формулировки вопросов составляют стратегическую проблему метода, которая должна решаться всякий раз в зависимости от того, что мы хотим узнать (поскольку существует множество точек зрения на то, что мы исследуем). Применяемые в основном в политической сфере опросы общественного мнения, публикуемые в средствах массовой информации, как мы увидим в дальнейшем, в значительной мере опосредствованы и как бы «заражены» самим объектом до такой степени, что императивы политического характера («следует по-демократически опрашивать всех», «голоса не влияют друг на друга, они должны просто складываться», «мнение большинства» определяется как «общественное мнение» и т. д.) в анкетах играют роль методологического принципа. Таким образом, если, например, массиву, составленному по репрезентативной для всего французского населения выборке, задается вопрос о международной политике, то (по крайней мере имплицитно) подразумевается, что все французы, каков бы ни был их возраст, пол, уровень полученных дипломов или профессия, интересуются международной политикой в достаточной мере для того, чтобы иметь о ней свое представление.

1.2. Высокая разнородность «опросов»

Поскольку исследование в форме зондажа является лишь техникой, состоящей, в конечном счете, в том, чтобы адресовать вопросник к некоей совокупности населения,

можно понять, что существует огромное разнообразие опросов, которые могут быть отнесены к этой технике, а также большие трудности, зачастую специально создаваемые, которые сопутствуют дискуссиям относительно их достоверности. Что общего между следующими опросами, выполненными зондажными фирмами: операциями типа «предварительные оценки», которые дают вероятные результаты, как только закрываются избирательные участки; опросами, проводимыми за несколько недель до выборов относительно «электоральных намерений» избирателей; ежемесячными опросами о популярности политических лидеров; опросами общественного мнения об отношении большинства французов к таким проблемам, как, например, «либерализм», «эффективность ядерного оружия» или «сожитительство»; опросами о распределении зрителей телевизионных программ; опросами о сексуальном поведении французов и т. д.? Между ними практически нет ничего общего, за исключением того, что все они реализованы институтами одного типа, были заказаны и опубликованы прессой и, таким образом, введены в «публичное» пространство. Таким образом, выражение «опросы общественного мнения» охватывает огромное разнообразие исследований, не имеющих никакой связи друг с другом, и чтобы оценить их научную значимость, следует их различать.

Даже самый общий анализ социального генезиса практики, позволяющий изучать, как она складывалась, развивалась и трансформировалась, демонстрирует механизм радикального разрыва с обыденными представлениями. Он позволяет увидеть, что тенденция ставить в один ряд все опросы, реализованные институтами зондажей, связана в значительной мере с тем способом, каким они последовательно навязывались средствам массовой информации, а также с теми интересами, которые могли иметь эти институты.

Во Франции первые опросы общественного мнения были опубликованы в широкой прессе («Франс-Суар») в 1965 г. во время всеобщих президент-

ских выборов. Речь шла об опросах, выясняющих электоральные намерения избирателей накануне выборов. К удивлению политических комментаторов они показали, что генерал де Голль не должен набрать большинства голосов в первом туре. Во время тех же выборов по периферийному радио* была проведена операция по «предварительным оценкам», предназначенная для подсчета предварительных результатов выборов сразу же после закрытия последних избирательных участков в 20 часов.

Относительная точность этих предсказаний, возрастающая точность предвыборных опросов и предварительных оценок, которые выводились на основе частичного подсчета избирательных бюллетеней, способствовала формированию доверительного отношения к институтам общественного мнения и, соответственно, ко всем опросам, которые они могли бы проводить. «Анкетеры» отныне могут, как только закрываются избирательные урны с бюллетенями, объявить «избранным» кандидата в президенты, и представить его как победителя по данным предварительных расчетов, даже если расхождения в процентах голосов, полученных противостоящими кандидатами, не превышают одного или двух пунктов, как это было во время выборов 1981 г. Итак, можно заметить, что даже если предвыборные опросы грамотно используют технику зондажа, то они не опираются на «мнения» в буквальном смысле слова и еще менее на то, что сегодня называют «общественным мнением». Опрос об электоральных намерениях накануне проведения выборов на деле собирает информацию, касающуюся намерений поведения, поскольку анкетированных не просят высказывать свое мнение в буквальном смысле слова, а просят сказать, за какого политика или политическую партию они намерены голосовать. Эти опросы проводятся в реальной ситуа-

* Система заграничного радиовещания Франции. — *Примеч. пер.*

ции, которая реализуется в ходе избирательной кампании, цель которой, впрочем, и состоит в политической мобилизации избирателей. Иными словами, в данном случае мы имеем дело с опросом, который ограничивается тем, что подготавливает к выборам за несколько дней или недель до дня выборов репрезентативную выборку избирателей. Речь идет о простом предсказании, которое, таким образом, ограничивается тем, чтобы зафиксировать и измерить феномен политической жизни, существующий независимо от созданной опросом ситуации. Источники возможных ошибок носят лишь технический характер и могут быть связаны либо с ошибкой в формировании выборки, либо с уклонением анкетированных от ответов. Полученные результаты, впрочем, сравниваются с реальными результатами выборов, что позволяет измерить систематические перекосы, которые могут возникать во время опроса, и тем самым их «исправить» (известно, например, что результаты голосования за экстремистские партии объявляются не полностью). Что касается расчетов по «предварительным оценкам», то они в еще большей степени сведены к простой технической операции. Она строится на основе частичного подсчета избирательных бюллетеней, реально опущенных в урны, и позволяющего продуманно предсказать, с учетом определенной вероятности ошибки, результаты полных подсчетов.

Мнения или артефакты

Специалистам в области социальных наук давно известно, что на ответы вопросника могут влиять определенным образом сформулированные вопросы и порядок их следования. По мере накопления опыта оказалось возможным даже производить учет и измерение определенного числа таких эффектов, которые выражаются иногда, как показывают три нижеприведенных примера, заимствованных из статьи Жан-Поля Грени, в виде

значительных расхождений в распределении ответов. Тем не менее не подразумевает ли этот тип сравнения, каким бы полезным он ни был, что существует «хорошая» формулировка вопросов, позволяющая уловить «настоящие мнения»? Если предположить, что не существует самих по себе «хороших» вопросов, а только более или менее точные интерпретации того смысла, который следует придать ответам на заданный вопрос, то нужно произвести решительное смещение смысла критического анализа и в конечном счете спросить себя, не обречено ли анкетирование в этой области на сбор не столько сложившихся мнений, сколько простых реакций на ситуацию опроса.

Пример № 1

Сравнение совокупности уравновешенных и неуравновешенных вопросов

Вопрос: Считаете ли вы, что сегодня государство реально ориентировано на проведение политики экономии энергии?

	Форма А	Форма В
да, очень серьезно	4,5%	
да, но осторожно	22,0%	
да, но время от времени	13,0%	23,0%
да, но несогласованной	26,5%	
<hr/>		
да (всего)	66%	
нет	27,0%	50%
не знаю	6,0%	22,0%
нет ответа	1,0%	5,0%
	100%	100%
	(N= 280)	(N=280)

LSD, июль–август 1983 (почтовый опрос) ($\chi^2=103,94$ $df=3$ $p<0,001$)

Источник: *Juan S. L'ouvert et le fermé dans la pratique du questionnaire. Analyse comparative et spécifiés de l'enquête par correspondance // Revue française de sociologie. № 27 (2). Avril–juin 1986. P. 301–316; 304–305.*

Пример № 2

Воздействие вопроса с приведением примера
на распределение ответов

Вопрос. Форма А: Шесть европейских стран — Германия, Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Швейцария заключили соглашение об «общем рынке». В частности, предусматривается свободная циркуляция рабочей силы между шестью странами, т. е. любой человек при желании может поселиться и работать в другой стране. Считаете ли Вы, что свободное перемещение трудящихся это хорошо, плохо или не имеет значения?

Вопрос. Форма В: Шесть европейских стран — Германия, Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Швейцария заключили соглашение об «общем рынке». В частности, предусматривается свободная циркуляция рабочей силы между шестью странами, т. е. любой человек при желании может поселиться и работать в другой стране. Например, итальянцы или немцы смогут поселиться во Франции, а французы смогут работать в Италии или Германии. Считаете ли вы, что свободное перемещение трудящихся это хорошо, плохо или не имеет значения?

	Форма А	Форма В
это хорошо	61 %	48 %
это плохо	18 %	25 %
это не имеет значения	9 %	12 %
не ответили	12 %	15 %
	100 %	100 %
	(N=1142)	(N=1126)

INED, март–апрель 1962 ($\chi^2=39,15$ dl = $3p<0,001$)

Источник: *Girard A., Bastide H.* Niveau de vie, emploi et croissance de la population // *Population*. № 17 (4). Octobre–décembre 1962. P. 663.

Пример №3

Влияние порядка, в котором вопрос размещен
в вопроснике, на распределение ответов

Вопрос: Считаете ли вы, что в целом уровень рождаемости в настоящее время во Франции слишком высок, недостаточно высок или достаточен?

	Начало вопросника	Конец вопросника
слишком высок	38%	29%
достаточен	51%	56%
недостаточно высок	6%	6%
не ответили	5%	9%
	100%	100%
	(N=1152)	(N=1166)

INED, декабрь 1959 — январь 1960

Источник: *Girard A., Bastide H.* Les problèmes démographiques devant l'opinion // *Population*. № 15 (2). Avril–mai 1960. P. 264, note 1.

Примеры заимствованы из статьи: *Grémy J.-P.* Les expériences françaises sur la formation des questions d'enquête. Résultats d'un premier inventaire // *Revue française de sociologie*. Vol. XXVIII. 1987. P. 567–599.

1.3. Незаконные обобщения

Успех такого рода опросов в значительной мере расширил их применение. Но по мере того как их техника расширяла пространство своего вторжения, природа данных,

которые она позволяла собирать, менялась и становилась все более уязвимой с научной точки зрения. Некоторые зондажи стремились не столько выяснить мнения, сколько сообщить о поведении, как, например, в случае анкет, посвященных различным формам досуга французов, практике их повседневной жизни, их сексуальному поведению и т. п. Здесь речь пойдет об анкетах, не вызывающих сомнения, хотя иногда и они сталкиваются с серьезными проблемами технического характера, поскольку респонденты, в зависимости от темы опроса и от их собеседников, как известно, не всегда сообщают обо всем, что делают, и наоборот, не всегда делают то, о чем говорят.

Первые, почти неощутимые «методологические отклонения» начались, когда институты опросов общественного мнения под влиянием конкуренции и поисков сенсаций со стороны средств массовой информации, обратились к анкетам, касающимся избирательных намерений, но в периоды, далекие от всяких электоральных кампаний (например, через несколько недель после одних выборов и задолго до следующих), когда, конечно, невозможно было предвидеть, какими могли бы быть противоборствующие политические лидеры и основные темы, на которых они могли бы строить свои программы. В данном случае опрос в какой-то мере создает ситуацию, рассчитанную просто на измерение, поскольку голосование в реальности неразрывно связано с предвыборной кампанией, которая ему предшествует, и чьей задачей как раз и является определение ставок на выборах, мобилизация активных и убеждение еще колеблющихся избирателей. Получая ответы вне электоральной ситуации, подобные опросы стремятся собрать ответы более или менее конъюнктурные и даже чисто игровые.

В качестве примера можно было бы сравнить результаты различных зондажей, которые в течение нескольких лет до президентских выборов 1988 г. сообщали о потенциальных шансах различных кандидатов, с реальными результатами выборов.

В частности, можно было бы сравнить шансы, которые эти опросы давали Раймону Барру и Жан-Мари Ле Пену, с реальными голосами, полученными ими на выборах.

Однако значительная часть зондажей, заказываемых и распространяемых прессой, носит иной характер: они претендуют на изучение «мнений» французов. Здесь речь не идет ни о том, чтобы за несколько дней до выборов предсказать результаты голосования, ни о том, чтобы изучить типы практик. Их задача — определить, «что думают французы», например, об основных политических лидерах и их шансах на успех (различные квоты или рейтинги, измеряющие популярность политиков) или каково мнение французов относительно дебатов, ведущихся в политических кругах и в средствах массовой информации. В результате сегодня более не существует областей, которые не могли бы стать предметом опроса общественного мнения. К любому человеку, каков бы ни был его возраст, пол, профессия, уровень образования или, проще, его интерес к поставленным интервьюерами вопросам, могут обратиться с просьбой высказать мнение по всевозможным темам те, кто в состоянии заплатить институтам опросов общественного мнения (что все же лимитирует, но в социальном смысле, поле реально задаваемых вопросов). Анкетирование по вопросам выборов и оценочные подсчеты основываются только на статистической теории зондажа. Опросы же общественного мнения в буквальном смысле слова, получившие распространение на протяжении последних двадцати лет, наоборот, основываются на более или менее эксплицитной теории мнений, которая носит социологический характер и которая, хочет она того или нет, касается получения, производства и выражения мнений. Этот аспект опросов «общественного мнения» будет рассмотрен ниже.

2. Социология и опросы общественного мнения

Техника собственно зондажей общественного мнения (имеются в виду лишь опросы мнений, оставляя в стороне предвыборные опросы и опросы, изучающие поведение, поскольку перед ними стоят другие проблемы) уже давно отработана и ее отличают две основные характеристики. С одной стороны, опрашиваемое население систематически конституируется с помощью выборки, насчитывающей от 1000 до 2000 человек, являющейся репрезентативной для всего имеющего право голоса населения страны. С другой стороны, вопросы, которые задаются относительно мнения, почти всегда являются так называемыми «закрытыми», т. е. такими, в которых опрашиваемых просят сказать «да» или «нет» относительно мнения, уже сформулированного институтами опросов. Эти две установки с технической точки зрения безусловно оправданы: представляется желательным, особенно в политической сфере, чтобы выборка была представительна для всех категорий населения. Что касается техники закрытых вопросов, то она оправдана высокой скоростью заполнения вопросника и однородностью полученных таким образом ответов, что позволяет их почти моментальную обработку на компьютере. Тем не менее за этими моментами глубоко технического свойства стоит теория мнения, которая далеко не полностью верифицирована.

2.1. ВЫБОРКА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

Когда ставится задача узнать, «что думают французы» относительно политических вопросов, таких, например, как необходимые изменения системы социального стра-

хования, политики национальной обороны или системы образования, для институтов опросов общественного мнения представляется «естественным» опрашивать выборку населения, представительную для основной массы населения, имеющего право голоса. Между тем такая логика подспудно предполагает в форме постулата политического характера, что по этим сюжетам все граждане имеют мнение и более того, в силу их статуса гражданина, должны его иметь. С научной точки зрения за этим скрывается позиция весьма спорная: следует ли «демократично» опрашивать всех граждан, или же собирать мнения только тех, кто желает высказаться? Тот институт опросов общественного мнения, который решит опрашивать только тех, кто спонтанно выразит желание высказать свое мнение по какой-либо проблеме, будет немедленно осужден его конкурентами и политическими кругами одновременно в плане сугубо методологическом (нерепрезентативная выборка) и, особенно, в плане политическом (технократическая и даже элитаристская идеология).

Институты опросов общественного мнения претендуют на то, что, строго придерживаясь специфической техники, они измеряют более достоверно (чем это делают, основываясь на интуиции, политические деятели и журналисты) «настоящее общественное мнение», мнение всего народа, которое существует в его недрах и которое невозможно узнать спонтанно, поскольку оно не всегда проявляется видимым образом (знаменитое «молчаливое большинство») и вдобавок очень изменчиво. С социологической точки зрения невозможно допустить а priori, что все люди по всем вопросам имеют уже сложившееся мнение или, по крайней мере, способны его моментально сформулировать. Это не эмпирически проверенный факт, а некое предположение чисто политического свойства. Парадоксальным образом, в этой сфере чаще всего именно те выборки опрашиваемых, которые методологи считают наименее репрезентативными с формальной точки зрения, т. е. такие, которые формируются спонтанно, без

всякого вмешательства институтов опросов общественного мнения, с социологической точки зрения наиболее достоверны, поскольку они являются «репрезентативными» для реально существующих мнений и реально имеющих в наличии социальных сил по данной проблеме. Двусмысленность заключается, как мы видим, в том значении, которое сообщается требованию совершенно законному, но пустому — «представительности». Безусловно, формируемая выборка должна быть репрезентативной, но следует спросить, в отношении чего? Только ли для какого-либо населения или все-таки для социальных сил, весьма неравномерно распределенных, на которые делится это население?

Опросам, более или менее безупречным с технической точки зрения, которые уполномочены представлять всех французов; всем тем опрашиваемым, которые очень часто дают ответы лишь потому, что специализированные институты мобилизовали сеть интервьюеров для их опроса, заставляя тем самым опрашиваемых думать, что их соображения достаточно важны, чтобы о них спрашивать, можно противопоставить иные группы населения. Такие группы различаются по размерам и социальному составу, по проблемам и целям, которые они защищают, эти группы мобилизуют свои силы в различных формах для пропаганды своих мнений, они стремятся навязать их всем и для этого предпринимают различные шаги, чтобы эти мнения стали известны общественности, организуя, например, уличные манифестации, подписывая петиции, создавая ассоциации защиты или комитеты поддержки, рассылая письма протеста в газеты и т. д. (Boltanski, 1984).

Выбор населения для опроса никогда не бывает нейтральным, он очень сильно предопределяет, особенно в том, что касается мнений, распределение полученных ответов. Это не означает однако, что все выборки стоят друг друга и что все они в одинаковой степени случайны. Они представляют столько точек зрения на предмет исследования, что необходимы дополнительные пояснения,

чтобы определить, какая из них верна. Во всяком случае, систематические опросы, проводимые практически всеми институтами опросов по выборкам, репрезентативным для совокупности французского населения, независимо от предмета исследования, препятствуют получению действительных мнений индивидов, которые бы не провоцировались исключительно ситуацией интервью. Безусловно, крайне редко можно сказать *a priori*, какое население следует выбрать для опроса. Вопрос об адекватной выборке следует ставить для каждого отдельного опроса, помня, что чаще всего решение станет очевидным, когда его реализация уже продвинется достаточно далеко. Это может казаться парадоксом или методическим замкнутым кругом лишь тем, кто членит исследование на последовательные и независимые операции, как то: гипотезы, формирование выборки, анкета, подсчет данных и результаты. Это означает, что в случае опроса общественного мнения, еще до того, как комментировать ответы, полученные в ходе его проведения, и даже до того, как подсчитать, сколько опрошенных высказались «за» или «против», и превышает ли число «да» число «нет», следует установить связь между полученными ответами и структурой населения, которое было опрошено.

Приведем два примера того, какое влияние на результаты опроса оказывает выборка опрашиваемого населения. Первый касается проблем образования. Предстояло выяснить мнение относительно предстоящей реформы (о текущем учебном годе, об изменении содержания и методов обучения, о профессиональной подготовке, селекции, о зарплатах преподавателей и т. д.). Кого следует опрашивать? Поскольку можно предположить, что проблемы воспитания интересуют почти всех (по крайней мере тех, у кого есть дети или внуки школьного возраста, а также преподавателей), было решено опрашивать всех. До возникновения институтов опросов общественного мнения понятие «все» обозначало бы, что поскольку вопросы задаются всем (через прессу, радио или, например, телевидение), то каждый может, если он тог

пожелает, ответить на них. Институты общественного мнения позволяют провести опрос научнее, т. е. попросить ответить всех, опрашивая репрезентативную выборку, и попытаться получить ответы тех, кто иначе не стал бы высказывать свое мнение. Но стараясь уловить мнения по-настоящему действенные, т. е. такие, которые стремятся стать всеобщими и превратиться в настоящие форс-идеи, опрос, который был предпринят вскоре после университетского кризиса в мае 1968 г., принял форму «обширного национального опроса». Анкета из 20 вопросов была опубликована практически во всех национальных ежедневных изданиях, а также в ведущих журналах. Читатели, если они того желали, могли, таким образом, заполнить анкету и отослать ее в ассоциацию, созданную для сбора и обработки ответов. Таким путем было возвращено 10 000 анкет, что для такого типа «почтового» опроса, является хорошим показателем мобилизованности населения вокруг проблем школы, существовавших в тот момент. Эта «случайная» выборка и мнения, которые были высказаны, оказались значительно более убедительными, чем более или менее неправдоподобные ответы, которые были бы получены, если бы опросом была охвачена репрезентативная выборка, в силу того, что «случайная» выборка вовсе не является чисто «произвольной», совсем наоборот. Об этом уже писал Пьер Бурдьё, который проводил этот опрос: «Охотнее всего на вопросы о системе образования отвечают те, кто чувствуют, что они уполномочены говорить от своего имени, и те, кто более непосредственно связаны с ней. В результате получается, что вероятность ответов, которая существенно сильнее выражена у мужчин, чем у женщин, [...] а у парижан сильнее, чем у провинциалов, очень близка к объективным шансам определенного социального класса обеспечивать поступление их детей в *Grandes Ecoles*». Кроме того, автор замечает, что эта категория отвечающих, «где различные группы представлены пропорционально их претензиям воздействовать на систему образования, полностью репрезентативна для самолегитим-

ной группы давления, которая постоянно воздействует на все уровни системы, на ее ориентацию таким образом, что выражаемые ею форс-идеи позволяют предвидеть все, что произойдет в дальнейшем» (Bourdieu, p. 481).

Второй пример касается одной из тех многочисленных журналистских анкет, которые в конце года стараются установить список лучших книг, фильмов, ресторанов и т. п. или дают прогнозы относительно деятелей культуры и политики, у которых, как считается, «есть будущее» и которые как бы должны достичь вершин в своей профессии. Обычно эти рейтинги представляются как субъективный выбор журналистов или опрашиваемых ими лиц. Подобные суждения все чаще заменяются процедурами опросов, претендующими на большую объективность и научность. Аналогичный опрос (также проанализированный Бурдьё, 1984) был реализован литературным ежемесячником (журнал *Lire*, № 68, апрель 1981 г.), который задался вопросом выяснить, существуют ли еще «властители дум», какими были Андре Жид, Камю, Сартр? Для ответа на этот вопрос журнал обратился к «нескольким сотням писателей, журналистов, профессоров, студентов, политиков и т. д.» со следующим вопросом: «Назовите трех ныне живущих интеллектуалов (мужчин или женщин), пишущих на французском языке, чьи работы, по вашему мнению, оказывают глубокое влияние на развитие идей, литературы, искусства, науки и т. д.». Вопрос был разослан 600 деятелям культуры. Список из 448 человек, ответивших на вопрос, и их ответы был опубликован. Он включает в себя 21 академика, 66 писателей, 34 писателя-преподавателя, 43 преподавателя, 34 студента, 34 специалиста по литературе, 92 журналистов, работающих в прессе и 40 журналистов радио и телевидения, 44 художника, 14 политических деятелей, 16 — «разных» (религиозных деятелей, публицистов, культурных атташе и т. д.) и 10 человек, оставшихся анонимными. Полученный рейтинг, который претендовал на научность по типу зондажа общественного мнения, смог установить лишь влияние Леви-Стросса, Арона и Фуко.

Вердикт

Существуют ли еще властители дум? Нынешние Андре Жид, Камю, Сартр? Журнал «Life» опросил несколько сотен писателей, журналистов, профессоров, студентов, политических деятелей и т. д.

Был задан следующий вопрос: «Назовите трех ныне живущих интеллектуалов (мужчин или женщин), пишущих на французском языке, чьи работы, по вашему мнению, оказывают глубокое влияние на развитие идей, литературы, искусства, науки и т. д.».

Опрошенные ответили, продемонстрировав свое замешательство и никому не отдав абсолютного предпочтения. Но признано влияние Леви-Стросса, Арона и Фуко.

1. Клод Леви-Стросс — 101
2. Реймон Арон — 84
3. Мишель Фуко — 83
4. Жак Лакан — 51
5. Симона де Бовуар — 46
6. Маргерит Юрсенар — 32
7. Фернан Бродель, историк — 27
8. Мишель Турнье, романист — 24
9. Бернар-Анри Леви, философ — 22
Анри Мишо, поэт — 22
10. Франсуа Жакоб, биолог — 21
11. Самюэль Беккет, драматург и романист — 20
Эммануэль Ле Руа Ладюри, историк — 20
12. Рене Жирар, философ — 18
13. Луи Арагон, поэт, романист, политический деятель — 17
Анри Лаборит, биолог — 17
Эдгар Морэн, социолог и философ — 17
14. Е. М. Сьоран, эссеист и этик — 16
Эжен Ионеско, драматург — 16
15. Маргерит Дюрас, романистка и кинематографистка — 15

- Роже Гароди, философ и политический деятель — 15
Луи Лепрэнс-Ринге, физик — 15
Мишель Серр, философ — 15
16. Жюльен Грак, романист — 14
Филипп Соллерс, романист — 14
17. Луи Альтюсер, философ — 12
Клэр Бретешер, карикатуристка — 12
Рене Шар, поэт — 12
Жиль Делез, философ — 12
Жорж Дюби, историк — 12
Владимир Янкелевич, философ — 12
Ж. М. Г. Ле Клезио, романист — 12
Альфред Сови, экономист — 12
18. Жорж Дюмезиль, историк религии — 11
Жан-Люк Годар, кинематографист — 11
19. Жан Бернар, врач — 10
Пьер Булез, композитор, дирижер — 10
Пьер Бурдьё, социолог — 10
Альвер Коэн, романист — 10
Андре Глюксман, философ — 10
Рене Хайк, искусствовед — 10
Леопольд Седар Сангор, поэт и политический деятель — 10

Lire. № 68. Avril 1981. P. 38–39

Как охарактеризовать такого рода опросы и полученные таким образом рейтинги? Как это часто бывает, они несут на себе печать «науки от здравого смысла», по крайней мере, претендуют на «большую научность» и «большую методологичность», чем спонтанные рейтинги социальных агентов. Действительно, поскольку задача этого опроса заключалась в том, чтобы определить наиболее «значимых» интеллектуалов, вполне логичным казалось бы провести опрос среди широкой выборки репрезентативных представителей интеллектуальной жизни и попросить каждого назвать три имени, складывая

полученные «голоса» указанных интеллектуалов. Это дало бы возможность предложить список победителей, который представляется объективным, поскольку носит коллективный и анонимный характер. Однако можно ли считать, что таким образом литературный журнал провел настоящий референдум в интеллектуальных кругах, который отныне может считаться безусловным суждением интеллектуального сообщества о самом себе? В данном случае социолог обязан деконструировать этот полунаучный продукт и вскрыть все неосознанные предрассудки, заложенные в таких опросах. Иными словами, этот тип опросов говорит больше о тех, кто их проводит, чем об изучаемом предмете, и больше о структуре выборки опрошенных, чем о распределении полученных ответов.

Ниже мы проанализируем формулировку вопроса и поразмышляем о самой идее «классификации» «интеллектуалов». Потребность опросить все категории населения, которые, по крайней мере по мнению авторов опроса, призваны представлять интеллектуальные круги, привела к селекции выборки, которая, тем не менее осталась очень разнородной. Можно усомниться в возможности ставить в один ряд путем анонимного сложения, ответы академиков и учителей, учащихся выпускных классов и профессоров Коллеж де Франс, провинциального писателя и свободного художника, радиокомментатора и политика, и т. д. Является ли единой для всех сама категория «интеллектуала» (обращение к опрошенным подразумевает, что они знают, что это такое). Самим фактом отбора групп, которые были сочтены компетентными, чтобы высказать свое мнение, была предопределена окончательная классификация.

С педагогической и методологической точек зрения, этот опрос в определенном смысле является «образцовым». Он представляет собой своего рода завершенную и потому особенно убедительную модель псевдонауки, которая доводит до крайности логику опросов общественного мнения. Однако в отличие от обычной прак-

тики зондажей, этот опрос был обращен к лицам по всей видимости компетентным, которые, следовательно, изначально способны отвечать на заданный им вопрос, однако ответили лишь те, кто, как при случайной выборке, этого хотел. Несмотря на эти методические предосторожности очевидно, что разнородность мнений ответивших по-прежнему настолько велика, что механическое сложение полученных ответов и установление «рейтинга» стало абсурдным с научной точки зрения. Таков глубоко скрытый эффект, производимый повседневной практикой опросов общественного мнения: под видимостью сбора мнений эти опросы с их выборками населения, имеющего право голоса, создают (для того чтобы судить обо всем) новую инстанцию — «народ», которая выглядит объективной, поскольку коллективна и анонимна.

2.2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ «НЕ-ОТВЕТОВ»

Руководители институтов общественного мнения могли бы возразить, что применение неспецифической выборки корректируется автоматически через отказы отвечать и позицию «нет ответа», которые предусмотрены для каждого вопроса. Поскольку не всегда возможно априорно определить категории населения, в достаточной мере заинтересованные или сосредоточенные на проблеме, предложенной для выражения мнения о ней, то естественно было бы считать правильным методом систематический опрос всех, при условии, что тем, кто не имеет мнения, предоставляется возможность сообщить об этом. Поскольку, как и в случае упоминавшегося выше опроса по проблемам образования, выборка респондентов носит «случайный» характер, можно было бы вообразить, что все отвечающие по определению имеют

какое-то мнение, однако, все-таки это не дает гарантии, что высказались все, кто имеет мнение. И наоборот, если опрашивать население по репрезентативной для генеральной совокупности всего населения выборке, следует быть готовым к тому, что более или менее значительные фракции этой выборки не имеют мнения по вопросу, поставленному в исследовании. Это рассуждение методологического характера, которое сегодня может показаться кому-то слишком очевидным, длительное время сталкивалось и еще продолжает сталкиваться с оценочным суждением, которое, не принимая в расчет необходимость существования такого типа «ответа» и не стремясь понять его смысл, с сожалением констатирует и критикует «апатичное» поведение «болота», безразличного к крупным общественным дискуссиям (Lancelot, 1981). На самом же деле позиции «неответившие» следует придавать позитивный смысл, поскольку она точно указывает на наличие или отсутствие у опрашиваемых уже сконструированных ответов, точнее, она является показателем способности, неравномерно присущей различным социальным группам, производить мнение, или, по меньшей мере, производить ответ на вопрос, предполагающий оценочное суждение. Прежде чем узнать, кто за и кто против, например, самоуправления на предприятии или классифицировать «левых» и «правых», необходимо узнать процент «неответивших» на вопрос. Социологический анализ показывает, что свойственная каждой социальной группе способность, давать ответы неразрывно связана с технической (в смысле «быть способным») и социальной («чувствовать себя способным») компетентностью. Следовало бы также оценить обоснованность и степень убедительности мнений, собранных такого типа опросами. Систематический анализ совокупности опросов общественного мнения показал, что способность иметь или производить личное мнение далеко не одинакова и варьируется в зависимости от социальных свойств отвечающих и характера вопросов (Bourdieu, 1979, p. 463–480):

мужчины отвечают чаще, чем женщины, молодые чаще, чем пожилые, горожане (и особенно парижане) чаще, чем сельские жители, дипломированные специалисты (особенно в сфере высшего образования) чаще, чем недипломированные, лица, занимающие высокое социальное положение, чаще, чем другие. Эти различия, которые связаны с социальными свойствами отвечающих, носят тем более выраженный и очевидный характер, чем более вопросы касаются удаленных от повседневного опыта областей и чем в более абстрактной форме ставятся проблемы.

Варьирование процента «неответивших» регулируется далеко не случайным образом и, следовательно, оно систематично и согласованно. Это можно показать на примере анкеты, реализованной в 1971 г. SOFRES по теме «Франция, Алжир и Третий мир» (Bourdieu, 1979). Здесь мы будем принимать во внимание лишь изменение процента неответивших в зависимости от пола, помня, что анализ был бы еще более точным, если учитывать уровень диплома или социального положения.

Вопрос 1, который не является исключительно политическим, выявляет незначительную зависимость между процентом неответивших и полом. На вопрос «Предпринимает ли Франция достаточно усилий для размещения иностранных работников?» женщины отвечают почти так же часто, как мужчины (85% в обоих случаях), «для их профессиональной подготовки» (70% против 75%), «для гостеприимного приема» (80% против 83%), «для обеспечения их достаточными зарплатами» (77% против 83%). Мы видим, что расхождения в частоте ответов между мужчинами и женщинами незначительны, когда речь идет о проблемах, которые могут восприниматься как этические, и в которых женщина почти столь же компетентна, как и мужчина.

Процентные соотношения неответивших в зависимости от пола

1. В настоящее время во Франции находится большое число иностранных работников, часто они заняты на тяжелых работах. Считаете ли вы, что Франция предпринимает достаточно или недостаточно усилий для того, чтобы...

	достаточно	недостаточно	нет ответа
они могли снимать жилье			
мужчины	30	54	16
женщины	27	57	16
они могли получить профессиональную подготовку			
мужчины	34	41	25
женщины	31	39	30
обеспечить им гостеприимный прием			
мужчины	47	36	17
женщины	40	40	20
дать им приличную зарплату			
мужчины	44	39	17
женщины	37	40	23

2. В свете франко-алжирских отношений, считаете ли вы желательным, чтобы Франция продолжала политику кооперации с Алжиром?

	да	нет	нет ответа
мужчины	44	39	17
женщины	37	40	23

3. Среди различных групп слаборазвитых стран должна ли Франция уделять особое внимание...

	да	нет	нет ответа
самым бедным странам			
мужчины	70	18	12
женщины	74	14	12
своим бывшим колониям			
мужчины	50	37	13
женщины	41	39	20
странам, чья внешняя политика близка внешней политике Франции			
мужчины	56	24	20
женщины	48	20	32
странам с демократическим режимом			
мужчины	40	34	26
женщины	25	34	41

И наоборот, женщины гораздо менее, чем мужчины, склонны отвечать на вопрос 2, т. е. на вопрос, который представляется значительно более политическим: лишь 75% женщин против 92% мужчин ответили на вопрос о «продолжении политики кооперации с Алжиром», который — и сам вопрос на это указывает — относится к чистой политике, поскольку международные проблемы более далеки от повседневного опыта, чем внутренняя политика.

Но вопрос 3 показывает также, что если абстрактная проблема сотрудничества переносится в плоскость этики, и даже благотворительности — области, которую традиционное разделение труда между полами отдало на откуп женщинам, этим знатокам по части сердечных и душевных переживаний («Должна ли Франция, по вашему мне-

нию, обращать особое внимание на разные группы слаборазвитых стран?»), то женщины отвечают в той же пропорции, что и мужчины (т. е. 88%). Однако если вводится в большей степени политическая специфика и более абстрактная формулировка в вопросе о том, «должна ли Франция интересоваться странами с демократическим режимом», то доля ответивших женщин очень сильно снижается и сокращается до 59% против 74% ответивших мужчин.

2.3. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОТВЕТОВ

Распределение ответов, получаемых в ходе проведения опроса общественного мнения с помощью вопросника, зависит не только от структуры охваченного выборкой населения, но и от формулировки вопросов. Если порядок, в котором задаются вопросы, лишь незначительно влияет на получаемые ответы, то решающее воздействие оказывает сама формулировка вопроса. В этом отношении различают два типа вопросов. Существуют, с одной стороны, вопросы «открытые» в том смысле, что они оставляют за опрашиваемыми необходимость самому сформулировать ответы. Например: «Как, по вашему мнению, можно наиболее плодотворно улучшить взаимопонимание между французами и эмигрантами?» С другой стороны, существуют так называемые «закрытые» вопросы, предусматривающие некоторое число возможных ответов, из которых должны выбирать анкетлируемые (предыдущий пример превратится в закрытый вопрос, если на выбор анкетлируемым будет предложено определенное число решений, например, таких: «эмигранты сами должны стараться жить как французы; следует организовывать встречи между французами и эмигрантами в тех кварталах,

где они живут вместе; нужно, чтобы эмигранты группировались между собой; и т. д.»). Институты опросов общественного мнения как правило редко используют открытые вопросы (за исключением пробных опросов, если они их проводят) и предпочитают закрытые вопросы не только потому, что последние обеспечивают более быстрое заполнение анкеты (опрашиваемые должны лишь одобрить уже готовые мнения, которые им предлагаются) и составляют своего рода предварительную кодировку, которая обеспечивает более быструю информационную обработку ответов и, следовательно, их публикацию в прессе. Дело в том, что этот технический выбор оказывает практическое воздействие на распределение ответов и, особенно, на величину ответивших. «Открытые» вопросы предполагают, что опрашиваемые сами производят свои ответы, что увеличивает их шансы стать действительно «персональными» мнениями. «Закрытые» вопросы, наоборот, имеют целью помочь опрашиваемым, но никогда не дают уверенности в том, что предложенные мнения полностью ими понятны и что выбранный ответ является действительно мнением, а не просто формальным и случайным ответом. Вопросы, которые задают институты общественного мнения, часто бывают очень длинными и очень сложными, тогда как ответы почти всегда сведены к простой реакции одобрения или отрицания, выражаемой в виде крестика в заранее предусмотренной ячейке, причем опрашиваемых никогда не просят объяснить или обосновать ответы. В таких вопросниках все сделано таким образом, чтобы всегда было возможно что-нибудь ответить, даже если анкетировемый ничего или почти ничего не знает о проблеме, поднятой в опросе. Как и на политических выборах, отказавшимися отвечать оказывается лишь несокращаемая минимальная часть индивидов, которые демонстрируют таким образом полное отсутствие интереса к вопросу («абсентеисты») либо выражают через эту аномальную и анархистскую защитную реакцию сопротивление вопросу со стороны тех, кто незащищен и неорганизован.

Несмотря на то, что все вопросы о мнении формально предусматривают позицию «нет ответа» (или «не знаю» или «нет мнения»), опыт показывает, что недостаточно обеспечить возможность не отвечать для того, чтобы быть уверенным, что все случаи действительного отсутствия мнения были полностью зарегистрированы. Прежде всего потому, что институты опросов общественного мнения не стремятся придавать этой позиции особого значения, так как отказ или невозможность ответа «есть большое место, крест и нищета институтов анкетирования, которые употребляют все средства для того, чтобы их сократить, свести до минимума, и даже скрыть» (Бурдые, 1994, с. 222).

Для институтов опросов общественного мнения высокий процент неответивших на вопрос означает своего рода провал, поскольку этот процент снижает значимость распределения действительных ответов (по крайней мере, с точки зрения заказчиков). Вопрос, который собирает более 50% неответивших, как, например, тот, что предлагал французам проголосовать за претендентов, выставивших свои кандидатуры на пост президента... США, оценивается специалистами по опросам как «плохой вопрос». Чтобы можно было говорить об «общественном мнении», вызвать хотя бы минимум доверия к этой новой политико-научной инстанции, а опросы, которые претендуют на его измерение, имели смысл для политических и журналистских кругов, необходимо, чтобы большая часть опрошенных лиц самоопределялась по отношению к вопросам, которые им подкидывают. Поэтому институты опросов общественного мнения просят своих анкетеров делать так, чтобы интервьюируемые, не имеющие готового мнения, не спешили отказываться от ответа, но «подумали бы», прежде чем выбрать среди всех возможных предложенных ответов. Сама формулировка некоторых вопросов имеет тенденцию поощрять недооценку действительно не ответивших, так как некоторые ответы в действительности являются замаскированными «не-ответами».

В стремлении, реальном или показном, к объективности и нейтральности, предлагаемые варианты часто содержат псевдоответы. Таковыми являются пресловутые центральные, медианные или срединные позиции (в их формулировках содержатся, например, слова или выражения типа «посередине», «между двумя», «все равно», «ни то, ни другое» и т. д.), которые обычно выбираются теми, кто не имеет мнения, поскольку эти позиции предполагаются как раз вне альтернативных суждений.

Наконец, последнее замечание, далеко не последнее по значимости: следует помнить, что не давшие ответа на данный вопрос, объявившие об этом официально и зарегистрированные интервьюерами, также не учитываются полностью, поскольку они уже относятся к тем, кто согласился отвечать на вопросник и хотел быть опрошенным. И вовсе не очевидно, что зарегистрированная доля неответивших на вопрос ниже той доли, которая учитывала бы отказы отвечать на вопросник в целом. Впрочем, этот процент неответивших на вопросник определить невозможно, принимая во внимание технику конструирования выборок населения, называемых «квотными», когда интервьюеры, по мере накопления опыта работы, стремятся отбирать своих респондентов в зависимости от их «доброй воли» отвечать на данный тип вопросника, что оборачивается тем, что они определяют их интуитивно.

Таким образом, в опросах общественного мнения все способствует тому, чтобы «производить» ответы на вопросы, которые ошибочно принимают за мнения. Это означает, что представленный выше анализ, который был проведен на основе отказов от ответов, открыто декларируемых опрашиваемыми, имеет большое значение. Это означает также, что то, что институты зондажей называют «общественным мнением, в значительной степени является производным от их опросных методов; чаще всего это артефакт, являющийся результатом механического сложения ответов, которые формально выглядят идентичными, скрывая тем самым не только ирреальность более или менее значительной части собран-

ных (следовало бы сказать “добытых”) ответов, но и тот факт, что в социальном мире не все мнения стоят друг друга, поскольку вес любого мнения в реальности зависит от собственно социального веса того, кто его выражает» (Bourdieu, 1980, p. 222–235).

Магия цифр

Простой перевод в цифровую форму сам по себе оказывает, в частности, на неспециалистов эффект навязывания. В самом деле, опрос держится на цифре, а строгий подсчет обеспечивает ту самую необходимую точность, которая предшествует всякому научному анализу. Ценность, которую следует сообщать результатам, выраженным в цифровой форме, зависит от операций, которые позволили их установить. В одной работе, озаглавленной «100% французов», автор в порядке шутки сгруппировал в зависимости от процентов результаты более 800 опросов, появившихся в прессе начиная с 1980 года и выясняющих мнения по самым различным сюжетам (политика, семья, сексуальность, образование и т. д.), что дало забавные и неожиданные сближения. Если такой жанр стоит ближе к журналистике, чем к чисто научному исследованию, то все же он может служить довольно поучительным педагогическим упражнением, которое состоит в том, чтобы научиться различать все то, что вынесено в один ряд. Например, по прилагаемому ниже списку, взятому из этой работы произвольно, принцип сближения в котором строится единственно на сходстве процентов (здесь 22%), можно разыскать инстанцию, откуда взята каждая цифра и институцию, его осуществившую (Институт опросов общественного мнения, Национальный институт статистики и экономиче-

ских исследований, Национальный институт демографических исследований и т. д.), классифицировать ответы в соответствии со степенью реальности вопросов, которые были заданы (вопросы, заданные с целью учета типов поведения, установления действительных мнений, или вопросы откровенно игровые и нереальные), поразмышлять над значением этих «данных» и их возможным использованием в рамках социологически сконструированного объекта и т. д.

— 22% покупок французы делают в супермаркетах.

— Для 22% женщин лучшим напитком является вода.

— 22% программистов составляют женщины.

— 22% женщин упрекают мужчин в том, что они всегда увиваются.

— 22% женщин считают, что противозачаточные таблетки депозитизируют любовь.

— 22% женщин хотели бы вступить в интимные отношения с Лораном Фабиусом.

— 22% женщин думают, что Франсуа Миттеран репетирует свои выступления перед зеркалом.

— 22% женщин заняты неполный рабочий день.

— 22% мужчин, которые занимаются приготовлением пищи, всегда готовят одно и то же блюдо.

— 22% мужчин хотели бы видеть Жанну Мас в журнале обнаженной.

— 22% парижан никогда не пользуются своим автомобилем для того, чтобы ездить по Парижу.

— 22% лицеев считают, что их преподаватели недостаточно строги.

— 22% французов занимаются домашними поделками.

— 22% французов имели первый сексуальный опыт между 17 и 18 годами.

— 22% французов утверждают, что они страдают заболеваниями печени.

- 22% французов совершают самоубийство с помощью огнестрельного оружия.
- 22% французов считают, что их страховые агенты слишком придирчивы.
- 22% французов убеждены, что ясновидящие могут действительно предсказывать будущее.
- 22% экономически активных французов не имеют никаких дипломов.
- 22% французов хотели бы заниматься любовью на лугу, на глазах у других.
- 22% французов легко могут представить Джона Макенроя в роли адвоката, если бы он не был чемпионом по теннису.
- 22% французов, повторно вступая в брак, сталкиваются с теми же трудностями, что и в предыдущем браке.
- Лишь 22% французов хотят, чтобы государство непосредственно управляло социальным страхованием.
- 22% основателей различных предприятий являются выпускниками университетов или *Grandes Écoles*.
- 22% болеющих мигренью страдают от приступов, которые длятся более 48 часов.
- 22% детей рабочих остаются на второй год в подготовительном классе.
- 22% пенсионеров пользуются гостиницами во время отдыха.
- 22% мальчиков считают, что «первый раз» было замечательно.
- 22% детей от 3 до 6 лет сами решают, во сколько им ложиться спать.
- 22% родителей никогда не появляются обнаженными перед детьми.
- 22% парижан старше 60 лет.

Выдержка из: *Duhamel J. 100% Français. Paris, Belfond, 1987.*

2.4. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ

Социология только тогда сможет полностью использовать в рамках научной логики разнообразные и многочисленные результаты различных опросов общественного мнения, когда она исследует сами вопросы, т. е. отрефлексирует «коллективное бессознательное», само собой разумеющееся, или, если угодно, «бессознательное» самих «опрашивателей» и их заказчиков. Опросы, по существу, конструируют получаемые «данные», но не поясняют, как они это делают. Таким образом, социолог должен заявить в явном виде то, что в них содержится имплицитно.

Для иллюстрации последнего утверждения мы хотим привести пример того, как в рамках социологии можно на основе обыкновенного опроса подойти к серьезной проблематике, отличающейся от простого политологического комментария. Речь идет о совершенно безобидном на первый взгляд опросе, представляющем собой нечто вроде «развлекательного» варианта регулярных опросов, проводимых институтами изучения общественного мнения и посвященных определению рейтинга политических деятелей. Он состоял в том, чтобы, как в «китайской игре», отождествить каждого известного политика с определенным цветом, деревом, цветком, животным, игрой, головным убором, автомобилем, предметом мебели, известной женщиной, профессией, персонажем комиксов и т. д. Интервьюер предлагал список из шести предметов или персонажей и просил установить соответствие («если бы он был цветком? деревом? и т. д.») с каждым из шести политиков, представляющих широкий спектр политических и социальных позиций. Результаты опроса, проведенного в июне 1975 г. по заказу еженедельника «Пуэн», были опубликованы в журнале «Опросы» (*Sondages*, № 3–4, 1975, p. 31–47) со следующим комментарием:

«Чтение результатов “забавно”, но смысл опроса этим не ограничивается. То, с чем ассоциируется тот или иной политический деятель, отражает грани его имиджа. Может быть, иногда трудно с уверенностью выделить причины, заставившие опрашиваемых представить политика в том или ином цвете, муравьем, а не лисой, или более парикмахером, чем адвокатом. В то же время, когда более трети опрашиваемых представляет определенного политика в виде того или иного предмета, то объяснение рождается, как правило, сразу, а мотивации выбора устанавливаются в сравнении с позицией других политических лидеров по отношению к тому же предмету. Ассоциации, возникающие у респондентов, большей частью связаны либо с внешностью, либо с наиболее известными чертами личности, либо они зависят от роли, положения и политической карьеры».

Таблица А

Совокупность ответов
(П. Бурдые, «Различение», 1979)

Выделенные жирным шрифтом цифры указывают наибольший процент ответов в данном столбце.

	Цвета						Деревья					
	% Белый	% Черный	% Синий	% Оранжевый	% Желтый	% Зеленый	% Дуб	% Платан	% Пальма	% Тростник	% Тополь	% Ель
Жискар Д'Эстен	35	10	29	6	9	12	31	8	14	18	19	10
Понятовский	16	22	14	16	18	13	21	22	18	7	12	18
Ширак	16	9	25	12	18	18	11	20	18	12	22	17
Серван-Шрейбер	14	9	12	23	23	19	6	6	21	26	18	14
Миттеран	13	10	13	23	18	24	16	16	17	21	15	17
Марше	6	40	7	20	14	14	15	18	12	16	14	24

	Цветы						Животные					
	% Хризантема	% Ландыш	% Мак	% Нарцисс	% Сирень	% Гвоздика	% Бык	% Муравей	% Стрекоза	% Лиса	% Ворона	% Черепаха
Жискар Д'Эстен	14	23	12	14	18	18	12	29	18	24	9	9
Понятовский	24	16	8	16	16	20	38	11	8	13	17	12
Ширак	10	21	9	15	25	20	16	22	15	15	16	15
Серван-Шрейбер	9	14	13	27	21	17	6	12	28	11	10	33
Миттеран	16	16	21	17	13	16	9	14	21	22	16	18
Марше	27	10	37	11	7	9	19	12	10	15	32	13

	Игры						Головные уборы					
	% Бридж	% Монополия	% Домино	% Покер	% Шахматы	% Рулетка	% Берет	% Фуражка	% Канотье	% Шляпа	% Каска	% Цилиндр
Жискар Д'Эстен	39	14	6	12	23	6	11	10	14	10	8	46
Понятовский	16	17	21	16	14	17	9	5	14	14	41	18
Ширак	15	24	18	18	12	13	12	10	21	26	17	13
Серван-Шрейбер	9	14	17	20	13	26	13	12	30	22	11	13
Миттеран	14	17	15	18	18	18	40	16	15	16	7	6
Марше	7	14	23	16	20	20	15	47	6	12	16	4

Посмотрим теперь, вслед за П. Бурдье (1979, р. 625–640), как можно проанализировать с социологической точки зрения данный опрос. В первую очередь нужно спросить, что делает возможным такой опрос. Почему все опрашиваемые смогли без видимых затруднений указать, с какими предметами или персонажами ассоциируется тот или иной политик? Как они производят свой выбор, соотнося каждого политика скорее с тем, а не иным предметом? Глядя на статистические распределения, становится ясно,

что существуют принципы или схемы, регулирующие эти распределения, поскольку мы имеем дело с определенными закономерностями; это можно объяснить лишь в том случае, если мы признаем гипотезу о существовании общих для всех опрашиваемых принципов видения (vision) и деления (division). Успех опроса в значительной степени связан с удачным выбором списков предметов: каждый список имел в большей или меньшей степени социальную иерархию, поэтому они смогли играть роль неявных классифицирующих систем. Так, например, социальный смысл имеет противопоставление белого черному, а дуба и ворона — тростнику и лисе, как в баснях Лафонтена, бридж противопоставляется домино, цилиндр — берету, Роллс-Ройс — малолитражке и т. д. Таким образом, подобная игра, затрагивая политиков, т. е. общественных деятелей, известных благодаря национальным средствам массовой информации и в особенности телевидению, предоставляла возможность опрашиваемым применять более или менее неосознанные схемы классификации, лежащие в основе выбора, который на первый взгляд имеет политическую основу.

Но если придуманные политологами без каких бы то ни было политических соображений списки так хорошо сработали, то не означает ли это, что составители сами применяли те же бессознательные схемы классификации? Скорее всего, не имея такой цели, опрос позволил почти экспериментально проанализировать установление связей между политическим и социальным пространством, а также превращение социальных симпатий или антипатий в политические.

В социологии особую трудность представляет прочтение и интерпретация статистических данных. Выявлению реальных корреляций часто мешают случайные факторы при сборе данных, например, неправильно понятый или неоднозначно сформулированный вопрос, чисто механические ошибки при кодировании, а в особенности тот факт, что выбранные «переменные» почти всегда являются лишь свидетельствами или индикаторами, но не

Таблица Б

Распределение ответов среди сторонников Миттерана/ Жискара д'Эстена (там же)

	Цвета						Животные						Деревья					
	% Белый	% Черный	% Синий	% Оранжевый	% Желтый	% Зеленый	% Бык	% Муравей	% Стрекоза	% Лиса	% Ворона	% Черепах	% Дуб	% Платан	% Пальма	% Тростник	% Тополь	% Ель
<i>Сторонники Миттерана</i>																		
Жискар Д'Эстен	36,4	20,6	9,3	15,0	8,4	10,3	8,4	19,6	10,3	16,8	29,9	14,0	19,6	18,7	20,6	11,2	19,6	9,3
Понятовский	15,0	9,3	15,9	39,3	12,1	7,5	42,0	6,5	25,2	8,4	7,5	11,2	15,0	20,6	9,3	28,0	8,4	17,8
Ширак	12,1	22,4	18,7	14,0	16,8	12,1	11,2	16,8	28,0	14,0	12,1	16,8	5,6	18,7	23,4	18,7	15,0	17,8
Серван-Шрейбер	15,9	10,3	30,8	7,5	17,8	17,8	7,5	24,3	7,5	15,0	14,0	31,8	5,6	23,4	19,6	7,5	35,5	7,5
Миттеран	11,2	21,5	13,1	1,9	17,8	33,6	10,3	21,5	9,3	24,3	22,4	12,1	32,7	11,2	12,1	9,3	14,0	19,6
Марше	8,4	15,0	11,2	21,5	26,3	16,8	21,5	10,3	18,7	20,6	14,0	14,0	20,6	6,5	14,0	24,3	6,5	27,1
<i>Сторонники Жискара Д'Эстена</i>																		
Жискар Д'Эстен	35,3	36,7	7,2	3,6	4,3	12,9	12,9	14,4	6,5	38,8	18,7	9,4	43,2	10,8	15,1	5,0	18,0	8,6
Понятовский	18,0	18,0	23,0	8,6	18,0	14,4	42,4	9,4	9,4	12,2	15,8	10,8	28,1	18,7	15,8	18,7	4,3	14,4
Ширак	24,5	28,1	12,2	2,9	8,6	23,7	20,1	15,8	7,9	26,6	18,0	11,5	15,8	15,8	20,1	23,0	7,2	17,3
Серван-Шрейбер	7,2	7,9	22,3	10,8	31,7	20,1	4,3	30,2	10,8	7,9	11,5	34,5	2,9	17,3	21,6	20,1	21,6	17,3
Миттеран	10,8	7,9	22,3	13,7	27,3	18,0	7,2	22,3	20,1	9,4	18,0	23,0	4,3	21,6	14,4	19,4	23,7	16,5
Марше	4,3	1,4	12,9	60,4	10,1	10,8	12,9	7,9	45,3	5,0	18,0	10,8	5,8	15,8	12,9	13,7	25,2	25,9

	Известные женщины						Семья						Игры					
	% Брижитт Бардо	% Джейн Биркин	% Джекки Кеннеди	% Мирей Матье	% Мишель Морган	% Королева Англин	% Сын	% Брат	% Отец	% Отчим	% Зять	% Двоюродный брат	% Бридж	% Домино	% Шахматы	% Монополия	% Покер	% Рулетка
<i>Сторонники Миттерана</i>																		
Жискар Д'Эстен	12,1	15,0	18,7	12,1	14,0	27,1	17,8	10,3	20,6	14,0	18,7	16,8	32,7	6,5	18,7	15,9	16,8	8,4
Понятовский	11,2	13,1	15,0	11,2	6,5	42,1	4,7	5,6	15,0	30,8	16,8	25,2	15,9	17,8	13,1	17,8	18,7	15,9
Ширак	19,6	11,2	19,6	16,8	16,8	15,0	17,8	20,6	9,3	13,1	26,2	11,2	9,3	15,0	13,1	19,6	24,3	17,8
Серван-Шрейбер	28,0	22,4	28,0	6,5	8,4	5,6	24,3	25,2	6,5	8,4	15,9	16,8	9,3	15,9	16,8	14,0	15,0	28,0
Миттеран	15,0	16,8	10,3	13,1	40,2	3,7	24,3	20,6	29,0	12,1	12,1	1,9	25,2	17,8	15,9	16,8	12,1	12,1
Марше	13,1	20,6	7,5	39,3	13,1	5,6	9,3	16,8	18,7	19,6	9,3	26,2	7,5	26,2	22,4	15,0	12,1	16,8
<i>Сторонники Жискар Д'Эстена</i>																		
Жискар Д'Эстен	14,4	5,8	10,8	4,3	37,4	26,6	33,8	18,0	29,5	7,9	6,5	4,3	41,7	5,8	28,1	15,8	5,0	2,9
Понятовский	13,7	7,9	15,8	15,1	18,7	28,1	6,5	16,5	37,4	25,9	8,6	5,0	17,3	26,6	15,1	16,5	11,5	13,7
Ширак	21,6	19,4	18,0	10,8	15,1	15,1	33,1	30,2	10,8	6,5	15,1	4,3	20,1	17,3	9,4	26,6	16,5	10,1
Серван-Шрейбер	23,0	16,5	33,8	7,9	4,3	14,4	17,3	15,8	7,9	16,5	29,5	12,9	8,6	17,3	12,2	13,7	23,7	24,5
Миттеран	15,8	22,3	14,4	20,9	18,0	7,9	5,8	13,7	13,7	23,7	27,3	15,1	7,2	12,9	15,8	12,9	24,5	26,6
Марше	11,5	28,1	7,2	40,3	5,8	7,2	3,6	5,8	0,7	19,4	12,9	58,3	5,0	20,1	19,4	14,4	18,7	22,3

самими объясняющими переменными. Наличие диплома, например, представляет собой лишь несовершенный индикатор культурного капитала, не учитывающего ни самообразование, ни то, что можно было бы назвать «культурным стажем семьи», к которой принадлежит опрашиваемый. Аналогичным образом социально-профессиональная принадлежность дает лишь приблизительную информацию о социологически построенной принадлежности к определенному классу, поскольку не учитывает ни социальную траекторию, ни профессиональную карьеру, ни социальное положение других членов семьи, ни сеть социальных связей индивида, т. е. данные, определяющие общественное положение и не сводимые только к профессиональной принадлежности на момент опроса.

В рассмотренном выше случае ко всему этому примешивается фактор, связанный со спецификой предмета опроса. Будучи неоспоримыми, статистические закономерности отношений предметов и политических деятелей показывают лишь некую тенденцию, поскольку примененные на практике принципы классификации не были эксплицированы. Один и тот же предмет мог получить различную трактовку в зависимости от точки зрения, спонтанно занятой опрашиваемыми; это искажает результаты статистического распределения, поскольку определенная игра ассоциаций и значений, сообщаемых объектам, является неизбежной.

Возьмем для иллюстрации пример деревьев. Всего в списках было шесть деревьев: дуб, пальма, тополь, платан, тростник и ель. Дуб может быть противопоставлен тростнику как сильный — слабому, как важный и могущественный — хрупкому и нестойкому, и жесткий — гибкому. Это противопоставление через аналогию могло выражать разницу между главой государства (Жискар Д'Эстен) и политиком «левого» направления, согласившегося войти в правительство «правых» (Серван-Шрейбер). С другой точки зрения, дуб может символизировать не власть (ср. с листьями дуба и

изображениями Людовика Святого, вершащего суд под дубом, распространенными в учебниках начальной школы), а лишь дерево как материал: тогда дуб представляет собой благородный материал, из которого делают красивую мебель; он противопоставляется ели, дешевому материалу не очень высокого качества, из которого делают гробы. Этот реестр по аналогии может выражать разницу между человеком, претендующим на «благородство» (тем же Жискар Д'Эстеном) и тем, кто воспринимается некоторыми как «вульгарный простолудин» (Жорж Марше, лидер Коммунистической партии).

Другие опрошенные, которые не могут использовать политические аналогии, прибегают к прямой аналогии по принципу внешнего сходства, и противопоставляют дуб или платан, мощные и импозантные деревья, ассоциирующиеся с коренастостью и полнотой политика (например, Понятовского), тонкому и вытянутому тополю, ассоциирующемуся со стройным и высоким политиком (Шираком). Но какое бы значение ни использовалось в более или менее явном виде, если оно понятно всем, то может произвести множество эффектов: вызвать смех, одобрение или возмущение и т. д.

Искажение статистических данных было допущено в опросе и по другой причине, связанной с политикой. Важным аспектом политической борьбы, как мы увидим в дальнейшем, является навязывание определенных представлений и определенного видения общества и политических актеров. Из этого следует, что если даже люди используют одинаковые схемы восприятия и оценки, их практическое применение будет зависеть от их общественного положения. Все индивиды, например, могут использовать противопоставление белого и черного для выражения отношений между Жискар Д'Эстеном и Марше; однако сторонники левых и правых используют диаметрально противоположные цвета для оценки политиков,

при этом черный цвет приписывается, как правило, соперникам.

Безусловно, основным препятствием в социологии является чрезмерно хорошее знание материала, содержащегося в результатах опросов: оно создает чувство очевидности, мало способствующее поиску объяснений. Иногда считают хорошо познанным то, что всего лишь хорошо знакомо. Социолог сам использует при восприятии политических деятелей те же системы классификации, которые в неявном виде присутствуют в опросах, и может слишком поспешно решить, что он все понимает. В большей степени, нежели этнограф, с самого начала понимающий отличие или даже чуждость своего объекта и вынужденный учитывать относительность своих культурных установок, социолог должен совершать особое усилие для выявления этого своего рода «культурного бессознательного», сквозь призму которого он — сам того не ведая — воспринимает общество, в котором живет. Чрезвычайно запутанные результаты проанализированного нами опроса можно понять, лишь систематически и эксплицитно привлекая практическое знание и национальную культуру, которые в той или иной степени разделяются всеми, как опрашиваемыми, так и политологами, придумавшими вопросы, и социологами, пытающимися интерпретировать ответы на них. Эти статистические зависимости совершенно непонятны иностранцу, т. е. человеку, незнакомому с политической и общественной жизнью Франции, а также с определенной символикой цветов, свойственной французам (черное является символом смерти, а не белое, как в некоторых странах), со специфическими, подчас противоречивыми социальными смыслами, связанными с головными уборами (канотье, соотносящиеся с образом певца Мориса Шевалье), с социальной иерархией игр, существующей в момент опроса (домино сегодня считается народной игрой, ассоциирующейся с сельскими кафе или «клубами для пожилых», в отличие от девятнадцатого века, когда оно было буржуазной игрой).

Социологический анализ должен на время оставить статистические таблицы, чтобы потом к ним вернуться с новыми знаниями. На место фамилий политиков следует поставить определенные социальные и политические характеристики и сделать как можно более ясными схемы восприятия и оценки, которые накладываются на настоящие системы предметов и персонажей, предложенных для классификации или «помещения на витрину музея» политических деятелей. Составители вопросника интуитивно это знали, но чисто с практической точки зрения. И они включили туда множество предметов, которые, в частности, под воздействием системы образования, присутствуют в сознании всех французов как практические механизмы альтернатив (ворона/лиса, дуб/тростник, стрекоза/муравей и т. д.).

3. Политическое использование опросов общественного мнения

Социология не ограничивается реинтерпретацией заранее сконструированных данных, производимых институтами исследования общественного мнения. Она должна также учитывать факт широкой распространенности опросов, и то, что последние выполняют определенные общественные функции, одним словом, что речь идет о настоящем социальном явлении, требующем специального исследования. Здесь мы хотели бы остановиться на политическом использовании опросов.

3.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ «ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ» ВОПРОСОВ

Тесная связь между научной технологией и политическими соображениями, характеризующая повседневную практику опросов общественного мнения, ярче всего проявляется в растущем множестве особого типа вопросов, которые можно было бы назвать «политологическими». Они стали сегодня настолько банальными, что нелегко увидеть неоднозначность формулировки и по меньшей мере странный статус, с эпистемологической точки зрения, вопросов этого типа. Рассмотренные выше вопросы из исследования, опубликованного в литературном журнале, являются вполне типичными с этой точки зрения: вместо того чтобы выявлять уже существующие мнения, ограничиваясь их регистрацией (на что указывают метафоры барометра или фотографии, часто используемые анкетерами), эти вопросы производят на деле в значительной мере искусственные и необоснованные ответы, поскольку большинство опрошиваемых не ставят перед собой те вопросы, которые им задают; если бы они их себе задавали, то в большинстве случаев все равно не смогли бы на них ответить. Вопрос, упомянутый выше, был сформулирован так: «Назовите трех ныне живущих интеллектуалов (мужчин или женщин), пишущих на французском языке, чье творчество, по вашему мнению, наиболее глубоко повлияло на развитие идей, литературы, искусства, науки и т. д.?». Перед тем как подводить итоги и составлять список победителей, необходимо проанализировать сам вопрос. Респондентов спрашивают не о том, какие три интеллектуала (почему именно три и что нужно понимать под «интеллектуалами») оказали на них наиболее значительное влияние (на что уже довольно трудно ответить), но ставят вопрос гораздо шире — о том, какие интеллектуалы «глубоко» (что это значит?) «повлияли» (что значит «повлияли»? надо ли считать «негативное» влияние тоже влиянием?) на развитие идей, литературы, искусства, науки и т. д., т. е. такой обшир-

ной области (отметим в скобках характерное «и т. д.»), которая вряд ли может быть хорошо известна всем опрашиваемым. Для ответа на такой обширный и сложный вопрос опрашиваемые не могут — этого от них и не требуется — провести специальное исследование, как бы это мог сделать специалист по истории идей или социолог науки. Большинство ответило бы более или менее шуточно или следуя определенной стратегии, назвав «интеллектуалов», которых они знают, о которых много говорят в средствах массовой информации, которых они недавно читали, кого необходимо упомянуть и т. д. Итак, нужно подумать над тем, почему задаются именно такие вопросы и что хотят получить на самом деле. Если нужно было бы выяснить, кто из интеллектуалов в действительности оказал наибольшее влияние, то очевидно, что это следовало бы делать не на основании непродуманных ответов, а на основе настоящего исследования, учитывающего различные показатели влияния и различные области (философию, литературу, живопись, физику, биологию и т. д.). Расплывчатый характер вопроса и тип выборки не позволяют измерить это действительное влияние, а лишь, в лучшем случае, зафиксировать популярность в средствах массовой информации тех, кто воспринимается как «влиятельные интеллектуалы». Ясно, что исследования подобного типа относятся прежде всего не к научному анализу, а к операции политического характера, которая стремится навязать с помощью весьма распространенной в политике процедуры, именуемой выбором, определенное видение того, кто является «интеллектуалом».

Данный тип вопросов создан не для того, чтобы играть роль «реактивов» или «индикаторов», позволяющих уловить определенные социальные характеристики индивидов, как это бывает в обычных социологических анкетах. Эти вопросы и ответы на них рассматриваются как интересные и значащие потому, что глобальное распределение ответов предназначено дать «мнение народа» по интересующим экспертов проблемам в различных сферах политики.

В качестве упражнения можно было бы подобным образом проанализировать вопросы, задаваемые крупными институтами изучения общественного мнения; число таких вопросов весьма велико, причем они в данном случае непосредственно касаются политической сферы. Можно, в частности, отметить, что ответы на нижеследующие вопросы, большей частью сформулированные политологами, которые консультируют институты изучения общественного мнения, требуют наличия серьезной информации и могли бы с равным успехом быть темами для рефератов или дипломных работ студентов-политологов:

— «Если бы президентские выборы состоялись в ближайшие два года, кто из названных ниже кандидатов был бы наиболее серьезным противником левых сил: Раймон Барр, Жак Ширак или Валери Жискар Д' Эстен?» (Sofres, июнь 1985);

— «По вашему мнению, каковы причины враждебности к левым после 1981 года?» (прилагается список причин) (Sofres, январь 1985);

— «Как известно, коммунистическая партия за несколько лет потеряла много голосов избирателей, сократившихся с 20% до 11%. Каковы, по вашему, глубинные причины снижения ее популярности?» (приводится список причин) (Sofres, январь 1985);

— «Каковы четыре главных приоритета для Франции в ближайшие годы?» (приводится список возможных приоритетов) (Sofres, октябрь 1985);

— «Как вы считаете, является ли республика сегодня ценностью для левых или для правых сил?» (Sofres, ноябрь 1984);

— «Как вы считаете, насколько католическая церковь в целом смогла адаптироваться к современному миру: очень хорошо, довольно хорошо не совсем хорошо, плохо?» (Sofres, апрель 1985)

— «По вашему мнению, какое влияние Франция оказывает сегодня в мире: большое, довольно большое, скорее небольшое или очень слабое?» (Sofres, август 1985);

— «Как, по-вашему, после Второй мировой войны, увеличилась или уменьшилась роль Франции в следующих областях: военная мощь, политическое и дипломатическое влияние, моральный и интеллектуальный престиж, экономический вес?» (Sofres, август 1995);

— «Часто политических лидеров подразделяют на две категории: на тех, кто входит в "политический класс" и сплочен между собой, и на тех, кто держится в стороне от "политического класса". К какой категории вы отнесли бы следующих политиков: Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Р. Барра и т. д.?» (Sofres, август 1984);

— «Думаете ли вы, что сосуществование Ф. Миттерана с новым большинством РПР—УДФ могло бы продлиться до президентских выборов 1988 года, или оно прекратится раньше?» (Sofres, октябрь 1984);

— «На ваш взгляд, кто выйдет победителем по окончании периода сосуществования?» (Sofres, август 1984);

— «По вашему мнению, каковы будут последствия модернизации французского общества?» (приводится список возможных последствий) (Sofres, октябрь 1984);

— «Среди возможных причин, которые могут заставить голосовать за Национальный фронт Ж.-М. Ле Пена, какие представляются вам наиболее важными?» (приводится список причин) (Sofres, июнь 1984);

— «Считаете ли вы, что Жан-Мари Ле Пен будет и в дальнейшем иметь успех на европейских выборах или нет?» (Sofres, 1984);

— «Кто, по вашему мнению, несет наибольшую ответственность за падение котировок на Парижской бирже в течение последней недели?» (приводится список тех, кто может быть ответственным) (Ipsos, октябрь 1987);

— «Каков ваш прогноз развития ситуации на Парижской бирже в ближайшие несколько недель относительно сегодняшней ситуации?» (Ipsos, октябрь 1987);

— «Как вы считаете, в какой степени (в большей, в меньшей или в той же) Франция подвержена расизму по сравнению с ФРГ, Великобританией и США?» (Ipsos, февраль 1988);

— «Как вы считаете, через десять лет проблемы, связанные с иммиграцией во Франции, усилятся, ослабнут или останутся на современном уровне?» (Ipsos, февраль 1988).

Так в чем же состоит смысл подобных опросов, если неспециалистам предлагается ответить на вопросы, которые не всегда ясны специалистам? Все происходит так, как будто в вопросах политологического типа совокупность возможных или желаемых ответов выносятся на референдум для того, чтобы непогрешимый арбитр определил «правильный» ответ. Речь здесь идет о процедуре, не такой уж далекой, как могло бы показаться, от техники божественного откровения, практикуемой в Древней Греции. Разумеется, специалисты по опросам постоянно напоминают о том, что ответы на подобные вопросы отражают всего лишь «социальные представления», интересные сами по себе, и что не надо путать то, как индивиды представляют себе реальность с самой реальностью, хотя сами эти представления составляют одну из граней реальности. Но помимо того, что неправильно называть «социальными представлениями» то, что часто является всего лишь реакцией на конкретную ситуацию опроса, можно отметить, что реальное использование этих опросов, большинство которых публикуется в прессе и служит материалом и обоснованием политических комментариев,

чаще всего непредумышленно строится на их неточности. При этом распределение ответов рассматривается как научно установленный вердикт в области политики.

Опросы общественного мнения обязаны своим успехом присущей им видимости научности без «ученых», особенно среди тех, кто не доверяет социологам. Эта новая «наука» располагает только конкретными данными. В действительности же, она решает многие сложные политические проблемы именем «народа», являясь скорее «политической наукой» в буквальном смысле слова, нежели наукой о политике.

3.2. ЭФФЕКТ ЛЕГИТИМАЦИИ ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Мы хотим ограничиться тремя примерами такого политического использования опросов. Первые два примера, один из которых взят в газете, имеющей «правую» ориентацию, а другой в еженедельнике, считающем себя «левым», хорошо иллюстрируют то, как журналисты часто используют опросы (против чего часто выступают сами «опрашивающие»), когда сам способ представления результатов превращает «мнение большинства» о реальности в саму реальность. Третий пример касается еще более извращенного, но внешне вполне пристойного использования опросов, когда сами организаторы опроса предлагают телезрителям оценить то, как выглядят на экране политические лидеры, мы проанализируем более подробно.

После поражения левых партий на выборах 1986 г. «Figaro Magazine» опубликовал большую статью на основе опроса, проведенного Sofres; она была озаглавлена: «Новая волна 1986 г.: семья, родина, труд. Молодежь полностью порвала с духом мая 1968 г.» (суббота, 6 сентября 1986 г.). Следующий вопрос хорошо иллюстрирует принципы данного опроса: «Что, по-вашему, в большей степе-

ни приводит к асоциальному поведению части молодежи? — Проблемы семьи, поскольку родители не выполняют больше своих функций (недостаток внимания к детям, разногласия в семье); — Проблемы общества (безработица, насилие в средствах массовой информации)». 57% опрошенных придерживались мнения, что это в основном «общественная проблема», что позволило журналу дать крупный заголовок: «Асоциальное поведение: семья не виновата». Следующий пример основан на опросе, проведенном IFOP для журнала «Nouvel Observateur» на тему «Сексуальное поведение французов» (номер от 14–20 ноября 1986 г.). Журнал пытался выяснить, что осталось от лозунгов «сексуальной революции» мая 1968 года, произошел ли «возврат к нежности и семье» в то время, когда телевидение отличается все большей «свободой нравов», а реклама становится все более «сексуальной». Среди вопросов, касающихся личной жизни, исследовать которую подобными методами весьма затруднительно, можно встретить, например, такой: «По-вашему мнению, то, что называют “сексуальной революцией”, это скорее хорошо или скорее плохо? Нет мнения». 56% ответили «скорее хорошо», что позволило журналу дать заголовок: «56% — за сексуальную революцию», хотя невозможно точно сказать, что имели в виду опрашиваемые, да и те, кто заказывал опрос, под «сексуальной революцией». Другой вопрос: «Считаете ли вы, что в сексуальных отношениях женщины становятся все более и более инициативны?» Этот вопрос характеризуется неточностью формулировки, обесценивающей кажущуюся точность полученных процентов. Что значит «все более и более инициативны»? Как в этой области можно высказываться о «женщинах» вообще? Опрашиваемые женщины будут говорить о себе? А мужчины будут основывать свое мнение на поведении своей партнерши или своих партнерш, или же на своем представлении о поведении других женщин? Как молодые смогут судить о вероятных изменениях, если они не имеют возможности сравнивать? На самом деле важен не столько вопрос

сколько ответы, позволяющие считать, что в действительности есть позитивные изменения в сексуальном поведении, что революция продолжается, и дающие основания для заголовка «Женщины все более активны: 62%».

3.3. Опрос общественного мнения: «ЭФФЕКТ ВЕРДИКТА»

Третий пример касается распространенной сегодня в политике практики. Поскольку политические деятели «делаются» на телевидении, пытаюсь убедить и привлечь избирателей, то может показаться естественным и научно обоснованным спросить у избирателей мнение о таких «телепредставлениях». Это мнение, в отличие от мнений политических комментаторов, кажется неоспоримым. Мы хотим проанализировать в этой связи теледебаты, состоявшиеся в октябре 1985 г., за несколько месяцев до решающих парламентских выборов между тогдашним премьер-министром Лораном Фабиусом и Жаком Шираком, бывшим премьер-министром, считающим себя представителем всех оппозиционных сил (Champagne, 1988). Эти дебаты особенно интересны, поскольку они долго и тщательно готовились и рассматриваются как образцовые (так же, как и дебаты между Франсуа Миттераном и Валери Жискар Д'Эстеном в 1974 г. и 1981 г., и Миттераном и Раймоном Барром в 1977 г.), к тому же они прекрасно иллюстрируют то, как опросы используются в политике. В первую очередь эти дебаты сопровождались проведением множества опросов, которые были организованы до, во время и после дебатов; опросы сыграли решающую роль в оценке дебатов не только со стороны журналистов, но и со стороны политических деятелей.

Опросы, проведенные до дебатов, пытались выявить «социальный образ» двух лидеров. После их окончания результаты опроса, проведенного «Ме-

диаскопией» на выборке в сто телезрителей, во время дебатов послужили материалом для дискуссий «по горячим следам» между политическими радиообозревателями. На следующий день газеты опубликовали результаты телефонного опроса Ifres, состоявшегося сразу после дебатов. Еще через день стали известны результаты опроса Sofres-Европа, который охватил 800 человек, следивших за дебатами и чье мнение должно было определить «победителя матча».

Можно также отметить полное согласие в интерпретации полученных цифр: все пришли к выводу, что полученные результаты свидетельствуют о победе Жака Ширака.

Оппозиционная пресса воспользовалась результатами этих опросов для поддержки своего лидера и для ослабления позиций действующего премьер-министра («Опрос подтверждает: Ширак — победитель» — такой заголовок дала крупными буквами газета «Франс-Суар» на следующий день). Что касается прессы, более или менее открыто поддерживающей правительство, то она была вынуждена признать «поражение» Лорана Фабиуса и искать «уважительные» причины такого поражения.

На самом деле ни «победа», ни «поражение» совсем не были очевидны. Можно сказать, что Лоран Фабиус был побежден, но не Жаком Шираком, а верой в научную ценность подобных опросов, делающих «общественное мнение» беспристрастным арбитром дебатов. Рассмотрим результаты опросов. Опрос Ifres показал, что 39% опрошенных, следивших за дебатами (т. е. только каждый второй избиратель), считают позиции Жака Ширака в ходе дебатов более сильными, чем позиции Лорана Фабиуса, а 25% придерживаются противоположного мнения. Это означает, что 61% не заметили лидерства Ширака. Так как же можно объявлять «победителем» политического деятеля, которого две трети телезрителей не считают

таковым? Но следует смотреть глубже, проанализировав сам принцип подобных опросов. Цифры могли бы быть еще более благоприятными для одного из соперников, но ведь нужно понять и то, что в действительности мы получаем, когда у телезрителей спрашивают мнение о политических деятелях. Специалисты по политическим кампаниям в средствах массовой информации объяснили «поражение» Лорана Фабиуса тем, что он изменил внезапно «имидж» на более «агрессивный». Сам Фабиус вскоре признал свое «поражение» и даже объяснил его тем, что он был в тот день не совсем самим собой. Такие оценки говорят о сложившемся в политико-журналистских кругах мнении о возможности большего успеха Фабиуса у телезрителей в случае его выступления в более выгодном имидже. На самом деле в этом абсолютно нельзя быть уверенным. Мы имеем здесь дело с иллюзией отождествления телезрителей просто со зрителями, оценивающими, причем совершенно беспристрастно и не опираясь на собственные политические взгляды, привлекательность «телевизионного имиджа» политиков, лишь удачно играющих более или менее свою роль.

Результаты таких опросов вполне предсказуемы: каждый опрошиваемый старается видеть «победителем» лидера, максимально близкого к его сегодняшним политическим взглядам. Телезрители вовсе не являются политически беспристрастными судьями, как их воспринимают специалисты по опросам: они не менее пристрастны, чем политические комментаторы или сами политики.

Результаты таких опросов почти не зависят от индивидуальных качеств участников, они лишь отражают соотношение политических сил на момент дебатов. Жак Ширак привлекал большинство сторонников оппозиции и тех избирателей, которые враждебны к любому правительству; таким образом, он имел возможность получить больше «голосов», чем его соперник, который мог получить исключительно голоса сторонников социалистов. В конечном счете опросы такого типа скорее дава-

ли некоторые — довольно интересные — сведения о возможных итогах парламентских выборов в марте 1986 г., нежели определяли «победителя» самих дебатов.

Данный пример показывает, что, хотя любой опрос всегда измеряет нечто (поскольку социальные субъекты связаны между собой, и их поведение, мнения или выбор всегда подчиняются определенной логике, раскрыть которую как раз и должен социолог), необходимо понять, что же именно выявляет каждый вопрос, какой логике подчиняются ответы. Одной из самых распространенных ошибок, допускаемых комментаторами при интерпретации опросов общественного мнения по вопросам политики, является «политологический этноцентризм», т. е. подход ко всем опрашиваемым как к одинаково образованным и одинаково интересующимся политикой, понимающим одинаково все вопросы и отвечающим на них с явно политической точки зрения. Парадокс, вызванный такой политологической ошибкой, не так уж неважен. Он заключается в нежелании видеть политическое содержание тех немногих опросов, в которых оно действительно есть, как показал только что проанализированный нами пример теледебатов.

4. Социологическое конструирование: «уличная демонстрация в средствах массовой информации»

Опросы общественного мнения, которые являются просто методом исследования, пытаются представить в качестве полноценной научной дисциплины. На самом деле они тесно связаны с политикой: большинство опросов н

только финансируется политическими кругами и средствами массовой информации, но вдобавок они воспринимаются и анализируются согласно логике, свойственной скорее референдуму (поскольку их задачей является выявление господствующего мнения по политическим вопросам или вопросам, приобретающим политическое значение, а также, в некоторых случаях, выяснение политических и социальных характеристик тех, кто выступает «за» или «против»), чем простому сбору данных, которые требуется объяснить и интегрировать в социологическую проблематику.

Такое сплетение общественных наук и политики не носит одностороннего характера, поскольку многие политические акции инспирированы специалистами по общественным наукам, которые ставят свои знания на службу определенным политическим целям или движениям. Отсюда следует, что социология политики, изучающая, например, избирательную кампанию, уличную демонстрацию или телевизионную «подачу» политического лидера, вполне может столкнуться в рамках исследования с социологами и политологами, играющими роль советников и использующими общественные науки для получения максимально возможного эффекта. Такой выход социологии в мир общественной жизни представляет дополнительную трудность для социологического анализа. Дюркгейм отмечал, что «общественная жизнь целиком состоит из представлений» (Дюркгейм, 1995, с. 11) и что объектом изучения для социолога являются «способы видения, чувствования и действия», которые навязываются индивиду (там же, с. 7). В определенной мере и политика предстает как символическая борьба, задача которой заключается в навязывании определенной точки зрения или определенного видения общества (см. также вторую главу, посвященную производству «общественных проблем»). Политика являет собой исключительно важное пространство общественных представлений и столкновения мнений и верований. Именно в сфере политики постоянно борются агенты, стремящиеся навязать всем

свое мнение и сказать последнее слово, что наглядно проявляется в телевизионных дуэлях между политическими деятелями и в последующих комментариях. Это означает, что политика, как и религия, представляют собой поля деятельности, может быть, наиболее трудные для научного изучения. В частности, ставки в данных социальных пространствах велики настолько, что социология, помимо ее воли, вовлекается в игру, являющуюся целью ее же анализа, а научное видение общества стремится стать частью политической (или религиозной) борьбы. Для представления множественности уровней анализа, с которыми сталкивается социолог, особенно в этой области, мы возьмем лишь один пример — обычную уличную демонстрацию (Champagne, 1984).

4.1. СБОР ДАННЫХ: ОПИСАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

В той мере, в какой сколько-нибудь важная уличная демонстрация привлекает пристальное внимание прессы, социолог, желающий изучить коллективные выступления сельскохозяйственных производителей, имеет возможность не только сам наблюдать демонстрации, но и одновременно собрать материалы прессы по их поводу. Сопоставляя собственные наблюдения этнографического типа, отчеты журналистов, заявления официальных лиц, интервью с демонстрантами, сделанные «зарисовки», фотографии и т. д., социолог может довольно точно реконструировать события.

Например, демонстрация тысяч крестьян в марте 1982 г. на улицах Парижа, собравшихся по призыву их профсоюза, может быть описана так, как это делает историк: «23 марта 1982 г. десятки тысяч крестьян (50 000 по данным полиции и более 100 000 по данным профсоюза) прибыли поездами

и автобусами в столицу. Шествие началось в 11 часов утра на площади Нации; перед колонной ехало около двадцати тракторов, а в первых рядах шли лидеры профсоюза крестьян; колонна состояла в основном из молодых (женщин и пожилых было мало). На транспарантах были написаны названия представленных регионов, а на многочисленных плакатах фигурировали различные лозунги и были нарисованы карикатуры, направленные против тех, кто ответствен за аграрную политику, а также конкретные требования, касающиеся цен в аграрном секторе и выражающие протест против эксплуатации крестьян горожанами ("Горожанин, ты живешь хорошо, а мог бы голодать", "Горожане, без крестьян вы сдохнете" и т. д.). Во время демонстрации произошло несколько незначительных инцидентов: у нескольких тракторов загорелись шины на дороге; когда один активист рабочего профсоюза сделал враждебный жест в сторону демонстрантов у здания Биржи труда, его обстреляли сигнальными ракетами, забросали тухлыми яйцами и камнями, из-за чего пострадало много стекол. Демонстрация проходила в атмосфере полного равнодушия: на улицах было мало парижан, они не выражали ни одобрения, ни осуждения по отношению к ней».

Подобное описание, данное здесь лишь в самой общей форме, а в ряде случаев более развернутое и уточненное, может заменить этнографическое наблюдение и дать ценные социологические сведения о событиях, чей размах и важность превосходят возможности одного наблюдателя, который просто не в состоянии «все увидеть». Так, непривычный размах демонстрации может свидетельствовать о способности профсоюза мобилизовать людей и о причинах существования такой возможности; незначительное число инцидентов, столь непривычное для крестьянских демонстраций, сопровождающихся обычно насилием и нарушением порядка, свидетельствует о жела-

нии создать себе «позитивный образ». И это заставляет перейти к анализу логики проведения подобного типа акций. Почти карикатурное разнообразие представленных регионов (на демонстрации присутствовала делегация от Гваделупы и Мартиники), говорит о стремлении показать широкое представительство, свойственное данному типу акций, в которых так называемые «представительные» организации стараются поддержать или усилить свое влияние на переговорах, демонстрируя свою способность мобилизации и контроля.

4.2. ИНФОРМАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СТАВКА

При использовании прессы как источника информации, не следует забывать, что информация сама по себе является ставкой в общественной жизни. Поэтому на следующем этапе необходимо сделать объектом изучения деятельность самих журналистов и более или менее осознанный и систематический труд по искажению информации, характерный для всех видов прессы в зависимости от их политической ориентации. Информация и собственно отбор и представление фактов являются важной ставкой, особенно в политической области. Именно поэтому пресса, будучи политически структурированной, пытается навязать через приводимые факты и комментарии позитивный или негативный социальный образ события, тем самым поддерживая или, наоборот, представляя в негативном свете социальную группу, принимающую участие в данном событии, привлекая к нему внимание журналистов и тем самым «широких масс». Множество действий, которые могут быть предприняты в ходе широкомасштабных общественных выступлений, расхождения в оценке численности участников, а также разнообразие и порой даже противоречивость «мотивов» их действий, предоставляют прессе широкую возможность конструи-

рования события, что объясняет весьма существенные расхождения между различными отчетами о нем.

Так, например, журналисты воспринимали демонстрацию крестьян в свете соперничества левых и правых сил, а большинство газет уделили внимание не только неоспоримым фактам, но и тем, которые соответствовали их «политической линии». По мнению «Юманите» (от 24 марта 1982 г.), демонстрация «провалилась» и привела к скандальным инцидентам: «Вчера в Париже прошла демонстрация крестьян. Около 60 000 человек прошли от площади Нации к Порт де Пантен. Организаторы ожидали, что участников будет 100 000. Понятно, что мелкие фермеры, чьи требования вполне обоснованы, не согласились следовать за теми, кто виновен в их проблемах». «Фигаро», напротив, была, с политической точки зрения, ближе к организаторам акции, и посчитала ее вполне успешной и многочисленной; реакция парижан также оценивается ею как положительная: «Более 100 000 крестьян провели мирную демонстрацию»; «жители Парижа хорошо ее восприняли» (газета от 24 марта). «Монд» и «Либерасьон», которые занимали позицию критической поддержки левого правительства, описали саму демонстрацию довольно точно и объективно; но их позиция проявилась в комментариях: обе газеты отмечают относительное безразличие населения Парижа и скрытую агрессивность демонстрантов.

Оказывается, «объективное» построение политического события социологом не может ограничиться простым восстановлением «всамделишных» фактов. Социолог должен учитывать при этом символическую борьбу, сопровождающую событие и направленную на придание ему определенного смысла. Как оценить поведение демонстрантов? Почему они собрались? Каковы их требования? Более или менее прямые ответы на эти вопросы, данные всеми комментаторами, т. е. общественное представление событий

(«то, как все это нужно воспринимать»), составляют неотъемлемую часть самих событий. В этой связи легко увидеть открывающуюся для комментаторов возможность использовать разнородность таких больших собраний. Если даже чисто внешние характеристики события (число участников, характер инцидентов и т. д.) могут быть представлены прямо противоположным образом, то это становится тем более возможным в отношении «глубинных мотивов» поведения демонстрантов. Некоторые журналисты пытаются объяснить причины демонстрации, ограничившись чтением лозунгов или воспроизведением заявлений организаторов; другие могут уделять меньше внимания речам ораторов и задавать вопросы тем или иным демонстрантам, часто выбирая их ради создания (иногда в политических целях) определенного образа группы в целом.

Например, «Паризьен Либере», читатели которой в основном принадлежат к низшим классам, описала традиционный образ крестьянина с востока Франции как типичного демонстранта с хмурым и обветренным лицом, одетого в «клетчатую куртку и кепку». «Котидьен де Пари», большинство читателей которой составляют квалифицированные специалисты, в качестве типичного демонстранта выбрала молодого крестьянина: «он ничем не выделялся бы среди студенческой демонстрации, поскольку он носит очки, шерстяные костюмы и у него прическа студента-политолога». «Либерасьон» же отметила «богатого крестьянина левой ориентации», чья «одежда привлекала внимание: джинсы, кроссовки и ярко-синяя куртка».

Давая неизбежно избирательный взгляд на события и предпочитая определенные интерпретации, пресса способствует созданию политико-социального образа событий, имеющего множественные и двусмысленные значения. Но было бы чрезмерным упрощением представлять журналистов как «манипуляторов» событиями, создающих их по своей воле и в определенных интересах. Сами

журналисты являются объектом стратегий манипулирования со стороны различных социальных групп, пытающихся с большим или меньшим успехом привлечь их для того, чтобы попасть в средства массовой информации.

4.3. ЭФФЕКТ КРУГА

Итак, на третьем этапе социолог должен проанализировать данные, которые он использует, и которые он произвел самим фактом их сбора в той мере, в какой эти данные являются продуктом целого социального процесса. Например, для изучения причин юношеской преступности или самоубийств совершенно недостаточно установить корреляцию между некоторым числом социальных характеристик и статистикой преступности или самоубийств, представленной государственными органами. Помимо этого необходимо исследовать собственно социальный процесс, производящий не только статистику юношеской преступности и самоубийств, но и индивидов, подпадающих под юридический термин «преступника» или «самоубийцы»; все это в конечном счете приводит к социологическому исследованию институтов полиции, права и медицины (см. Chamboredon, 1971 и третью главу данной книги). Аналогичным образом дело обстоит с демонстрацией, проанализированной выше. Пресса не только предоставляет информацию о «событии», безусловно полезную для социолога, но и сама производит его, вернее, сопроизводит. Это означает, что нужно задаться вопросом о том, что лежит в основе собственно социального определения «события» журналистской средой. Любое издание, чья информация подчас незаменима, может заставить читателей забыть о том, что информация является результатом стратегий различных социальных групп, пытающихся привлечь внимание журналистов и вызвать широкие отклики в прессе. Можно сказать, не слишком преувеличивая, что сегодня местом проведения демонстраций являются не

столько улицы, сколько первые страницы газет и экраны телевизоров, на которых следует появиться. Наблюдая за колонной демонстрантов, журналисты рассказывают о событии, будучи причастными к его созданию. Они думают, что освещают событие, хотя, как при взаимоотражении зеркал, группы «демонстрируют себя» таким образом, чтобы пресса не могла их не заметить, учитывая более или менее четкое определение прессой события, о котором «обязательно нужно рассказать». Принимая во внимание особенность функционирования поля политики в современном западном обществе, для групп, участвующих в демонстрации, не столько важно стать «хозяевами улицы», сколько быть замеченными средствами массовой информации и оказать давление на политическую власть посредством воздействия на «общественное мнение», которое отражается службами, организующими опросы. Чтобы выйти из зоны, не освещаемой средствами массовой информации, и войти в «ярко освещенный круг» актуальных тем, общественные группы пытаются сотворить нечто, что заставило бы журналистов говорить о «событии», а именно — неординарные, необычные, небанальные и неповторяющиеся действия. «Приходящий по расписанию поезд не является событием»: достаточно буквально применить этот привычный для журналистской школы принцип и, например, заблокировать железнодорожные пути или шоссе, как это будет воспринято журналистами как «событие». И там, где журналистам кажется, что они сталкиваются с «невиданным», на самом деле имеет место успех стратегии общественных групп, направленной на создание настоящих ловушек для журналистов, состоящих из «невиданных» действий или массовых акций. Первые страницы газет и передачи теленовостей представляют собой стратегическое пространство для поля политики: события, о которых они рассказывают, приобретают общественную важность, что приводит к цепной реакции, при которой происходит переход на новые позиции политических деятелей; «местная» проблема становится «национальной», а второстепенная — «неотложной» и «приоритетной».

Таким образом, социолог не может просто ограничиться этнографическим наблюдением уличной демонстрации или анализом прессы, осветившей данное событие. Ход и результаты события могут быть поняты только при учете влияния прессы, радио и телевидения, которые информируют о нем широкую публику. Помимо этого нужно обратить внимание на роль политических комментаторов и журналистов, пытающихся более или менее сознательно навязать определенное видение события, роль советников по вопросам коммуникации, направляющих их внимание, центров изучения общественного мнения, чьи компьютеры дают моментальный «портрет общественного мнения» сразу же после события, роль политологов, с их более или менее научными комментариями и т. д. Это говорит о том, что простой анализ «прессы» не вскрывает самого главного. Глубокий анализ взятой нами в качестве примера демонстрации крестьян предполагает не только хорошее знание общественной группы, которая вышла на демонстрацию, ее внутренней структуры и внутренних противоречий, но и понимание особенностей поля журналистики и его собственных проблем, а также учет сегодняшних трансформаций поля политики и растущей роли опросов общественного мнения.

Эти замечания в равной мере касаются анализа теледебатов или передач на политическую тему, «медиа-тических» событий, т. е. событий, существующих посредством и для масс-медиа. «Телевыступления» политических деятелей являются лишь верхушкой айсберга, состоящего из политических комментаторов традиционного типа (политиков и журналистов), пытающихся своими заявлениями до и, особенно, после передачи навязать определенную точку зрения. Недавно к ним присоединились «комментаторы-ученые», осуществляющие анализ телевыступлений и динамику отношения зрительской аудитории; наконец, сюда нужно причислить центры по изучению общественного мнения, проводящие опросы для выявления «имиджа» лидеров и их способности убеждать.

Заключение

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАУКЕ

Зондажи общественного мнения — простую технику сбора данных — как это ни странно, очень часто принимают за настоящие социологические исследования. По всем внешним признакам, начиная с вопросника, анкетеров, совокупности ответов и их кодификации и кончая исследованием причин со статистической обработкой и построением двумерных связей, использующим определенное число переменных, таких как возраст, пол, уровень образования или социально-профессиональные категории, зондажи традиционно считают приемлемыми с социологической точки зрения. Многочисленные примеры, приведенные нами в этой главе, позволяют, однако, выделить две главных черты, которыми характеризуется социологический подход и его отличие от простого сбора общественных мнений.

Во-первых, социологическое исследование никогда не сводится к простой раздаче вопросника, но оно всегда должно привлекать целую серию методов, включающих — более или менее широко — различные исследовательские техники. И если в силу того, что вопросник представляет собой быструю и удобную технику сбора информации, социолог зачастую сам приходит к тому, чтобы трактовать данные, полученные таким способом или прибегать к вторичному анализу результатов опросов, проведенных центрами зондажей общественного мнения, то, все же, социологическое исследование никогда нельзя сводить к анализу этих коротких, часто неопределенных ответов на вопросы, почти всегда плохо понятные значительной части опрошенных. Тем не менее, анкеты кажутся самодостаточными, а их результаты сравниваются всегда только с результатами других анкет или зондажей общественного мнения, проведенных по сходной процедуре. Вопросник в социологических исследова-

ниях — это лишь один из элементов и не всегда самый важный, это один из механизмов исследования значительно более разнообразного, привлекающего широкий спектр техник сбора данных: глубинные интервью с информированными лицами, этнографические наблюдения, монографические исследования определенных семей или социальных групп, сбор картотеки, вторичный анализ различных документов и т. д.

Во-вторых, социологическое исследование должно конструировать свой объект, а следовательно, и «данные» тоже. Не существует сырых фактов, которые социолог может просто собирать, и которые имели бы ценность независимо от некоторой теоретической конструкции. Социальная реальность всегда поставляет нам данные «преконструированные», которые социолог должен в свою очередь «деконструировать». Исследования посредством зондажей общественного мнения это игнорируют, очевидно, исходя из неявной философии регистрации реального, согласно которой достаточно дать говорить за себя репрезентативной выборке индивидов и просто зафиксировать их ответы, чтобы познать и понять социальный мир. Труд ученого здесь оказывается сведенным к незатейливой технической роли по составлению вопросника, обработке и интерпретации ответов. На деле же «данные» всегда должны быть интерпретированы и интегрированы в проблематику и никогда не могут говорить сами за себя. Это означает, что не достаточно, например, опросить священников, учителей, музыкантов или крестьян, почему они стали священниками, учителями, музыкантами или крестьянами, чтобы раскрыть социальные механизмы, которые порождают ощущение «призвания», даже если форма, в которой эти социальные категории переживают свои профессиональные обязательства сама по себе интересна и должна приниматься в расчет при окончательном анализе (Suaud, 1978; Muel-Dreyfus, 1983; Champagne, 1986).

Александр Бикбов

**ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДА
СОЦИОЛОГА ЧЕРЕЗ КРИТИКУ
ОЧЕВИДНОСТИ**

Вероятно, следует отказаться от уверенности, что власть порождает безумие и что... нельзя стать ученым, не отказавшись от власти. Скорее, надо признать, что власть производит знание... что нет ни отношения власти без соответствующего образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не образует отношений власти.

М. Фуко. Надзирать и наказывать

Автор следующего за этой книгой текста оказывается перед дилеммой. Если книга предназначалась бы только студентам и голосом Великого Просветителя повествовала бы об огне знания, мерцающем на недоступных высотах, ее могло сопровождать послесловие-комментарий, оттеняющее этот огонь игрой пропедевтических фигур.

Если бы книга, а значит, и приложение к ней были адресованы только зрелым профессионалам, которых уже давно интересуют не базовые положения, а тонкости и подробности, построение текста можно было бы сразу начать с последних, ограничиваясь для ориентира краткими ссылками, типа «объективность социальных отношений у Бурдые». Из двух адресатов — широкая и узкая аудитория, из двух мест произнесения — кафедра и лаборатория, каждое предписывает тексту собственную логику. Однако основная трудность состоит даже не в разнородности аудитории: все же авторы предпочли профессионалов профессорам, а из всех студентов, которые возьмут книгу в руки, они рассчитывали прежде всего на будущих исследователей. Основная трудность вызвана тем, что книга, столь решительно обращенная к принципам исследовательской практики, адресована всем исследователям, на каком бы отрезке научного пути они ни находились. Текст книги накладывает принципиальные ограничения на текст, который может за ним следовать: он отторгает как снисходительные замечания эрудита, так и лобовые отсылки к социологическим «методикам». Но как, работая с ним, избежать крайностей комментария, представляющего книгу через спроецированные в нее смыслы и ценности, и суммы методологии, раскрывающей ее предполагаемую пользу во всех исследовательских ситуациях? Не говорит ли сама книга достаточно ясно о своем предмете, чтобы вообще была нужна чем-либо ее дополнять?

Нам видится только одна полноценная возможность ответить на эти вопросы: чтобы обойти крайности самодостаточного комментария и апологии всеприсутствия, следует обратиться к социальному и социологическому контексту книги. Это и будет лучшим способом прояснить написанное. Но по каким критериям можно выделить контекст? Имеет ли смысл говорить об истории социологических представлений, а в ее рамках — об эволюции исследовательских техник, или, может быть, значение здесь имеет прежде всего политический вектор

предлагаемого в книге анализа? Ответ далеко не очевиден, поскольку данная здесь критическая рефлексия над приемами и операциями, используемыми традиционной (позитивистски ориентированной) социологией и около-социологической индустрией, нарушает привычный покой границы объективности/ангажированности. Исходя из практических интересов исследования, т. е. отвергая с первых шагов школьную классификацию социологических методов (анкетирование, наблюдение, интервью) и даже не претендуя на тот или иной способ формализации расплывчатого понятия «общества», авторы книги сохраняют за своей работой свойственную всякой практике — а исследовательская не является исключением — многозначность. Помимо того, им удается ввести в оборот сразу несколько традиционно различаемых авторов и исследовательских перспектив без ущерба для ясности и строгости объяснительных конструкций. Одновременно, выбор объектов анализа и приоритетное внимание к эффектам функционирования государственных институтов оказываются следствием не только профессиональных, но и политических предпочтений, имеющих выраженный левый акцент. Отсюда, представление о книге может быть встроено и в историческую, и в методологическую, и в политическую перспективы. Учитывая, что мы имеем дело с практическим руководством, мы, в любом случае, ограничиваем контекст практической сферой, акцентируя актуальное, и оставляем в стороне Историю с большой буквы, т. е. перспективу, выходящую за пределы последних десятилетий. Нашей задачей становится социологическая экспликация «способа социологического мышления в действии» (Введение¹).

Подчиненное этой задаче, приложение представляет собой не комментарий, в котором указывают на то, что не было понято (или напротив, было превосходно понято) авторами исходного текста или на то, что проявилось в их суждениях помимо их собственной воли. Оно является дополнением к сказанному, расширением контекста, в котором сказанное приобретает характер социального

факта. В центре внимания здесь находится ряд предпосылок социологического объяснения, которые остались за рамками книги, но которые служат несущей конструкцией предлагаемых в ней техник, а также практический контекст, в котором и эти предпосылки, и эти техники приобретают профессиональное и, более широко, социальное значение. Таким образом, мы постарались отразить здесь следующие содержательные моменты: 1) программу социального познания, в рамках которой воспроизводятся предлагаемые техники анализа; 2) деления внутри французской социологии как научного производства, включающих эти техники и приемы не в арсенал безразличных средств познания, а в актуальную научную борьбу, превращая их в эффекты позиции, школы, цеха; 3) наконец, отношения власти и знания, которые определяют смысл и функции этих научных техник в действующем социальном порядке, т. е. их политическое назначение. Именно эти моменты, в их внутренней связи, призваны удержать в тексте черты, отличающие дополнение к сказанному от комментария.

1. Программа социального познания школы Бурдьё

Эта книга началась с обращения издательства «Dunod» к Пьеру Бурдьё с предложением написать учебник по социологии. Ранее он сам и сотрудники его центра² отказались от нескольких подобных предложений, видя в учебнике самостоятельный и требующий специфического навыка жанр, но на этот раз согласились, условившись с издателем о свободе в выборе формы работы³. Итогом стала коллективная монография, авторами которой выступили четверо давнишних сотрудников и членов школы Бурдьё, и потому, начиная разговор о развернутой в

книге исследовательской перспективе, необходимо остановиться на роли Бурдые в ее становлении. Эта роль является центральной и основополагающей, настолько, что весь проект критической социологии в профессиональной среде обычно обозначается именем Бурдые. Это создает не вполне верное представление, оставляя в тени работу всех исследователей, в разное время с ним сотрудничавших, а также его постоянных соратников и учеников. Но строгая научная логика допускает подобные неточности: будучи продуктом коллективного предприятия, научная рациональность прирастает, тем не менее, от неравных вложений, которые сделаны каждым из действующих в ней ученых и коллективов. (Впрочем, то же можно сказать об обратном эффекте: долговечность научных мифов зависит от усилий, вольно или невольно положенных на их создание — на осуществление мнимых разрывов, установление фиктивных иерархий, изобретение несуществующих свойств и признание действующих различий несуществующими.) Этическое значение, которое коллеги могут приписывать предпринятым усилиям, неважно. Важна их координированность и направленность на научный мир, энергия, с которой ученый действует, заботясь в первую очередь о произведенном эффекте (т. е. одновременно о результате и его восприятии) и только посредством него — о собственном удобстве и вознаграждении. Любые затраты энергии, направленные на изменение устройства научного мира или, напротив, на поддержание его установившейся формы, ведут к признанию, в котором переплетаются восхищение и раздражение, и почти никогда — к молчаливому невниманию. В случае Бурдые прочная, доходящая до магической, связь между профессиональной ситуацией и конкретным именем — результат коллективного признания (в том числе негативного), здравого увековечения и признания профессиональным сообществом тех непрерывных исследовательских и организаторских усилий, которые с начала 1960-х годов Бурдые вкладывает в формирование собственного социологического предприятия. Как во всяком действу-

ющем научном предприятии, на протяжении всего этого срока сменяются сферы исследований, редактируются исходные теоретические посылки и пересматривается исследовательская стратегия, Бурдые вступает в союзы и расходится с соратниками, избирает новые направления критики, отвечая на изменившуюся ситуацию, и сближается с прежними противниками, наконец, работает над созданием собственной школы⁴. И на протяжении всего этого времени, отказавшись от ритуальных подтверждений своей приверженности науке, он продолжает уточнять описание и объяснение интеллектуального мира, по правилам которого действует сам. Именно эта рефлексивная и критическая практика образует центр исследовательской перспективы, о которой пойдет речь. А потому читать данную книгу следует, погрузившись в контекст социологической работы Бурдые.

1.1. ОБЫДЕННАЯ ОЧЕВИДНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНЫЙ МИР

Формирующая школу Бурдые программа социологического исследования имеет отправной точкой самого социолога. Этот факт важен для понимания всего содержания настоящей книги, немалая часть которой посвящена сомнению, методологическому анализу принятых в социологии интеллектуальных тенденций и предпосылок объяснения, опирающихся на представления и данные, поставляемые в социологию извне: демографической статистикой, индустрией опросов, экспертными организациями и государственными институтами, а также опирающиеся на обыденный здравый смысл. Конечно, граница между социологией и смежными областями условна — авторы книги первыми указывают на это самым актом критики и сомнения. И тем не менее проблема границы постоянно обнаруживает себя в дисциплине, если не в крайних формах (вердикт: «Это не социология!»), то в формах

более мягких и рассеянных, ограничивающих исследователя в его каждодневной работе: выборе тем, способов объяснения, стиля описания и т. д. Говоря о значимости проблемы, можно пойти дальше, сказав, что для всякого профессионального производства граница — вопрос о которой стоит настолько остро, насколько неустойчиво его социальное признание — является неотъемлемым условием его функционирования.

В каждой профессиональной области имеются свои механизмы поддержания и обновления этой границы. Если говорить о научной деятельности, целью функционирования такого механизма в историческом пределе выступает установление и уточнение собственного и особенного региона достоверности, не столько обоснованного эпистемологически, сколько признанного практически, в силу его принудительного (как в случае техник естественных наук) воздействия на мир обыденной очевидности. В уже добившихся статуса объективных дисциплин — физике, химии или биологии граница разделяет, в целом, не знание и незнание, а различные схемы объяснения в границах рациональности каждой из наук — исторически сложившегося и практически ограниченного собственного и особенного набора классификаций. Здесь в основе механизма получения достоверного результата и социальных условий его признания лежит резкий разрыв со сферой обыденной очевидности, воспроизводящийся уже на уровне специализированного естественнонаучного образования. Через дисциплинирование мыслительных навыков в специализированных средних школах, а также «естественное» приобщение к научным практике и быту в интернатах, благодаря раннему погружению в лабораторную среду и, наконец, через практическое усвоение методов исследования в университетские годы и в аспирантуре (насыщенные обязательной работой в поле или на установках) исследователь приобретает чувство (или даже чутье) в профессии, содержание которой никак не зависит от его обыденного опыта, образуя принципиально отличный от такового объективный мир⁵.

Для социологии же (как и для иных гуманитарных дисциплин, хотя и в разной степени для каждой из них) собственного, и при том достоверного, мира, вполне оторвавшегося от мира обыденной очевидности, не существует — по крайней мере исторически. Исходным регионом достоверности продолжает выступать именно обыденный мир, с его непосредственным переживанием силовых взаимодействий и вытекающими из него фигурами правдоподобия. Поэтому если в естественных науках механизм поддержания границы, воспроизводящий объективный мир, сразу записывает таковой в организм человека в виде привычек, неосознанных предпочтений, готовых матриц направленных на него профессиональных навыков, в социологии функционирование этого механизма устремлено прежде всего на обыденную очевидность: актом научной критики одновременно «выскабливаются», разрушаются предзаданные обыденным опытом представления и записываются приемы последующей работы с ним. По крайней мере, таково идеальное содержание социологической практики, которая в своем современном состоянии в значительной мере воспроизводит обыденную очевидность и, претендуя на статус науки, стремится оторваться от нее через построение собственного метода.

Поскольку в этом движении социология — имеющая, конечно, свою специфику в России и во Франции — функционирует не в отрыве, но, напротив, в решающей зависимости от прочих символических производств, причем, часто в отсутствии того признания и авторитета, которым облечены философия, литература или даже история, то стремление к социологической чистоте, борьба за определение ее научной формы и переопределение ее отношений с исходными для нее источниками представлений выступает одним из наиболее острых ее вопросов. Если не стараться сразу вытеснить за рамки социологии факт ее зависимости от прочих производств (и, в свою очередь, ее вклад в их содержание), но, напротив, внимательно отнестись к ее генеалогическим связям с философией, литературой, политикой, имея в виду влияние этих

связей на всю научную работу, вслед за Бурдьё и авторами этой книги мы окажемся перед принципиальными вопросами: каковы социальные условия научных практик социолога, и какова реальность, которая становится их результатом?

1.2. Взгляд исследователя и свойства ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ: ИММАНЕНТНОЕ И ТРАНЦЕНДЕНТНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МИРА

Социолог погружен в социальный мир. Об этом свидетельствует не только возможность увидеть в нем одного из участников каких-либо коллективных мероприятий, одного из читателей некоего типа литературы, члена семьи, клиента прачечной и т. п. — откуда получает начало теория социальных ролей. Взяв за неоспоримый факт внутреннюю связь социологии с философией, статистикой, политическим миром — связь, анализу которой посвящена книга, — мы наталкиваемся на погруженность качественно иного уровня. Это не отношения с другими независимыми индивидами, обеспеченная внешним сцеплением, необходимостью делить с окружающими ограниченное физическое пространство или ограниченный экономический ресурс. Это связь, утверждающая саму возможность индивидуального действия через общее пространство социальных отношений, в котором воспроизводятся различные формы неравенства: благосостояния, образования, профессионального признания, вероятной траектории. Если мы вводим в рассмотрение эту связь, изменяется представление и о самой позиции социолога, в т.ч. нашей собственной: мы обнаруживаем перед собой не изначально целостную социологию, планомерно развивавшуюся согласно своему понятию со

времен античности (где каждому из нас предназначено его «естественное место»), а комплекс конфликтующих стратегий описания/объяснения, систему разделения труда, неравное распределение власти и престижа. А из принципиального различия позиций, которые может занять социолог в отношении исследуемого им объекта или социального мира в целом, т. е. в самом социальном мире через отношение к нему — вытекает различие в способе его описания/объяснения.

Начнем с конкретного случая, точнее, случаев. Возьмем для сравнения близкие по теме и даже по ряду исходных посылок примеры из работы Бурдые и из книги другого французского социолога, Р. Будона [7]. Последний в контексте оппозиции «рациональное/иррациональное поведение» рассматривает связь между системой распределения земельных участков в некоторых районах Индии и преобладанием в этих районах многодетных семей. Указывая на недопустимость интерпретации наблюдаемого поведения как «иррационального» только на основании его необъяснимости для наблюдателя, Будон резюмирует: «Семья, имеющая четырех сыновей... приспособилась к ситуации, с точки зрения собственной выгоды, значительно лучше, чем семья с двумя сыновьями» [7, с. 64]. Исходя из постулата рациональности (выгоды) представители старшего поколения (фигурирующие под наименованием «семья») наделяются статусом субъекта социального действия, вычленяемого из всей сети социальных отношений: структур родства, системы административного и экономического принуждения с участием экспертов и государственной бюрократии, системы обмена благами между различными производствами и между различными сообществами (соседями, ближайшими деревнями, родственниками в городе). Калькуляция выгоды, приписываемая субъекту, выступает доказательством его рациональности и, одновременно, тем универсальным основанием перспективы, которое позволяет рассматривать весь социальный мир как совокупность субъектов.

Бурдые, более тесно и детально работая со сходным материалом, системой браков и генеалогий в Кабилии [21, кн. 2, гл. 2]⁶, определяет брак как «акт, интегрирующий совокупность необходимостей, присущих определенной позиции в социальной структуре» и основанный на синтезирующем чувстве социальной игры [18, с. 107]. Противопоставляя стратегию, опирающуюся на чувство игры, прежде всего структуралистскому правилу без субъекта [18, с. 98], но также индивидуалистскому выбору без объективной структуры, Бурдые указывает: «Матримониальные стратегии часто являются результирующей отношений силы внутри семейной группы, и эти отношения можно понять, лишь обращаясь к истории этой группы, в частности, истории предшествующих браков» [18, с. 106]. Таким образом, рассматривая логику брака, Бурдые принимает в расчет не собственную рациональность будущих супругов, совершающих индивидуальный выбор, но поле социальных отношений, в котором этот выбор, если и совершается, то чаще всего им самим не принадлежит. Вводя в качестве объяснительного конструкта стратегию, Бурдые вовсе исключает противопоставление рационального/иррационального из числа характеристик исследуемого им объекта. Стратегия предстает не воплощенной способностью агента самого по себе и не элементом сферы объективных законов, заданной по идеально-целевым признакам (экономика, политика и т. д.). Она выявляется исследователем в качестве состояния или продукта поля отношений, которое, в свою очередь, открывается ему в ходе анализа — не индивидов и не систем, но практик [13].

Исходя из стремления «сделать практику разумной» [18, с. 95], которое разделяет Будон, Бурдые, тем не менее, не приписывает агентам практики разумности и рациональной прозрачности для самих себя. Последнее имеет место при интерпретации каждого случая в логике пускай не явно заданной, но жесткой границы «субъект/ситуация» и «субъект/объект», что можно наблюдать у Будона. Так, «выгода» становится свойством, разделяю-

щим мир на две части: объективную ситуацию (политика земельного распределения) и действия субъекта (решение о количестве детей)⁷. Бурдые, отказываясь от крайностей следования правилу и расчета выгод, противопоставляет им чувство игры или чувство позиции, где объединяются результаты анализа целой сети отношений со сложными связями и переходами внешнего/внутреннего, которая Будонем изначально вынесена за скобки (подробнее об объективности субъективного в социологии Бурдые см. примеч. 28 настоящего приложения). Так же как характеризуя агента, Бурдые отказывается от оппозиции рационального/иррационального, конструируя объект исследования, он покидает границы противопоставления субъект/ситуация. Рассматривая агента и структуры как взаимосвязанные эффекты единого поля отношений, он получает возможность избежать противопоставлений, заранее навязанных конкретному исследованию. Используемые в объяснении оппозиции имманентны либо конкретной практике исследуемых им сообществ (как «мужской/женский», «сухой/влажный», «краткое зачатие/длительное вынашивание» [21, кн. 2, гл. 3] или «традиция/авангард» [22, 1/2–93, с. 53]), либо практике в целом, как развертывающейся во времени реальности социальных отношений (как тематизируемые через горизонт власти «доминирующие/доминируемые» или «сохранение/изменение» [19, с. 212]).

При сходстве тем (и там, и здесь рассмотрение касается системы воспроизводства «традиционных обществ») и исходного стремления (раскрыть логику практики), Бурдые и Будон приходят к принципиальному различию в определении источников действия, на котором основано социальное воспроизводство. Для Бурдые стратегии воспроизводства вытекают из структуры поля отношений в целом. Они оказываются способом отнесения в системе отношений, своеобразной схемой навигации, которая определяется не доскональным знанием местности и происхождения ее ориентиров, а самой необходимостью ориентироваться и соединением опыта уже известных мест

с намерением перемещаться в них и по отношению к ним⁸. Отсюда, рациональность собственных целей оказывается не универсальным основанием практики, а функцией социальных условий, которые ей в большей или меньшей степени способствуют⁹. Сами же условия для подчиненных им агентов остаются достоянием прежде всего чувства и чутья, а не рациональной калькуляции: «Там, где видели алгебру, я считаю, нужно видеть танец или гимнастику» [18, с. 112].

Для Будона социальное воспроизводство подчиняется той же рациональной логике, что и научное знание — социальное действие стремится принять вид формально непротиворечивой системы допущений. Это особенно хорошо видно при описании централизованного управления коллективной практикой, которое интерпретируется по аналогии с куновской парадигмой. Рассматривая переключившийся с первым пример политики переселения крестьян из засушливых областей Бразилии, Будон указывает на смену технического видения проблемы социальным и здесь же оговаривает случайность воздействий, вызвавших смену парадигм. Однако практические ориентиры признаются им объектами коллективных верований (т. е. допущений, принимаемых практически, без полного рационального обоснования) лишь постольку, поскольку неполнота рационального объяснения реальности конкретной парадигмой временна [7, с. 171]. В исторической же перспективе — и прежде всего, в видении ученого-наблюдателя — социальный процесс, несмотря на кажущуюся хаотичность и обилие случайных вмешательств, оказывается сосудом рациональной телеологии, суммы гипотез и системы сменяющихся парадигм, обеспеченных сознательными усилиями вовлеченных в него людей [7, с. 176].

Будучи сопоставлены, способы описания/объяснения, принятые Будоном и Бурдые, обнаруживают — при отмеченных сходствах — принципиальные различия, заключенные в профессиональном взгляде на социальный мир. Раскрывая этот взгляд как отношение, мы получаем

два учреждающих его факта: позицию наблюдателя и характеристику объекта исследования. Если у Бурдьё, признающего за социологией имманентный характер, объект исследования (пространство брачного выбора) предстает неокончательно прозрачным и для самих агентов, в него вовлеченных, и для исследователя, его реконструирующего, то и у Будона связь между его позицией «над» наблюдаемым миром и характеристикой объекта не менее прочна: распространяя предпосылки собственного ученого наблюдения на весь социальный мир, он хотя и не приписывает конкретным агентам всю полноту исторического знания о самих себе, но уподобляет мышление крестьянина мышлению профессора, превращая научную парадигму в универсальную форму социальной практики¹⁰.

«Погруженное», или имманентное, описание / объяснение работает прежде всего с различиями, свойственными самой исследуемой практике, а потому исходным для него выступает различие точек зрения на исследуемую область у социолога и непосредственно вовлеченного в нее агента, а также у социологов, определяющих эту область от лица науки и занимающих в ее отношении несовпадающие позиции. Здесь и берет начало признание неокончательной определенности исследуемой области не только для ее непосредственного агента, но и для изучающего ее социолога. В еще большей мере это требование распространяется на описание / объяснение социального мира в целом, включая его предельно общие характеристики: вид и меру зависимости от несоциальных условий, его структурное единство или независимость локальных порядков, его характер онтологически недетерминированной игры или присутствие в нем той или иной формы телеологии. Исходя из задачи реконструкции конкретной области, имманентный анализ уклоняется от вопросов чистого разума, противопоставляющего действительное возможному. Он не предполагает ответа на это противопоставление, поскольку сам опирается на практический разум, озабоченный задачами социологической практики и ее научной автономии.

Эпохе, распространяющееся на сущностные и каузальные гипотезы, сближает программу социального познания школы Бурдые с феноменологией Э. Гуссерля (бо-ровшегося за признание таковой в качестве науки), направленной на выявление чистых форм, т. е. прежде всего на описание глубинных структур опыта (ср.: [51, с. 14]). Однако если фундаментом, гарантирующим предметность опыта в гуссерлевской программе познания, являлась очевидность [30], то действующим началом программы Бурдые выступает ее отрицание. Именно оно позволяет раскрыть структуру реальных отношений за теми представлениями, которые произведены и предоставлены (навязаны) восприятию агентов в качестве само собой разумеющихся. Принципиальную роль в таком критическом рассмотрении играет анализ происхождения представлений, т. е. их социальной истории — и здесь обнаруживается второе решающее отличие от гуссерлевской программы¹¹. В этом имманентный анализ приближается к работе, проделанной К. Марксом и К. Мангеймом.

Указанные черты позволяют нам вплотную подойти к проблеме, имеющей центральное значение для всех исследований, проводимых школой Бурдые — проблеме насильственного характера очевидности. В познавательной программе Гуссерля очевидность гарантирует адекватное восприятие феномена — она есть наиболее глубокое и основополагающее его содержание: для индивидуального восприятия очевидность выступает в качестве первого условия, обеспечивающее его адекватность [30]. Бурдые не отказывается от этого положения. Но, подобно Дюркгейму, перенесшему кантианские категории из сферы универсальных оснований индивидуального разума в сферу коллективного [71, р. 12–14], он переносит очевидность из индивидуального опыта в социальное пространство и тем самым лишает ее безотносительного (универсального) и сущностного характера. Взятая в функциональном значении для социального мира в целом, очевидность выступает уже эффектом воспроизводства поддающихся исследованию социальных структур и, оста-

ваясь условием всякой конкретной практики, направленного и во многом несознаваемого действия, оказывается решающим стратегическим ресурсом в социальной борьбе. Именно это делает неустрашимым вопрос о ее происхождении и использовании, который в исследованиях школы Бурдьё принимает форму вопроса о способах ее конструирования и навязывания. Настоящая книга представляет собой один из ответов на этот вопрос. Приоритетное внимание сосредоточено здесь на эффектах социального господства, символическом насилии и политическом отчуждении, эффектах власти легитимных обозначений, представляющих мир как систему узнаваемых имен с очевидным содержанием. Оно обращено, конечно, на сферу обыденных представлений и опыт непосредственных агентов той или иной практической сферы. Но более остро этот вопрос сформулирован в отношении самого социологического и сопутствующего ему демографического, статистического, медицинского объяснения, которые исторически от этой сферы отправляются. Таким образом, два центральных вопроса — о роли социолога в конструируемых им представлениях о социальном мире и о роли насилия в происхождении и использовании очевидности — сходятся здесь в точке, обозначающей происхождение социологических классификаций и их практическое использование, выводящее к горизонту обыденного опыта.

1.3. Очевидность, классификация и вопрос власти

Отступим на шаг назад и снова подойдем к объекту исследования со стороны его неопределенности. Если социолог избегает суждений о том, рационально или иррационально социальное действие, конечна или бесконечна цепь социальной причинности и т. д., он вынужден

специально озаботиться поисками того, что придает отдельному объекту или социальному миру в целом его устойчивую форму — по крайней мере, форму, доступную социологическому исследованию. В самом деле, отказавшись от заранее введенных допущений, он нуждается в чем-то, что гарантировало бы устойчивость его описанию/объяснению помимо предзаданных метафизических конструкций. Начиная поиски в логике имманентного анализа, он с самого начала исходит из собственного соучастия в исследуемом объекте, т. е. из неопределенности, которая свойственна его взгляду практического агента, воспринимающего социальный мир в некоторой частной перспективе. Эта неопределенность, вероятность обнаружить «все, что угодно», которая в ходе исследования уступает место определенности и ясности, является одновременно условием и точкой повторяющегося вхождения исследователя в социальный мир, который лежит за рамками уже известного.

Неопределенность за границами частичной определенности, практическая незавершенность агента — будь то исследователь или исследуемый — и делает его агентом социальным, т. е. восполняющим себя в практике. Обратив острие поиска на неопределенность, а не постаравшись на первых же шагах исследования избавиться от нее как от досадного препятствия, социолог не вне практики, а в ней самой обнаруживает основание для своих исследований: через исходную неопределенность или открытость социальному миру, в своей практике агент постоянно воспроизводит социальный мир. Итак, исследователь признает интенциональность практики, предшествующей различным формам социального порядка (разделению труда, политической организации и т. д.) и вводящей в самую ее основу нечто неупорядоченное и находящееся в процессе становления. От ограниченности собственного взгляда, свойственного ему как всякому практическому агенту, он переходит к неопределенности описываемого социального мира: «...Объекты социального мира... могут быть восприняты и выражены разным образом, поскольку

ку они содержат всегда часть недетерминированности и неясности... даже наиболее устойчивые комбинации свойств всегда основываются на статистических связях между взаимозаменяемыми чертами...» [23, с. 197]¹².

Но что же придает социальному миру определенность и ясность? Опираясь на факт сконструированности его представления (в т. ч. при участии социолога), можно дать краткий и многообещающий ответ: классификация [14, с. 127; 23, с. 66–69]. Символический порядок, вводимый через облеченные особыми полномочиями, т. е. авторитетом, речь или письмо, доопределяет социальный мир, увеличивая шансы той или иной конфигурации сил приобрести универсальный характер путем превращения себя в очевидную, т. е. наименее заметную и наиболее основополагающую для самых разнообразных социальных практик¹³. Авторитетно введенная классификация — это механизм преобразования вероятностной связи вещей в окончательный порядок, замещение исходной неопределенности связями, которые выводятся уже не из вещей как таковых, но из отношений, которые усматриваются и привносятся в них говорящим в самом акте речи. Задавая понятие классификации процедурным образом, т. е. исходя не из классификации вообще (что есть классификация?), но из различных существующих на практике классификаций (как классифицируют?), Бурдьё уходит от «чистого» определения. Он анализирует устройство классификации в связи с социальными функциями, которые она выполняет, будучи встроенной в ту или иную систему объективного принуждения. Для кабийского общества это оппозиции, структурирующие практику и организующие физическое пространство в соответствии с организацией социального пространства [21, кн. 2], для университетского мира это институционализированные и неинституционализированные различия, исходящие из различия ставок и капиталов на административном и техническом полюсах производства [61, гл. 2–3], для образовательного учреждения это обыденный здравый

смысл, скрывающийся за системой школьных оценок и характеристиками ученических способностей [59].

Наиболее полно и, одновременно, неочевидно социальное значение классификации раскрывается в действии современной машины государства, которая в процессе своего функционирования навязывает частный способ видения в качестве универсального — через контроль образовательных стандартов в средней школе и вузах, публичные выступления представителей государственных институтов и экспертов (включая журналистов), мобилизованных для обслуживания государственных программ, практики надзора и наказания (например, поддержание порядка на улицах милицией), связывающие телесные состояния и образное восприятие с набором команд и простых типологий (например, законопослушный/подозреваемый/преступник). Каждая из глав настоящей книги предлагает анализ нескольких примеров из этого списка.

Почему государство? Говорящий обладает властью, поскольку классификация придает окончательную упорядоченность не до конца определенному социальному миру, но вопрос о власти не решается сам собой, из одной только способности к речевой (письменной) практике. Авторитетное обозначение «вещей» социального мира обеспечивается признанием, которое говорящий получает даже в том случае, если смысл классификации не вполне доступен слушателю [62]. Значит, говорящий должен заранее обладать тем, что желает сделать признанным, поскольку, закрепляя форму социального мира в порядке представлений, классификация обеспечивает ее обладателя ресурсом борьбы, только если тот способен распоряжаться основаниями, на которых она строится. Ведь если охарактеризовать вещь — это неявным образом признать ее существование, выигрывает от введения отличительных характеристик тот, в чьих интересах существование самой вещи [17, с. 89]. Произведя инверсию посылки, легко перейти к следующей констатации: именно потому, что современное государство выступает держателем всех видов ресурсов в их наиболее концентриро-

ванном виде, оно оказывается наиболее авторитетным и успешным классификатором [9, с. 135; 24, с. 201].

Условием признания классификации в качестве очевидной и естественной выступает концентрация вложенных в ее функционирование капиталов (экономического, политического, культурного), или, обобщенно, социальная позиция, этими капиталами определяемая. Владелец наибольших капиталов создает наиболее реальные «вещи». Даже делегируя внешним экспертам право говорить о положении вещей, государство предоставляет им сами исходные «вещи», создавая экспертные комитеты, выдвигая государственные программы, в которых эти вещи фигурируют уже существующими: «проблемы молодежи», «курс доллара», «малообеспеченные семьи» и т. д. Принципиально важно отметить, что государство не является единым и единственным социальным организмом, выступающим в качестве источника всех одобряемых его представителями авторитетных действий и совершенно слаженно отправляющим свои функции. Тем не менее, как место наибольшей концентрации капиталов и машина, наиболее полно монополизировавшая возможность отправлять не только физическое насилие (видимый и телесный порядок), но и символическое насилие (превращение частного представления во всеобщий здравый смысл) [9, с. 133–34]¹⁴, современное государство обеспечивает наиболее слаженное социальное принуждение, выступая в качестве структуры, которая контролирует воспроизводство актуального порядка и лежащей в его основании очевидности. Вот почему в настоящей книге столь значительное место отведено критическому анализу системы представлений и неявных допущений, которые вводятся через различные инстанции в процессе его функционирования¹⁵.

Поскольку всякий современный социолог, как социальный агент, захвачен отношениями с государством — будь это такие ощутимые формы включенности, как политика зарплат и грантов, или такое трудноуловимое воздействие всего слаженного механизма принуждения, как

индоктринация «ценностей демократии» или «национальных интересов» — он оказывается носителем схем и классификаций, происходящих из функционирования государства и переносимых в социологическое описание / объяснение. Поясняя смысл такого переноса, удобно начать с тезиса М. Фуко, осуществившего пересмотр одной из наиболее авторитетных — в силу своего происхождения и положения — классификаций. Критикуя юридическую модель власти, положенную как нечто само собой разумеющееся в основание большинства социологических и политологических теорий, он указывает, что она «является тем кодом, в соответствии с которым власть себя предъявляет и в соответствии с которым, по ее же предписанию, ее нужно мыслить» [45]. Интерес представителей государства — быть воспринятыми через призму их самопредставления (чаще всего имеющего юридическую форму) — в большинстве случаев остается нормой социологического описания / объяснения, тем самым превращая его в самописание государства во имя и от имени признаваемого за ним авторитета. Бурдые почти воспроизводит формулу Фуко, говоря о способности государства «производить и навязывать (в частности, через школу) категории мышления, которые мы спонтанно применяем ко всему, что есть в мире, а также к самому государству в российских учебных заведениях (речь идет о большинстве учебников для вузов, в которых приводится алгоритм социологического исследования), мы увидим, что исследование нужно начинать с выбора объекта, выделения в нем предмета и проблемной ситуации и тут же выдвигать гипотезы о свойствах предмета. Только после всех проделанных шагов студенту предлагают выбирать наиболее подходящий к случаю инструмент эмпирического исследования. Т. е. область исследования, которая должна стать результатом социологической практики, конструируется, по сути, путем дедукции из обыденного опыта: и объект, и предмет (как социологически реконструированная «часть» объекта) полагаются не только сами по себе существующими «вещами», но

и «вещами», уже известными любому не-социологу, который впервые входит в социологическое исследование. То же касается гипотез, которые вытекают из предзнания социального мира, и проблемной ситуации, которая дана исследователю уже существующей. Таким образом, через систему социологического образования в социологическую практику с самого начала перенесена обыденная очевидность, сводящая собственно социологические способы деления мира к здравому смыслу, произведенному политиками и администраторами (свойства объектов «молодежь», «предприниматели», «банковская сфера»), журналистами (производящими образцы интерпретации социальных проблем и гипотезы о логике социального взаимодействия) и иными агентами политического порядка (например, социальными работниками или педагогами, которым государство делегирует контроль специфического круга им же самим обоснованных и узаконенных социальных проблем).

Критика государства, присутствующего через учебники и, более широко, техники образования в институционализированной исследовательской практике, является частью более обширной задачи построения объективного социального мира, которому кладут предел обыденные (политически заданные) классификации. Если современное государство как место наибольшей концентрации капиталов оказывается производителем «наиболее реальных» (т. е. очевидных) социальных «вещей» и «проблем», то социолог вынужден делать поправку на привносимые этим центром гравитации воздействия и переопределять в систематическом описании / объяснении очевидность господства, выраженную в связном наборе значений: «необратимые изменения», «равенство прав», «формирование класса собственников», «естественная модернизация», «демократические ценности», «рост благосостояния», «единый мировой порядок» и т. п. Власть социолога, заключенная в возможности от имени науки — т. е. авторитетно — доопределять социальный мир, неразрывно связана с выбором, состоящим в принятии очевидно-

сти или в борьбе социологии за собственную достоверность. Этот выбор тем более труден, чем более явным кажется отсутствие связи между социологическими классификациями и политическими баталиями. Между тем, этот выбор можно назвать политическим, поскольку он оказывается не логически обоснованной селекцией тех или иных познавательных схем, а выбором между авторитетами государственного порядка и научной рациональности и, одновременно, — между устойчивостью научной традиции (очевидностью сложившегося описания/объяснения) и прерывистым становлением нового.

В познавательной перспективе воспроизводство знания в сложившихся границах подчиняется кантианской схеме: объект определяется в синтезе многообразного через синтетическое единство сознания и априорные (допытные) категории [32, с. 131–34]. Однако там, где происходит движение за границы известного, кантианская схема переворачивается: конструируя новый объект в разрыве с прежними формами восприятия и мышления о допустимых в рамках дисциплины объектах, исследователь тем самым формирует свое новое сознание и самосознание — через операции по созданию объекта вводит новые категории восприятия и мышления [61, р. 6]¹⁶. Именно в этом контролируемом нарушении «разумных границ», имеющем ориентиром внешнюю разуму реальность, состоит познавательное преимущество научной практики. Такая познавательная инверсия оказывается поворотом и в социальном использовании социологической работы. В идеале, власти государства, производящей те или иные формы сознания во благо существующего порядка вещей, противостоит власть науки, производящей те или иные вещи во имя новых форм сознания. Задача социолога состоит в том, чтобы воспользоваться этим преимуществом и перейти границу, заложенную в дисциплину внешними принуждениями.

1.4. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВ СХОЛАСТИЧЕСКОГО РАЗУМА

Говоря о социологической практике, стремящейся к социальной и познавательной независимости, можно утверждать, что она, как и всякая другая, исходит в процессе функционирования из собственной очевидности и здравого смысла. Исходно в статусе собственных выступают обыденная очевидность и политический здравый смысл. Однако даже они переопределяются в социологическом описании/объяснении в форме специальных классификаций (терминологии и вводимых с ее помощью схем порядка), которые раскалывают монолит очевидности, удваивают ее через отличие от нее самой и оказываются точкой опоры в движении дисциплины к автономии от прочих символических производств. В качестве примера можно привести формы солидарности Дюркгейма, типы политической легитимности Вебера или трехслойную структуру общества (низший/средний/высший классы). При всех содержательных различиях, эти конструкты имеют общий источник, воспроизводя политическую конъюнктуру времени и места своего произнесения: оппозиции цивилизованного мира/примитивного (и колонизируемого) общества, рационального (бюрократия Веймарской республики)/иррационального политического устройства (тех же колонизируемых обществ), стереотип производственной организации труда, приобретший в послевоенный период (и в США, и в СССР) универсальный характер и спроецированный на образ общества в целом. При том, что эти классификации заняли место в основании социологического здравого смысла в силу исторической случайности, в своей совокупности они образовали «логический» горизонт собственно социологического видения социального мира, наметив ориентиры для его дальнейших изменений.

Однако, как следует из ранее сказанного, движение к автономии и самоидентификации социологии не га-

рантировано объективным законом эволюции научного знания или разворачивающимся в ходе истории взглядом общества на самое себя. Практика социолога — и в этом проблемная ситуация в дисциплине не претерпела радикальных изменений с начала века — подчиняется поиску метода, т.е. разрешения тех напряжений, которые существуют между исходной обыденной очевидностью и научным регулятивом систематического описания/объяснения. При всей сложности отношений, связывающих обе эти точки, обыденная очевидность выступает силой, сдерживающей и противодействующей знанию социального мира из-за сопротивления, которое она оказывает введению точных различий¹⁷, поэтому одной из задач, решаемых в ходе поисков метода, является вскрытие обыденной очевидности и устранение ее из структуры социологического объяснения. В рамках программы Бурдье эта задача воплощена в дюркгеймианском лозунге разрыва с предпонятиями — не окончательного акта, раз и навсегда отделяющего очевидное от неочевидного, но постоянной бдительности в отношении посылок и классификаций, вводимых исследователем в описание/объяснение исследуемой области [11].

Таким образом, резюмирующим моментом метода и внутренним резервом его дальнейшего разворачивания становится вектор, направленный от обыденной очевидности и вызвавшего ее исторического произвола к систематической классификации, обоснованной задачами социологической практики. Однако самодостаточность классификации, освященной требованиями учености и эрудированности, представляет собой не меньшую опасность для дисциплины, чем простое следование обыденному здравому смыслу. В этом случае социология утрачивает свою критическую силу — на что указывают в предисловии авторы настоящей книги. Собственную, хотя и неспецифическую истину социологии составляет ее практический характер: она является не способом созерцания, но одним из мест социальной практики, разворачивающейся ввиду и в связи с прочими местами и прак-

тиками. И если первое напряжение — между обыденной очевидностью и систематическим знанием — это вектор, направленный на максимально точную и полную картину социальных различий, то напряжение между созерцательностью и практической вовлеченностью — второй вектор, связывающий незаинтересованную интерпретацию (точка отталкивания) и событийность, вовлеченность в социальный мир практического объяснения (точка притяжения). Последняя предоставляет социологии возможность реализовать себя не просто в качестве метода, но в качестве знания, преобразующего практические схемы, т.е. способы деления и видения социального мира. Именно эта задача выступает центральной для авторов книги (Предисловие).

В предложенной Бурдые программе оба вектора результирует оппозиция схоластического мышления/социологической бдительности. Первый ее полюс обозначает склонность определять социальный мир как «только» объект, систему причинных отношений, которым сам интерпретатор не подчиняется, но которые с очевидностью разворачиваются перед его испытующим взглядом. Второй отсылает к процедурному характеру социологического мышления, умению так построить работу, чтобы вскрыть смысл практики, и, в конечном счете, обозначает требовательность исследователя к предпосылкам совершаемых им шагов и получаемых результатов.

Схоластическое, т. е. одновременно незаинтересованное и наглядное, объяснение, является конечным продуктом образовательной логики. Выступая по видимости строгим и ясным, оно соединяет в себе негативные полюса обеих оппозиций: стремление к доступности заставляет его заимствовать правдоподобие у обыденной очевидности, а логика незаинтересованного созерцания побуждает стремиться к замкнутости и непротиворечивой полноте его форм и элементов. Идеальная форма схоластического объяснения — универсальная иерархия (подобная предложенной Псевдо-Дионисием Ареопагитом пирамиде ангелов), состоящая из нескольких уровней,

которые можно уточнять на основании единого «логического» принципа: например, в рамках геометрической схемы «низший / средний / высший класс» можно, в свою очередь, выделить «низший средний», «средний средний» и «средний высший» классы, а последний раздробить на еще более мелкие ячейки, совершенно не привлекая дополнительного эмпирического материала и таким образом превратив классы социальные (предполагающие значимые различия стилей жизни и ту или иную форму антагонизма) в классы логические (воспроизводящие только свой формообразующий признак). Реальный пример схоластического объяснения в социологии — разветвленные классификации Парсонса, заменившего неопределенное «общество» строгой «системой», любая часть которой может бесконечно дробиться по образцу целого. Именно в силу доступности и простоты организующего принципа, соответствующих логике образовательного процесса, эти схемы, наряду с веберовскими типами легитимности или алмондовскими типами политической культуры, занимают в рамках социологического образования столь прочное место. Следует ли упоминать, что они ничего не сообщают о реальности, от имени которой провозглашаются с кафедры — именно потому, что предназначены «для школы, а не для жизни», т. е. приобретают в школьном объяснении совсем иную функцию, чем в исследовательской работе.

Впрочем, и сама исследовательская практика — начиная с формулировки задачи, заканчивая представлением результатов — совсем не избавлена от схоластического взгляда, являющегося одним из оснований и, одновременно, одним из главных продуктов всякой систематизации. Выступая условием систематизированного знания, схоластический разум учреждает своего рода депозитарий культурных благ, передаваемых по наследству в процессе социального воспроизводства новых поколений. Социологическое образование открывает доступ в этот депозитарий. Однако нужно вовремя разорвать с образовательной логикой: то же, что бла-

гоприятствует памяти и правдоподобию, кладет предел в становлении нового региона достоверности. Как указывает Бурдье, классификаторское и политическое назначение академического мышления оказывается препятствием к прогрессу исследовательской работы [27, с. 48], поскольку схоластическая достоверность — это авторитет уже существующего и признанного. Освященная всеми возможными авторитетами в пространстве суждения (авторитетом научной традиции и связанных с нею «великих имен», а также произведенных государством суждений, т. е. авторитетом политического господства), схоластическая классификация, в пределе стремится лишь к переписи и прояснению всех возможных смыслов слова [63, р. 24]. Ее устойчивость, гарантированная структурой социального обмена — а именно, принятием очевидности и истин, провозглашаемых наиболее авторитетными инстанциями — приводит классификацию к максимально возможному «очищению» от следов борьбы за доопределение социального мира. Подобное очищение позволяет ее производителям сохранять собственную безопасность и независимость, но именно это делает невозможным переход от смысла слов к силовым отношениям, в которых слова приобретают свое практическое значение. Если схоластический разум стремится узаконить все то, что и без него законно, поскольку признано и воплощено в существующем «порядке вещей», то практический интерес постоянно смещает законное равновесие, неведомо для себя или явным образом нарушая установленные границы. Следовательно, социологическая бдительность, противостоящая одновременно обыденной очевидности и самодостаточности строгих дефиниций, направлена на возобновление практической связи социолога с исследуемым миром. Отталкиваясь от примата практики, социологическую бдительность следует понимать как критику (в форме генетического анализа) абсолютных значений, результирующих борьбу заинтересованных инстанций и наследуемых в мышлении и языке исследователя¹⁸.

При этом критика распространяется, как можно видеть на примере данной книги, не на отдельные приемы и ходы, а на принципы построения системы координат, в которой те реализуются. Критика может быть направлена, например, на убеждение о красноречивости и объективности статистических данных, обычно используемых «как есть», а если и подвергаемых сомнению, то ввиду придания им еще большей объективности (Мерлье, 2.1, 2.4). Здесь под подозрением оказывается само представление об объективности. Причем критика объективности далека от привычной романтико-поэтической оппозиции научному разуму и его абсолютистским притязаниям. Сравнивая программу социоанализа и программу такой оппозиции, чаще всего отождествляемой с постмодернистской мыслью [11, с. 10–12; 72], можно, вслед за Т. Бенатуи констатировать, что они представляют собой конкурирующие типы критики [57, р. 285]. В последнем случае критика научного разума исходит из положений, которые не могут быть обоснованы рационально, но при всем своем радикализме она остается привязанной к установленной — еще в XVIII веке самой позитивистской программой научности — границе научного и ненаучного, доказательства и впечатления [77]. Выступая за более радикальный разрыв с рациональными предрассудками, опирающимися и на эту оппозицию, Бурдые предлагает программу релятивизации объективного абсолюта через анализ его социального происхождения и использования [11, с. 15].

1.5. Метод имманентного анализа

Метод имманентного описания/объяснения социального мира, предлагаемый в рамках социоанализа, еще немало время будет требовать развернутого представления хотя бы потому, что отправной плоскостью для российской социологии остается позитивизм с вживленными

него понятиями структурного функционализма. Вполне понятно, что господствующее «над»-смотрение за социальным миром не уступит без сопротивления социологическому «в»-сматриванию. Однако немалая работа по введению в оборот критической программы уже проделана. В частности, для знакомства с основами метода, помимо текстов Бурдьё и настоящей книги, можно обратиться к статьям Н. А. Шматко, посвященным понятиям поля и габитуса в структуре социологического объяснения [51; 52]. Основные понятия и логика метода сведены в энциклопедической статье того же автора [53]. Краткое изложение практической логики социоанализа дано в статье сотрудника Бурдьё Ф. Лебарона [38]. Эскиз сходств критической программы и генетического метода Фуко представлен в статье автора настоящего текста [6]. Среди работ, реализующих метод на российском материале, стоит отметить книгу, Ю. Л. Качанова, посвященную полю российской политики [36], проделанный Н. А. Шматко анализ конверсии бюрократического капитала в поле экономики [54] и исследование Е. Д. Вознесенской по профессиональным позициям архитекторов в России [29]. В качестве образца исследования специфического для России феномена — потомственной аристократии и крупной буржуазии — можно сослаться на работы М. Пэнсон и М. Пэнсон-Шарло [41; 42]. Наконец, чрезвычайно интересны с точки зрения реализации метода работы авторов настоящей книги П. Шампаня [48; 49] и Л. Пэнто [43; 44], посвященные роли политики и экономики в различных секторах культурного производства.

Итак, сейчас перед нами не стоит задача последовательного и непротиворечивого изложения алгоритма, который в неизменном виде можно было бы обнаружить в работе всякого исследователя школы Бурдьё. Задача состоит в том, чтобы воспроизвести отличительные черты имманентного метода, показав, как социоанализ самого исследователя, критика очевидности, релятивизация объективного «абсолюта», видение социальной борьбы с вытекающей из нее практической открытостью агента,

используются при разработке инструментов исследования. Не имея возможности сделать это развернуто в рамках настоящего текста, мы предположим, что читатель ознакомился с только что перечисленными работами, а потому обозначим схему метода несколькими штрихами.

I. Отнесение изучаемого феномена к условиям его социального воспроизводства, т. е. к полю определяющих его отношений. Социологическое описание / объяснение призвано заменить собой наследуемые политические классификации и выступить адекватной формой восприятия области, в которой объект — как система силовых связей и доопределяющих ее классификаций — сформировался и функционирует¹⁹. При этом, поскольку объект в рамках исследовательской программы школы Бурдьё не определяется через заранее введенные родовидовые деления, которые придают ему законченную форму еще до обращения к исследовательским процедурам, до начала исследования имеет смысл говорить лишь о более или менее определенной области, которая преобразуется в объект в ходе социологической работы²⁰. В этой логике первой задачей исследователя становится разрыв с предпонятиями, т. е. с заранее имеющимися представлениями о свойствах предполагаемого объекта (Пэнто, Введение), и выявление реальных отношений, определяющих строение исследуемой области — вне зависимости от того, принадлежат они исходному представлению об объекте или нет²¹.

Вводимый исследователем конструкт поля — это обозначение пространства специфических социальных различий и символических различий (классификаций), воспроизводящихся в обмене между производителями (институциями и агентами данного производства) и потребителями (агентами того же поля или других полей) посредством связывающей их специфической продукции (публикаций, промышленных товаров, законопроектов литературных стилей, форм объяснения и т. д.) и упорядоченной согласно принципам, распространяющимся только на эти взаимодействия (критерии признания, ме

ханизмы карьеры, правила обмена) [19, с. 209]. Т. е. рассматривая поле в качестве референтной рамки, нужно иметь в виду, что это относительно независимая от прочих область практики, в которой действительны деления, правила и производительные иллюзии, не сводимые к некоторому «универсальному» принципу, будь это жажда обогащения, воля к власти или стремление к социальному признанию: различные поля основываются на различных типах капитала²².

II. Следующий шаг после включения в анализ поля, выделяемого по совокупности практических различий, направлен на фиксацию — в виде переменных — силовых и смысловых отношений, которые придают устойчивую социальную форму наблюдаемому феномену. Поскольку задачей анализа поля выступает установление его структуры, т. е. структуры отношений, определяющих свойства объекта, или — что то же самое — условия социального обмена, в качестве переменных следует использовать те характеристики, которые действительно отличают одних агентов обмена от других, один продукт от другого²³. В целом, «невидимое» — социальные отношения, воплощенные в актах обмена (в т. ч. в форме классификации), участниками которых являются практические агенты поля — оказывается основанием социологического анализа, развернутого в системе значимых в поле различий²⁴, каковыми могут выступать институциональная принадлежность и количество публикаций [61], высказывания о социальной проблеме (Мерлье, 2.3; Шампань, 2.2) и школьные оценки [59] (Пэнто, 1.2), браки с дальними родственниками [21, кн. 2, гл. 2; 27, с. 19–20] и пространственная организация манифестаций (Шампань, 4.1), перемены мест работы (Мерлье, 1.2.) и даже улыбки в адрес оппонентов [28, с. 27]. Отличая и объединяя в позиции множество агентов, связанных общим практическим контекстом (ставками, логикой действия, чувством позиции, знанием друг о друге и/или об анонимных правилах взаимодействия), эти различия выявляют силовую структуру, в которой они являются строитель-

ным материалом: одновременно производимым продуктом и несущей конструкцией. Таким образом, отказавшись использовать существующие в рамках здравого смысла представления об исследуемой области, связанные в том числе с собственной позицией и вытекающими из нее социально заданными предрасположенностями и оценками, исследователь восстанавливает объективные статистические связи практик и представлений, определяющие характерный для этой области тип обмена. Объективация структуры поля может быть доведена «лишь» до решающих условий обмена и ставок (как в настоящей книге) или (как в ряде работ Бурдьё и его учеников [61; 76; 81]) до ее математической модели.

III. Анализ самих обменных взаимодействий в рамках и по поводу их объективной структуры, иначе говоря, описание борьбы за условия социального обмена. Картина объективных условий обмена дает основание для анализа происходящей в поле борьбы за сохранение или изменение правил обмена и за способы легитимного определения его результатов²⁵. При этом, имманентное положение социолога в социальной реальности делает необходимым двойной ход исследования или двойной разрыв, заключенный в самом методе: во-первых, указанный выше разрыв с очевидным и заранее сложившимся представлением об объекте; во-вторых, разрыв с внешней по отношению к объекту картиной (вытекающей из требований объективности) и возврат к очевидности, к категориям и иллюзиям, свойственным полю, но уже в контексте установленных объективных различий [24, с. 191–192]²⁶. В рамках имманентного метода схемы восприятия и мышления, а также верования и производительные иллюзии, позволяющие агенту действовать в отсутствие полного знания о ситуации, рассматриваются не только как множество субъективных условий функционирования поля, но и как решающая ставка в борьбе за определение условий обмена. Верования или очевидность, поддерживаемые агентами обмена относительно его условий, являются не менее важным стратегическим ресурсом, чем

полученное образование или объем продукции, которым может распоряжаться конкретный участник взаимодействия [17, с. 79]. Таким образом, борьба за условия обмена одновременно является борьбой за средства превращения ее исхода в очевидность, «естественный порядок вещей» [23, с. 68]. Именно ее история и логика подлежат фиксации на этом этапе работы.

Борьба за определение условий обмена и их восприятия ведется прежде всего вокруг и посредством классификаций, несущих в себе следы предшествующей борьбы. Среди множества функционирующих классификаций, определяемых социальной позицией, можно обнаружить присущие доминирующим и доминируемым, реалистические и эвфемистические, хорошо кодифицированные и очень расплывчатые, определяемые одним критерием и множеством таковых, т. е. в поле не существует единого и единственного набора классификаций. Однако некоторые из них, будучи официальными и признанными, а также являясь общим основанием обмена для всех агентов поля, «имеют больше существования» (как в рассмотренном ранее случае с государством) — они выступают в полном смысле субъективными условиями его воспроизводства, тогда как иные выступают продуктами частного видения или производными от первых. В качестве социологически изучаемых фактов вторые являются не менее объективными, чем первые, если их происхождение и функционирование соотносится со всей структурой обмена, который их обуславливает²⁷.

IV. Поиск функциональной обусловленности субъективного объективным. Отказываясь как от сущностного анализа, так и от поиска причинной связи между объективными структурами и элементами субъективного порядка (например, точками зрения), социолог фиксирует функциональные, или статистические связи между объективными и субъективными структурами. В этом случае результатом изучения поля и его истории/борьбы относительно его структуры становится не каузальная цепочка, а ряд частных гомологий (т. е. подобий) между раз-

личными социальными пространствами, образующими область исследования, в частности, между позициями в поле и точками зрения или стратегиями, которые в нем воспроизводятся [21, кн. 1, гл. 3]²⁸. Наиболее адекватным описанием связи субъективных и объективных структур оказывается история приобретения агентом субъективной организации (которая также не может рассматриваться в терминах причинно-следственных связей). Именно поэтому столь важное значение в критической социологии уделяется анализу социальной траектории агентов, включенных в исследуемую область. История формирования и присвоения субъективности позволяет устанавливать обусловленность (ответ на вопрос «как?») тех или иных форм восприятия и мышления агентов их положением в социальном пространстве (капиталами, переданными семьей; полученным образованием; принадлежностью к институтам и положением в них и т. д.), тем самым позволяя понять и логику этого формирования и присвоения. При этом, траектория рассматривается не как непрерывная линия, единая биография, подчиненная одной цели и логике (например, стремлению к карьерному росту), но как множество точек, или различий, в социальном пространстве, принадлежащих различным локальным единствам: образовательным учреждениям, профессиональным полям, семейным союзам. В противоположность традиционному анализу биографий, отыскивающему «естественную» однородность траектории, на первый план здесь выходит прерывность, т. е. смена социальных конфигураций, переход из одного комплекса локальных единств в другой²⁹. В качестве предельной формы обусловленности субъективных структур объективными рассматривается габитус — система диспозиций, обеспечивающая игры обмена в типичных социальных условиях и позволяющая адаптироваться к новым условиям путем частичной вариации и присвоения новых диспозиций на основании имеющихся³⁰.

V. Самообъективация или «двойная историзация». Преобразование изучаемой области в объект не может

быть окончательным без учета того, что в описание/объяснение социального мира привносится частной перспективой исследователя и логикой социологического производства в целом: исторически сложившимися формами восприятия и мышления и научной (и более широко — социальной) борьбой, в ходе которой они формируются. Поскольку структура всякого поля исторически изменяется, смещается и место разрыва социологического взгляда с производимой этими полями очевидностью³¹, а потому социологическая перспектива оказывается открытой в две стороны: по направлению к структуре изучаемой области и по направлению к категориям и схемам самого социолога. Самообъективация в ходе исследования³², освобождающая исследуемую область от произвола исследователя и одновременно возвращающая исследователю социальный смысл его практики, предполагает использование социологических процедур в отношении собственных интересов исследователя и его взгляда на социальный мир, которые заданы его позицией в поле культурного производства [16]³³.

Две основные линии самообъективации и работы с ограниченностью собственной перспективы заданы, во-первых, изучением собственного научного мира как поля, основанного на специфических условиях обмена, где производимые научные классификации зависят как от структуры поля в целом, так и от позиции в нем исследователя³⁴, и во-вторых, социологической бдительностью, контролирующей допущения и схемы исследования, отмеченные акцентом той или иной частной перспективы (см. § 1.4 настоящего приложения). В рамках конкретного исследования эта часть является наиболее сложно осуществимой, поскольку требует не только навыка саморефлексии, но и смелости ставить под вопрос само собой разумеющиеся основания научной практики и собственную позицию в научной борьбе³⁵. Тем не менее, объективация именно этих «очевидных» и на деле совершенно неисследованных условий социологической практики позволяет достичь объективного статуса зна-

ния, представляющего собственно социальный объективный мир³⁶. Социальная история собственного мышления вводится в исследование наряду с историей объекта, в результате чего «дважды незамкнутая» перспектива каждый раз снова открывает социологический объект настоящему. Именно в таком движении к собственным социальным основаниям состоит преимущество имманентного метода критической социологии перед различными вариантами трансцендентных социальных теорий или «только эмпирической» работы.

Несколько слов в заключение этой части. Переходя от введения в метод к введению в практический контекст его становления и применения, следует подчеркнуть особый смысл употребленных здесь слов «программа познания» и определяемого через них «метода». Говоря о «познании» в рамках метода, разработанного в школе Бурдье, нужно понимать его отличие от традиционного значения этого слова (наследующего немецкой классической философии) как способности субъекта к сущностному созерцанию. В случае простого наследования философскому определению, в понятийный словарь социологии переходит познание, определяемое свойствами субъекта, и субъект, определяемый через способность к познанию. В программе, предложенной Бурдье, мы обнаруживаем шаг из этого круга допущений в радикально от него отличающийся: агент определяется практически, в полном смысле этого слова. Он определяется через практику в социологическом описании / объяснении введением целого комплекса производных от тела характеристик, и одновременно, он понимается как сформированный и учрежденный практикой в самом социальном мире. Трансцендентальная проблематика в форме вопроса об условиях возможности не вычеркивается из социологической работы — и лучшим подтверждением тому является понятие габитуса. Однако познание без субъекта перево-

дит вопрос об основаниях знания в проблеме условий практики. В конечном счете, познание в самом его определении утрачивает пассивные черты (созерцательность), оно становится процессом конструирования системы практик и результирующих ее фактов, определяемых логикой социологической работы³⁷. Т. е. конструированием системы объективного мира — но уже не мира физики или химии, а собственно социологии, ансамбля объективных социальных отношений. Именно отсюда, с уровня первых посылок социологической программы, берет начало критическая направленность работ школы Бурдьё, обязанная совсем не столько и не только внеположенным политическим задачам (левым предпочтениям входящих в нее исследователей), сколько связи имманентной точки зрения и критическим взглядом на очевидность, к которой эта точка зрения изначально привязана.

Тезис о неокончательной определенности социального мира предназначен стать собственной очевидностью социологического исследования, противостоящей очевидности политической, гласящей, что все вещи определяются юридически (на основании иерархии родов и видов) или очевидности обыденной, утверждающей, что «все есть, как есть». В современном состоянии социологии задача исследователя, конструирующего собственную классификацию — не просто дополнить существующую «систему вещей» новыми сведениями о ее количественном или качественном составе, но ввести новый порядок вещей, добиться для своей классификации статуса неустранимой в самой дисциплине и, тем самым, в очередной раз преодолеть внешнее принуждение, исторически довлеющее над научной логикой, принуждением внутринаучным.

2. Система практических оппозиций и структура школы

Реализуя в отношении школы Бурдьё методологический прием, предложенный им самим³⁸, можно увидеть, как имманентный метод вырастает из системы различий, действующих в современном пространстве французских социальных наук, а также из системы гомологий и разрывов такового с полем политики. При этом, политическая логика — как содействие, так и противодействие социологов различным политическим силам — воплощается в строении этого пространства не прямо, поскольку напрямую проникновению препятствует его собственная структура обмена и господства. Потому прежде всего следует зафиксировать позицию школы в академическом поле, т. е. в ее отношениях с прочими позициями и школами, где сформировалась и воспроизводится ее критическая программа. Для того же, чтобы не упускать из вида связь между уже прослеженной нами политической и академической логикой первых посылок имманентного метода, мы будем принимать в расчет, что «структура университетского поля отражает структуру поля власти, поскольку протекающая в нем деятельность по отбору и индоктринации вносит свой вклад в структуру последнего» [61, р. 41]. Рассматривая позиции и оппозиции, на которых строятся научные стратегии представителей школы, будем учитывать это удвоение перспективы, связывающее внутриакадемические деления с ролью социолога в воспроизводстве политического порядка. Предваряя дальнейший анализ, можно сказать, что именно этим удвоением перспективы вглубь объясняется поддержание школой вдвойне широкого фронта критической работы, направленной, с одной стороны, против высокой и самодовлеющей учености, с другой, против политически заданных обыденных представлений, предъявляемых от лица науки. Оба эти направления критики воспроизво-

дят в социальном регистре основополагающий регулятив программы познания: поскольку социологическая практика предполагает учреждение собственного, научно достоверного порядка, роль социолога конструктивна и не может сводиться только к оправданию актуального порядка средствами науки.

2.1. Оппозиция исследователя/профессора: ПРОТИВ САМОДОВЛЕЮЩЕЙ УЧЕНОСТИ

Оппозиция практического и схоластического в социологии, которой мы уже касались выше, по сути, содержит в себе две оппозиции или две перспективы: ближнюю и дальнюю. При этом, ключом для раскрытия обеих перспектив в их взаимосвязи может служить высказывание Хайдеггера: «...В тот самый — для мира определенный — момент, который значится как начало философии, как раз и начинается ярко выраженное господство обыденного рассудка (схоластика)» [47, с. 25]³⁹. Установленная здесь связь между обыденным и схоластическим не является чем-то отвлеченным, напротив, она раскрывает практический парадокс: соединение формальной сложности школьных построений и их обоснование принципом «само собой разумеющегося», который стоит за обыденным рассудком [47, с. 9]. Свойство ключа этому высказыванию придает то, что оно связывает «высокое» — начало философии, «царицы наук», и «низкое» — обыденный рассудок, повседневную очевидность. Оно показывает, что корни наиболее возвышенного нужно искать в самом приземленном. И именно эта связь обнаруживается в точке соединения обеих перспектив — в понятии «схоластического».

Дальняя перспектива явным образом отражена в построенном по всем правилам академической игры «высоком», интеллектуалистском анализе схоластического ра-

зума, проделанном как самим Бурдье, так и его интерпретаторами⁴⁰. Ее разработка состоит в выявлении «предпосылок, определяющих доха, связанную родовыми отношениями со *skhole*, с досугом, который является условием существования всякого научного поля» [63, р. 22]. Т. е. социологическое исследование, раскрывающее эту родовую связь, подчиняется вопросу, как обладание досугом управляет содержанием научного труда. Персонаж, замыкающий дальнюю перспективу в ее историческом горизонте — это идеальный тип ученого, ведущий свое происхождение от гуманиста позднего средневековья и наиболее полно воплотившийся в ученом ньютоновской академии, джентльмене, свободно распоряжающемся временем и собою, гордым своей независимостью от инстанций внешнего контроля и тщательно заботящемся о соблюдении принципов беспристрастного исследования⁴¹. Именно такого ученого, обладателя досуга и воли к знанию, привлекают требующие длительного размышления сюжеты, общие принципы и универсальная истина [27, с. 54]. И именно он — заполняющий размышлением то время, которого недостает всем прочим, зависящим от своего ремесла, вовлеченным в игру частных интересов — оказывается носителем наиболее явно выраженного «интереса в незаинтересованности», обосновывающего научное отношение к миру. Будучи институционализированной, эта ученая «незаинтересованность», незаметно переопределяющая мир на языке объективизма, неучастия и внешнего наблюдения, и оказывается отправной точкой для критического анализа.

Ближняя перспектива оказывается в тени «высокой», однако именно она — часто не сформулированная явно, но четко схватываемая практическим чувством — выступает причиной негодования французских (и не только) коллег в адрес Бурдье и его соратников. Иногда эта причина озвучивается на языке морали или идеологии, но это, скорее, — еще один «высокий» повод, маскирующий все ту же ближнюю перспективу⁴². Чтобы вникнуть в практический смысл подобного негодования, нужно по-

нять, что критика схоластического разума и процедуры социоанализа, ее обеспечивающие⁴³, воспринимаются как потрясение основ самого академического мира, т. е. сложившегося в нем «естественного порядка» и здравого смысла, который его узаконивает. Особенно вызывающим предстает результат методичного сомнения в адрес наиболее очевидных его положений: социоанализ не только показывает, что принятые в научном мире конвенции одинаково успешно работают как на подготовку к открытию истины, так и на ее сокрытие, но и описывает механику сокрытия в интересах господства.

Критикуя предпосылки институционализированной учености и ее здравого смысла, сторонники Бурдые задевают позиционные интересы прежде всего тех, кому выгодно сохранение status quo в ранее сложившейся иерархии научной власти и престижа, где высшие места принадлежат либо хранителям уже произнесенных, «вечных» истин, либо наиболее удачно использующим политическую конъюнктуру «советникам», действующим в науке от лица государства, а в политике — от имени науки. В свою очередь, обладатели этих позиций с наибольшим недоверием относятся к реализуемой сторонниками Бурдые критической программе, поскольку более всего зависимы от господствующего в социальных науках порядка очевидности. Их негативная реакция становится контрфорсом, предназначенным исправить восприятие, смещенное критическим взглядом на «раз и навсегда» решенные вопросы действенности и власти в интеллектуальном мире⁴⁴.

При этом, оппозиция исследователя/профессора противопоставляет школу Бурдые преподавательскому корпусу Высших Школ или Сорбонны не просто на основании выполняемых теми и другими функций: большинство сотрудников Центра европейской социологии обязаны вести преподавательскую работу. Оппозиция приобретает остроту именно в общем пространстве исследования и преподавания, отображая конфликт социальных интересов и культурных навыков. Различие социальных позиций обусловлено прежде всего различием типов карье-

ры: если университетские профессора выступают держателями институционализированной формы культурного капитала, который, помимо устойчивого дохода, гарантирует им карьеру бюрократического типа, то исследователи зачастую оказываются «еретиками», занимающими, как и представители свободных профессий, весьма неустойчивое положение в пространстве институций [61, р. 36]. В культурных навыках различие интересов отражается прежде всего в доминирующей схеме практики: стратегии переноса исследовательских диспозиций даже в преподавание противостоит стратегия воспроизведения профессорских диспозиций даже в исследовании. И если позиция исследователя предполагает бдительность, направленную на предпосылки осуществляемых им шагов: практик заинтересован в экономии сил и времени, то позиция профессора, как и позиция интерпретатора моральных, политических или литературных сюжетов, объективирующая распоряжение досугом, основывается (и в социальном, и в познавательном смысле) на вынесении за скобки самого вопроса о применимости и адекватности преподносимых интерпретаций⁴⁵. Если рассматривать настоящую книгу в контексте оппозиции исследователя/профессора, она оказывается ярким свидетельством нарушения членами школы Бурдье правил схоластической систематизации даже в таком случае бесспорного господства профессорского разума, как учебное пособие. Это и превращает их в еретиков, в академической борьбе противопоставляющих схоластической учености практический навык.

В целом, критика «схоластического разума» в ближней перспективе обращена прежде всего на две учреждающих эту перспективу фигуры: профессора и эксперта-консультанта⁴⁶. Если в тексте настоящей книги ссылка на профессора как на отрицательный персонаж дана косвенно, в форме упрека образовательной логикой⁴⁷, сам Бурдье более энергично демонстрирует оппозицию исследовательского/схоластического: «Не посвящая себя культу полевого исследования или позитивистскому фетишизм-

му в отношении “данных”, я, тем не менее, испытывал ощущение, что эти виды деятельности, в конечном счете не менее интеллектуальные, чем прочие, по самому своему содержанию, более скромному и практическому, а также по тем выходам в мир, которые они обеспечивали, представляли собой возможность избежать схоластического заточения среди кабинетных людей, библиотек, курсов и дискурсов, с которыми профессиональная жизнь заставляла меня соприкасаться» [63, р. 13]⁴⁸. Стратегия школы, направленная на то, чтобы в этой оппозиции постоянно занимать полюс исследования, дает одновременно познавательный и практический результат: вводя в борьбу точек зрения — через научную полемику или образовательный процесс — регулятив нового, социологически обоснованного «порядка вещей», она разрушает монолит самопредставления государства, обеспеченного высокоучеными классификациями, и этим создает условия к дальнейшему конструированию собственно социологического представления о социальном мире.

2.2. Оппозиция узкого/широкого производств: критика обыденных и политических представлений в социологии

Если в оппозиции «исследователь/профессор» острие критики направлено на ту очевидность, которая располагается почти исключительно в границах профессионального занятия социологией, и анализ профессорского разума оказывается вписан в логику борьбы за монополию на профессиональное представление о дисциплине в ее рамках⁴⁹, то эта оппозиция отражает борьбу за то представление и содержание социологии, которое находится преимущественно за рамками профессионального сооб-

щества и приобретает значение легитимного социального факта в отношениях между социологией и всеми иными социальными производствами. Распространенное за пределами профессиональной среды представление «социология — это опросы», как свидетельствует в настоящей книге П. Шампань, не исключительно российское. Опасность этого и подобного ему представлений заключается не только в том, что они скрывают от непрофессионалов ведущуюся в социологии работу по конструированию объективного социального мира; более существенно, что они оказывают обратное влияние на легитимные формы социологической практики и критерии достоверности. Агенты индустрии опросов, эксперты по политическим и социальным вопросам или профессора, обращающиеся к аудитории уже не с университетской кафедры, а с экрана телевизора, продолжают участвовать в научной борьбе или преподавать, заново вводя в социологическую практику ориентацию на некомпетентного потребителя, т. е. на обыденное правдоподобие и иллюстративность, заменяющие критический анализ. Используя ресурсы СМИ (например, финансирование опросов и доступ к аудитории, обеспечивающей признание), они образуют весомую оппозицию исследователям, ориентированным на собственную достоверность социального знания и на признание равных в борьбе за ее определение.

Здесь мы возвращаемся к затронутой ранее проблеме границы между рационально обоснованным, организационно обеспеченным объективным миром и миром обыденного произвола — границе, которая выступает необходимым условием научности социального знания. Поскольку социальные условия объективного мира не сводятся исключительно к организационным формам науки, будь то структура лаборатории или системы академических институтов, а собственная логика дисциплины, образованная пересечением различных интересов и перспектив, не является однородной и равномерно развертывающейся, внутри научного производства, каждый раз

обнаруживается усвоенное внешнее, источник и механизм действия которого может быть зафиксирован социологически. Описывая функционирование литературы, музыки, живописи или гуманитарных дисциплин, Бурдьё вслед за Марксом выделяет два сектора: широкого и узкого производства, или производства для профессионалов и производства для широкой публики, различающиеся по ориентации (а значит, и продукции) в системе обмена и дифференцирующиеся по мере приобретения полем автономии [22, 1/2–93, с. 51]⁵⁰. Чем менее устойчива — как в случае социологии — граница между широким и узким производствами, тем более актуальной оказывается проблема ее поддержания. В автономизирующемся поле граница является одновременно продуктом и главной ставкой автономии, поэтому столь принципиально вопрос о «чистоте» узкого производства ставится держателями ведущих в этом секторе позиций и ставок.

Выступающие с позиций обыденного здравого смысла эксперты по «проблемам социальной стабильности», «делам молодежи» или «политическому развитию», равно как и социологи-публицисты, адресующие свою продукцию непрофессиональному потребителю, предъявляют себя в качестве ученых, поскольку анонимный авторитет науки обеспечивает их суждениям первоначальный кредит признания. Подобное соединение авторитета науки с авторитетом политического господства позволяет лучше увидеть политическое происхождение обыденной очевидности. Под именем объективных фактов и тенденций этот единый авторитет позволяет узаконивать текущие интересы и произвол непосредственных участников политической борьбы. Например, во Франции, как и в России, через СМИ или учебники от лица социологии, экономики и «науки» в целом проводится систематическая работа по приданию «естественности» (а ранее в России: «необратимости») демократии, когда общее обозначение политических свобод обосновывает всю полноту режима господства. Подобная работа — в силу ее универсального характера, вытекающего из интересов госу-

дарственных институтов и баланса сил в международной политике — дает эффект и в поле научной борьбы, в форме публикаций на определяемые крупными грантодателями темы, финансирования семинаров с заданными политическими акцентами и т. д. Наконец, вводимые в широкий оборот от лица социологии классификации дают не только непосредственный обратный эффект в научной борьбе, но и превращаются в отсроченный здравый смысл будущих исследователей и преподавателей, получающих представление о социальном мире в ходе образования, а также в ходе диффузной социализации, навязывающей через СМИ норматив упреждающей лояльности. Этот множественный и неочевидный возврат логики широкого производства в узкое и становится практическим фокусом и отправной точкой критики, ведущейся представителями школы Бурдье с позиций узкого производства⁵¹.

2.3. Основание критической диспозиции

Но что выступает точкой опоры, позволяющей непрерывно опровергать официально признанный порядок как в форме схоластической классификации, так и в форме присутствия государства в социологическом описании / объяснении? Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. В самом деле, наряду с критикой схоластизма, в работах самого Бурдье присутствуют такие схемы и приемы «высокой» философской традиции, как картезианское сомнение, кассиреровское различение субстанции / отношений, хайдеггеровская открытость бытия, марксова борьба классов и диалектика производительных сил / производственных отношений, ницшеанская воля к власти и перспективизм истины, гуссерлевский допредикативный опыт, витгенштейнианское семейное сходство остиновский перформативный акт, дьювианское мышление как практика — встроенные путем непрямого пере

носа в социологическое описание / объяснение. Некоторые из них Бурдьё указывает открыто, о происхождении иных умалчивает⁵²; используя при этом те и другие в двойном назначении: как в качестве традиционного средства легитимации теоретических построений, так и в качестве противовеса обыденной и официальной очевидности. В том же двойном назначении в его работах встречаются отсылки и к ряду «основателей» социологии и лингвистики: Веберу, Дюркгейму, Моссу, Соссюру, Бенвенисту. (Отдельного исследования потребовал бы анализ следов художественной литературы в социологических работах Бурдьё, в частности, традиционных для интеллектуальной среды Франции отсылок к Прусту, привычных для социальной мысли обращений к Бальзаку⁵³, а также более своеобразных источников социологического вдохновения, таких как тексты Лотреамона или Джойса⁵⁴.)

И вместе с тем раскрытие метода и стратегии школы только через рафинированные образовательной логикой схемы Маркса или Вебера, Башляра или Остина, Гуссерля или Хайдеггера всегда будет обнаруживать в себе черты произвола и неокончателности, навеянных иллюзией «высоких имен»: свести смысл критической социологии лишь к продолжению «высокой» традиции значило бы отрицать ее специфику. Для нее существует иная, «нижняя» точка опоры, не сводимая ни к текстам предшественников, ни к систематически построенной профессиональной практике. Не имея возможности подробно развернуть здесь линию анализа и аргументов, мы можем обозначить ее лишь пунктиром. Но даже это оказывается чрезвычайно трудно сделать, поскольку «низовой» ресурс весьма полно переопределен в логике имманентного метода и в практике членов школы как агентов узкого производства: в качестве научного продукта критическая социология никак не может быть «народной» (в противовес «высокой») и вовсе не предполагает абсолютизации неофициальной точки зрения⁵⁵. Тем не менее нижняя точка зрения каждый раз включается в конструкцию описания /

объяснения, тем самым лишая «высокую» официальную перспективу роли абсолютной шкалы. Соотносительное мышление, в высокой перспективе отсылающее к структурализму Леви-Строса, в нижней оказывается схемой обновления снизу, привносимого критической социологией. Чтобы быть кратким, критическая социология в качестве «низового» источника имеет либо еще не тематизированный социологическим описанием / объяснением опыт, либо здравый смысл, свойственный позициям доминируемых, который «сопротивляется» навязываемой им очевидности господства.

Новое прочтение социологической «классики» и в целом, обновление социологической схематики здесь во многом обязано обращению к социальному «низу» и прежде всего введению такой модели описания / объяснения, в которой смысловые различия утрачивают статус отдельной реальности и «снижаются» до отношений силы, т. е. до объективной структуры поля. Систематическое использование этого приема школой Бурдье дает повод к обвинениям в редукционизме [55; 75], однако его действие намного глубже, чем простое сведение смысла к силе. В этом разочаровывающем и, вместе с тем, обновляющем снижении обнаруживается сходство со схемой письма Ф. Рабле, проанализированной М. М. Бахтиным [4]. Отношения силы производительны, подобно телесному низу, но обращаться к ним, как и к телесному низу — значит противоречить высокой культуре, позволять себе излишнюю вольность. Говоря об интересе ученого в незаинтересованности, изучая политическое или экономическое происхождение экспертных суждений, вскрывая источники легитимности медиатических философов, рассматривая верования как продукт и средство политического обмена, критическая социология поступает именно так. Она указывает на производительный характер силы, но не останавливается на простой констатации: она заставляет убедиться в факте зависимости точки зрения или суждения от занимаемой позиции и, таким образом, во многом отменяет значимость отдельно взятых смыс-

ловых различий. Так, показывая, что за нюансированной системой школьных характеристик во Франции стоит обыденный здравый смысл и усвоенное социальное неравенство, П. Бурдьё и М. де Сен-Мартен развенчивают «высокий» смысл официальной оценки [59]. Подобное, одновременно разочаровывающее и обновляющее, снижение присутствует в большинстве работ, объектом которых выступает «высокая» культура (в настоящей книге см., напр., Пэнто, 2.1.)⁵⁶.

В наиболее явном виде противопоставление верхнего/нижнего в самой социологии реализовано в оппозиции ремесленного и даже «варварского» отношения к интеллектуальной продукции/схоластическому и фетишистскому употреблению ее результатов [27, с. 49–51]⁵⁷. Хайдеггера формула в практике школы переворачивается: схоластизации обыденного рассудка противостоит операционализация продуктов рафинированной рассудочности. Таким образом, новаторский ресурс имманентного метода, подобно ресурсу раблезианского письма, состоит в соединении элементов философских и социологических категориальных систем с «низовыми» основаниями социологического взгляда, в т. ч. со взглядом на социальный мир с позиции доминируемых. Следует заметить, что последний имеет основания и в биографии самого Бурдьё, который поднялся на вершину академической карьеры, будучи выходцем из семьи провинциального чиновника почтовой службы [69; 78, р. 23]. Но, как и Рабле, Бурдьё не просто «смотрит снизу»; он придает смысл «высокому» через неотложные задачи практики и, тем самым, сдвигает границы самой классификации высокого/низкого, нарушая ее непротиворечивость. Социальным подтверждением может служить тот факт, что метод критической социологии не усвоен традиционной (теоретической и официальной) историей социологии с той же легкостью, как теории Турена, Лумана или Хабермаса, ведь ее вектор направлен против и вне официальных и «ученых» типологий, обоснованных оппозициями разума/тела, социального/биологического, истины/лжи, субъекта/

объекта и ряда подобных. Отсюда же проистекают упрёки в нелогичности, незавершенности, противоречивости критической социологии⁵⁸. Конечно, критическая социология не утверждает «спонтанную социологию» обыденного восприятия, которую Бурдьё критикует так же, как самодовлеющую ученость. Речь идет о социологии, которая вскрывает привычно скрываемые условия господства и механику очевидности, т. е. о социологии, которая основана, в противоположность взгляду извне и сверху на взгляде снизу и изнутри — уже не столько в познавательном, сколько в социальном смысле.

2.4. ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА ШКОЛЫ БУРДЬЁ

Результатом овладения любой профессией, результатом запланированным или не принимаемым в расчет, является изменение способа восприятия, точки зрения, т. е. в конечном счете, социальной перспективы. В случае школы Бурдьё мы имеем дело с намерением контролировать условия этого пересмотра — именно таков практический смысл социологической бдительности. Для поддержания контролируемых условий смещения перспективы необходима та или иная форма коллективной практики. Ею и является научная школа. Комплекс отношений, который в настоящем тексте обозначен как «соратники» или «школа Бурдьё», не исчерпывается этим аспектом. Тем не менее одна из основных задач школы как социологического предприятия состоит в поддержании внутренней динамики, длительном воспроизводстве нетипичных социальных условий, позволяющих достичь специфических результатов, среди которых одним из главных выступает особенное профессиональное видение (условие позволяющее, в свою очередь, производить новый результат). Такое усиление особенного обосновывает автономию всякого производства и всякой позиции. Другая задача шко-

лы как социологического предприятия вытекает из того факта, что признание нового взгляда как коллегами, так и широкой аудиторией обеспечивается действием социальной механики, в которой школа играет роль постоянно действующего источника событий и силового центра в системе подобных ей центров. В логике научного обмена и борьбы школа выступает формой институционализации теоретической ставки⁵⁹, обеспечивая постоянство принципов в разнообразии их приложений. Воплощая эти две основные интенции: поддержание специфической внутренней среды и борьба за признание в пространстве теоретических различий — всякая школа, тем не менее, не строится по единственной модели. Не претендуя на создание общей классификации, здесь мы намерены зафиксировать специфику школы Бурдые как тематического и стратегического союза, воспроизводящегося во времени⁶⁰.

Принимая в расчет изначально «еретическую» стратегию школы с ее ориентацией на самодистанцирование от официальной доксы и насколько возможно полное введение в анализ системы различий, действующих в поле, а также центральную роль, которую в задании вектора школы играет работа Бурдые, можно признать, что ее организация и положение в интеллектуальном производстве тяготеют к модели возглавляемой пророком секты, борющейся против жреческого распоряжения социальным знанием⁶¹. Являясь следующим шагом в реализации социологической автономии, критическая программа школы претендует на охват максимально широкого спектра явлений своим видением. Долгое время выступая авангардным образованием, т. е. одновременно наиболее узким по области признания и наиболее радикальным по отношению к актуальной в поле традиции, она стремится превратить свой частный взгляд в универсальный принцип производства⁶². Однако изначально определить функционирование школы через узкие рамки секты значило бы пренебречь фактом устойчивого воспроизводства профессионального навыка и взгляда. Это было бы

данью взгляду извне. Нас же прежде всего интересует вопрос о социальных условиях, которые обеспечивают длительное поддержание специфических условий производства и императива универсализации.

Начнем с того, что школа во многом обязана своим существованием эффекту конверсии: сам Бурдьё, перешел в социологию из философии [28, с. 28]⁶³, почти все его сотрудники также являются обладателями «нетипичных» траекторий: они не получили университетского социологического образования, а вошли в профессиональную практику через исследовательский семинар Бурдьё и/или его соратника К. Пассрона в 1960–1970-х и, таким образом, получили возможность более гибко и критично распоряжаться конвенциями, сложившимися в академическом секторе дисциплины. Характеризующее школу сопряжение «высокой» философской традиции и нехарактерных для школьной социологии приемов является прямым результатом конверсии. Собственная теоретическая практика Бурдьё как главы школы также вписывается в логику конверсии разнообразных навыков в социологическую компетентность: социологически переопределяя философские схемы, Бурдьё делает их достоянием исследовательской практики — собственной и своих сотрудников. При этом речь, конечно, не идет о мгновенном превращении философа в основателя социологического анализа, а представителей цехов юристов, философов, урбанистов, этнографов — в его соратников. За иллюзией теоретического единства школы стоит длительный процесс тематических поисков и экспериментов. Как и за образом школы — единого организма скрывается, с одной стороны, длительный отбор соратников и союзников, сопровождавшийся целой серией разрывов, с другой, история внешних давлений, в частности, длительная реакция институционального отторжения, которая до начала 1980-х закрывала для членов школы двери многих научных и образовательных институций⁶⁴. В значительной мере именно эта отмеченная критическими диспозициями «нетипичность», а также приоритет работы с эмпири-

ческим материалом над интерпретацией текстов является первым условием существования школы Бурдьё.

В свою очередь, функционирование школы, раблезиански превращающей теорию в вид практики, закрепляет эффект конверсии, усиливая познавательный и институциональный разрыв в пространстве делений, выступающих одновременно инструментами описания/объяснения и научной карьеры: вертикальной и горизонтальной мобильности, оппозиций нового и старого, труда и досуга, жесткой формы школы и свободного характера течения. Сохраняя память о своем происхождении из духа конверсии, школа непрерывно воспроизводит ее условия, превращая таковую из события в процесс и, в конечном счете, оказывается машиной, которая постоянно поддерживает высокое напряжение, упорядочивающее научную рутину. Она оказывается одновременно теоретической границей, отличающей критическую социологию прежде всего от этнометодологии, структурализма, индивидуализма и позитивизма⁶⁵, а также границей социальной, отделяющей критическую социологию от либерально окрашенной интеллектуальной журналистики, абстрактной социальной метафизики, семиотики, близкой к литературной критике, экономического моделирования. Социологическая бдительность — это состояние приграничья, где она имеет функциональный характер, поскольку чистая теория не способна обеспечивать постоянное возобновление условий производства, а эмпирическая работа сама по себе не может гарантировать чистоты и отличительных черт социологического результата.

Но школа — это только не сумма опубликованных исследований. Говоря о поддержании границы и воспроизводстве навыка, мы неизбежно приходим к вопросам о том, кто составляет ее ядро, какое время и в какой форме это ядро существует. Отвечая на них, можно принимать различные точки отсчета: ряд книг Бурдьё, написанных в соавторстве и вышедших в 1964–72 гг.; основание в издательстве «Minuit» в 1965 возглавленной Бурдьё серии «Здравый смысл», в которой вышел ряд принци-

пиальных исследований и переводов; наконец, фактическое превращение Центра европейской социологии после ухода Р. Арона в 1968 г. в центр Бурдьё. В первом факте можно усматривать начало совместной институционализации научного капитала Бурдьё и соавторов через публикации, во втором — институционализацию научных предпочтений Бурдьё и его соратников и возможность их введения в оборот, в третьем — институционализацию практической группы в пространстве исследований и образования. При всей важности этих вех принципиальным, тем не менее, представляется основание в 1975 году журнала «*Actes de la recherche en sciences sociales*», возглавленного Бурдьё⁶⁶. Оно представляется более значимым, поскольку пространство журнала остается в распоряжении прежде всего самого главного редактора и, таким образом, выступает формой институционализации теоретической ставки *rag excellence*. Не берясь точно обозначить хронологический порог возникновения школы — 1975-му предшествовал длительный период концентрации капиталов и консолидации группы (существовавшей уже к середине 1960-х), сделавших возможным не только само существование журнала, но и тематическую слаженность публикаций — можно, по крайней мере, указать на год ее институционализации в качестве таковой. Именно этим журналом, точнее, статистикой публикаций в нем, мы можем воспользоваться, чтобы очертить ядро школы.

Предположив, что длительная принадлежность к школе должна отразиться в количестве, превосходящем наиболее часто встречающееся, в качестве минимального порога были приняты 4 публикации (включая публикации в соавторстве) за 23 года⁶⁷. В предварительном списке оказалось 26 имен (а если исключить американского лингвиста В. Лабова — 25). Следующими показателями были взяты годы первой и последней публикации и число лет, в течение которых статьи автора появлялись на страницах журнала. Поскольку последняя величина колебалась от 2 до 22 лет (повторим, при количестве публикаций, превосходящих 4), группировка авторов по этим

показателям представлялась важным шагом к установлению ядра. Следом был добавлен показатель среднего числа публикаций в год, который можно рассматривать как оценку меры близости публикуемых работ к основной линии школы (для самого Бурдые этот показатель составил 3,5, включая публикации в соавторстве). Результатом стало несколько групп авторов по максимальным различиям: от 2,5 публикаций в год, при периоде авторства в 2 года; до 0,5–0,8 публикаций в год при периоде в 17–22 года. С наибольшей вероятностью в ядро школы попадают представители последней группы (8 авторов, включая самого Бурдые), к которой тяготеют авторы, имеющие 0,6 и 0,9 публикаций в год за 15 лет (2 автора). В него попадает также автор, имеющий 1,3 публикации в год за 10 лет (но начавший публиковаться, в отличие от остальных, не в 1975–77, а в 1986 г.). Таким образом, постоянное ядро исследователей, входящих в школу на сегодняшний день, состоит из 9–11 человек. В их числе оказываются все четыре автора настоящей книги, что отчасти подтверждает правильность избранных критериев выделения ядра. Кроме того, в состав школы нужно включить молодых исследователей, не попавших в подсчет из-за того, что они лишь недавно вошли в период активной научной деятельности. Таких по крайней мере трое, и у двоих из них за 1996–97 гг. в журнале опубликовано по 2 статьи. Обращают на себя внимание временные рамки существования ядра: абсолютное большинство исследователей, входящих в него на сегодняшний день, уже работали в школе в середине 1970-х.

Поскольку мы стеснены форматом приложения, а характеристика ядра, помимо социологически бессодержательного перечисления имен, потребовала бы подробного биографического, тематического и даже текстуального анализа, мы оставляем эту задачу до следующих работ. Здесь же отметим лишь несколько важных моментов. Во-первых, за рамками школы, увиденной сквозь призму журнала, остаются социологи, прямо использующие ее разработки в исследованиях (см. [58]) или попу-

ляризаторы, перерабатывающие объяснительные схемы школы в образовательный материал (напр., Ф. Коркюф [70]). Одновременно в ядро попадают такие «теоретически спорные» бурдьевианцы, как К. Шарль (напр., [50]) или В. Каради (напр., [33]), которые являются скорее стратегическими партнерами, чем инженерами общего проекта. Поэтому рассматривать школу только как сектор круга авторов, заменяя единственным критерием всю подвижную область практики, производящей представление о школе и «социологии Бурдьё», было бы произволом. «Спорные случаи», которые обнаруживаются при всякой попытке установления границы, здесь можно рассматривать и как эффект позиции внутри школы, и как эффект границы, т. е. позицию в системе разделения труда, возникающей вместе со школой и вокруг нее.

Во-вторых, следует обратить внимание на межпоколенческое разделение труда. Старшее поколение ядра, уже сложившееся к моменту выхода первого номера журнала и/или начавшее публиковаться в нем в 1975–79, работая с Бурдьё в период становления школы и являясь непосредственными создателями программы критической социологии, осталось носителем «теоретических амбиций», т. е. практических схем, усвоенных в условиях господства философии в иерархии французского культурного производства (достаточно указать на определяющую в нем роль Сартра, Альтюссера или Мерло-Понти) и выработанных в борьбе за социологию как одновременно фактическую и генерализующую науку, создававшуюся в отсутствии до 1970-х продуктивных исследовательских программ в национальном поле. Поколение же, ставшее активной частью школы в 1990-х, формировалось в условиях, когда основополагающие теоретические работы Бурдьё, построенные на обширном эмпирическом материале: «Практический смысл» (1979), «Различения» (1980), «Номо academicus» (1984) — а также избрание его в 1981 г. в Коллеж де Франс, уже закрепили за новым социологическим предприятием имя и место в культурном производстве. Более того, действующий здесь принцип

«философия — только для мэтров» внес и продолжает привносить в схему их работы дополнительное цензурное принуждение помимо технического, которое привносит логика разработанного метода. В итоге изменения, введенные в горизонт дисциплины работой старшего поколения, и конверсия навыков⁶⁸ в условиях уже действующей школы предоставили младшему поколению готовые инструменты описания/объяснения и одновременно ограничили его возможные «теоретические амбиции». Работы составляющих его исследователей основаны на понятии поля как исходном и имеющем ясное инструментальное значение. Таковы исследования, посвященные полю литературы Франции периода второй мировой войны [81], современным французским полю консультантов [73] и полю экономистов [76]. Таким образом, если стратегия, определявшая практику старшего поколения во главе с Бурдые, состояла прежде всего в создании и введении в оборот нового видения и навыка, то стратегия младшего поколения построена прежде всего на их нормализации (пользуясь языком Куна), т. е. превращении их в собственно техническую и по возможности формализованную схему производства.

Наконец, если вернуться к статистике публикаций, можно отметить одну важную тенденцию: связь между количеством лет публикации в журнале и их средней частотой. При ряде оговорок можно утверждать: чем выше публикаторская активность данного автора, тем меньше времени она протекает в рамках журнала школы. Две группы, близких по частоте публикаций особенно явственно об этом свидетельствуют: 2 года — 2,5 статьи в год, 6–9 лет — преимущественно 1–1,3 статьи в год. Т. е. чем ближе по продуктивности к главе школы (3,5) исследователь, тем меньший срок он оказывается в числе авторов журнала. Эти данные показывают, что не в меньшей степени, чем результатом объединения школа является результатом расхождений. Учитывая, что двое авторов из ядра с 15-летним стажем имеют последнюю публикацию в 1990 году при относительно высокой

активности, этот промежуточный вариант также можно рассматривать как результат их стратегических рассогласований с главой школы. Таким образом, у метафоры границы — если рассматривать ее практически — обнаруживается оборотная сторона. Постоянная принадлежность к школе требует одновременно работоспособности и умеренности (0,5–0,8 публикаций в год в собственном журнале), которые составляют теперь уже количественный контраст с пророческой стратегией ее главы. Логика всякой школы предполагает расширение и обновление состава, но в той мере, в какой она остается стратегическим балансом тем и интересов, ее функционирование предполагает постоянные деления и дистанцирования, свойственные позиции производителей-радикалов [22, 1 / 2–93, с. 53], а также исключение тех, кто своей активностью и намерением формулировать принципы вступает в конкуренцию с ее главой, подобно тому как это происходит в производственной организации. Таким образом, борьба с оппонентами и внутренняя селекция, которые ведутся на границе, оставляют по ту ее сторону ряд исследователей, внесших вклад в формирование школы, какой она известна нам сегодня.

В целом, школа Бурдье, с ее ядром и исключенными, с носителями более новаторских или формализованных схем практики, с борьбой за отмену внутренних границ в социальных науках и за укрепление внешних, являет собой лучшее подтверждение и частичное опровержение самой критической социологии. Подтверждение состоит в том, что освоение реальной социологической практики действительно позволяет воплотить менее вероятные и менее очевидные состояния интеллектуального мира (и социального мира в целом), одним из которых и является новая позиция в поле культурного производства, а также в том, что ее формирование и признание возможно только в процессе борьбы, определяемой набором специфических капиталов. Опровержение же заключается в том, что социология, дающая освобождение через погружение в историю и логику собственных практик, не

отменяет разделения труда, не уменьшает гнета цензуры на корпус исследователей и не ослабляет властных напряжений, имея они вид открытого противостояния или постоянного негласного принятия стратегических предпочтений главы школы. Как показывает жизненный цикл школы, младшие поколения приобретают инструмент научного и социального успеха, но одновременно — и новые трудности, связанные с принуждением, которое сопровождает нормализацию нового взгляда и смещает акценты с основополагающих техник критической социологии, прежде всего — с объективации габитуса и самообъективации, на формализацию понятия поля.

Для российского случая опыт функционирования школы Бурдье тем более значим, что школы как форма институционализации теоретической ставки не сформировались в социологии сначала СССР, а затем России, прежде всего в силу господствующей роли административного, а не технического капитала в структуре дисциплины (см. [61, гл. 3]). Возникновение социологического предприятия, институционализирующего преимущественно научный капитал, т. е. воспроизводящего в качестве отличительного признака не сумму постов, а навык исследования, по-прежнему остается маловероятным событием. Между тем, отличающий социологию критический взгляд, обоснованный объективным знанием, может стать действительностью дисциплины, носящей имя «социология», только в условиях борьбы за научное господство — выражаясь метафорически, за власть над умами — причем такой борьбы, которая, будучи ориентирована на менее вероятные состояния социального мира, объединяла бы противников в отказе от очевидности обыденного и политически заданного восприятия.

2. 5. ВВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Как можно заключить из ранее сказанного, критическая социология является и политическим предприятием уже в силу того, что конкурирует с государственными чиновниками, экспертами или журналистами за легитимное определение социального мира. В качестве условия, позволившего социологии претендовать на особое место в определении «порядка вещей» можно усматривать события 1968 года [17, с. 75], которые, несмотря на их политический неуспех, вызвали к жизни принципиальные изменения в образовательной системе Франции. Однако даже не касаясь их роли в становлении критической социологии, можно видеть согласованность схем, заложенных в научный проект школы и политических стратегий, ею реализуемых. Положение наиболее обоснованного и, одновременно, частичного способа видения, делает одной из первых задач социологической практики возвращение в социальный мир тех смыслов, которые элиминируются из него в ходе политического конструирования. Иначе говоря, «расколдование» политических и, более широко, социальных верований, основывается не на отмене самой механики политического действия, но на введении в нее новых или ранее цензурируемых представлений. Политическая деятельность школы строится так, как если бы объективный мир, конструируемый социологией, уже существовал. За игрой «чистой случайности» и «исторической необходимости», в обличье которых привычно предстает политика, критическая социология позволяет выявить объективную структуру политического обмена, инструменты мобилизации и господства, механизмы подстройки позиций и диспозиций⁶⁹. Таким образом, отправляясь от результатов имманентного описания/объяснения, Бурдьё и его соратники входят в политическую практику уже не как ее теоретические или собственно политические критики, а как инженеры, владеющие ин-

струментом ее преобразования, каковым выступает объективный мир (или вера в его практическую постижимость).

Введение объективного мира в политическую практику — сложная задача, поскольку социолог вынужден действовать ввиду и в рамках объективных условий политического обмена. Говоря о формах политического действия школы, можно указать прежде всего на публикацию Бурдые полемических статей в ряде журналов, начиная с сартровского «*Les Temps Modernes*» (с середины 1960-х), заканчивая «*Le Monde Diplomatique*» (1980–90-е), а также на поддержку алжирских интеллектуалов и польской «Солидарности», на издательскую активность членов школы и ее союзников в рамках возглавляемой Бурдые книжной серии «*Raisons d'agir*» («Поводы действовать»), которая предполагает скорейший отклик на актуальную политическую ситуацию, на критические выступления по телевидению, на участие в создании клуба Мерло-Понти, противодействующего неолиберальной унификации мышления, наконец, на участие в акциях протеста с декабря 1995 года (послужившем отправной точкой к изданию названной серии) вместе с безработными, забастовщиками, активистами антиглобалистских движений. Особо в ряду политических акций школы упоминается издание книги «Нищета мира» [74], объединяющей в себе интервью с представителями «проблемных» социальных категорий. Несмотря на немалый по объему аналитический раздел, написанный Бурдые и коллегами, задача работы (критика следствий неолиберальной политики) и форма ее представления (показать социальное неблагополучие «как оно есть») позволяет прочитывать ее как публикацию с политическим содержанием⁷⁰.

Чтобы понять значение политических проектов школы, следует помнить, что, политическая логика присутствует в социологии в исходном принятии/отвержении очевидности политического господства. В практике таких достигших известности социологов, как А. Турен, Р. Будон или М. Крозье государство присутствует не только в форме классификаций (например, в представ-

лении о роли социологии как научного инструмента планировании реформ [83, р. 286–87]), но и непосредственно в форме занятия постов в государственных учреждениях или в использовании связей в политической среде для финансирования и опубликования своих работ [83, р. 290–92]. В отличие от них, действующих в сложившемся «порядке вещей» и предназначенных продукты своей профессии высшим государственным управленцам, Бурдье делает ставку прежде всего на низовые формы организации (профсоюзы, стачечные комитеты и т. д.), воспроизводя в политической практике принцип, уже известный нам по практике исследовательской. Иными словами, если названные социологи исходят из наличия потребителя социологической продукции в лице готового «класса», то Бурдье и его соратники ориентируются на возможность формирования нового «класса» с опорой на объективное знание, подобно тому, как это сделал Маркс с «пролетариатом» [24, с. 190–191]⁷¹.

Предпочтительные инвестиции школы в неофициальный и низовой уровень политической практики во многом объясняется положением в интеллектуальном поле, кратко описанным ранее. При не очень больших стартовых капиталах, «еретических» исследовательских предпочтениях и прерывных траекториях (напомним о факте конверсии), нынешние члены школы, вероятно, не смогли бы занять высших позиций при действующих в академическом поле условиях обмена, тогда как стремясь коллективным усилием изменить условия обмена путем реализации менее вероятного состояния поля, школа парадоксальным образом оказалась в более выгодном положении, поскольку сама стала производителем этих условий⁷². Выступая против господствующей неолиберальной идеологии в 1990-х, как и против господствовавшей в 1960-х социалистической, Бурдье углубляет линию разрыва, или границу, отделяющую официально признанный «порядок вещей» от вводимого им социологического⁷³. Не упуская из внимания парадоксальный характер ситуации, в которой критическая социология становится политичес-

ким действием, в этом нарушении следует усматривать практическую инверсию, точнее, конверсию императива социологической бдительности: если актом научной критики социолог возвращает в область анализа результаты собственных классификаций, то в рамках политической критики социолог возвращает полученное знание в практический мир.

Возврат в социальный мир знания или элиминированных в ходе политического конструирования практических смыслов предполагает критику очевидности в той форме, в какой она представляет существующий «порядок вещей» как всеобщий и единственно возможный. Именно поэтому первая задача политической активности школы — расколдование «безальтернативной» неолиберальной схематики свободного рынка и «естественной» глобализации, пришедший на смену столь же «естественной» модернизации [64, р. 49]. В этом случае социологическая критика сильна тем, что она направлена не на отдельных политиков, а на условия господства, в частности на отношения силы, определяющие циркуляцию идей [60, р. 61]⁷⁴. Путь сопротивления «безальтернативному» неолиберализму, предлагаемый Бурдье, оказывается одним из парадоксов, характеризующих школу в целом. «Я полагаю, — говорит Бурдье, — доминируемые заинтересованы в защите государства, в особенности, его социального аспекта» [64, р. 39]. Ведя борьбу за устранение государства из структуры социологического описания/объяснения и выступая с критикой режима господства, который опирается на современное государство, Бурдье, тем не менее, исходит из реальных условий, ограничивающих возможные политические нововведения. Умеренность формулы, предлагающей стратегический союз с государством, вытекает из понимания его как центра сил и капиталов, т. е. из невозможности его простого исключения и смещения политического порядка в сторону «естественного состояния».

Реализм подхода заключается в том, чтобы, уйдя от грезы о тотальном антигосударстве, ввести в функциони-

рование государства и в поле политики в целом такие условия, которые превращали бы универсализм (в т. ч. в форме социальной справедливости) в принудительную и выгодную политическим агентам стратегию [10]. Инструмент такого изменения условий политической практики Бурдые в создании международного профсоюза или нового Интернационала, объединяющего интеллектуалов, активистов негосударственных ассоциаций, членов рабочих комитетов и профсоюзов, которые сообща противодействовали бы «инволюции государства» [60, р. 62–65; 64, р. 46–47]. Эта структура, одновременно противостоящая современной форме государства и ее дополняющая, должна стать средством коллективного исследования, т. е. призвести к менее вероятному событию, воссоздать несуществующую позицию, которая позволит социологам избавиться от привычной роли экспертов и стать разработчиками новой теории и практики символического действия⁷⁵.

С позиции политики, сопротивление «безальтернативности», которое активно ведет школа, в немалой мере представляется попыткой продлить историю после объявления о ее конце: интеллектуальный Интернационал становится средством преодоления неолиберального капитализма в отсутствии видимого и очевидного предела в нем самом. Тем не менее, выбирая между принятием / отвержением политической «неизбежности» в пользу критической работы в мире политики, школа участвует в становлении пока трудноуловимых и, вероятнее всего, неожиданных для настоящего социальных форм. Освобождение от прошлого, заключенное в технике двойной историзации, обращается здесь конструированием будущего, исходной точкой которого становится объективный мир. Там же, где обнаруживается трудность в соединении социологии и политики, заключена и продуктивность, поскольку связь социологической практики с политической лежит в области — пользуясь уместным термином Дюркгейма — верований. Выступая формой защиты от символического насилия и раскрывая механизм господ-

ства, опирающегося на незнание, критическая социология разрушает основополагающее верование, на котором покоится актуальный порядок господства: все именно так, как должно быть, потому что так и должно быть. Но именно этим она утверждает новое: возможно реализовать состояния, не вписанные в данные здесь и теперь условия социального обмена.

Заключение

Расколдование мира

и освобождение от иллюзий

В качестве инструмента конструирования объективного социального мира социология предстает наукой, обращенной к социальным различиям, а если принимать во внимание ее политическую определенность — к социальному неравенству. Однако, несмотря на действующую в дисциплине цензуру — как технического, так и социального происхождения, — рождение социологии от смерти Бога определило ей непостоянное и неопределенное место в социальном порядке. Стоит задуматься, что это за состояние, из которого возможны полностью противоположные выходы: от самого полного подчинения действующему порядку очевидности до радикального потрясения его основ. Генетически, пока не учрежден объективный мир, социология продолжает оставаться не только местом решения частных технических задач и борьбы с предрассудками, но и местом принципиального выбора за или против автономии познания. Поэтому в своем забытом истоке она остается вседозволенностью, против которой в ее лице боролись в XIX веке наследники божественного порядка. Вседозволенностью, которая в каждом случае может выливаться в интеллектуальный разврат, ведомый волей к политической власти и бытовому ком-

форту, в уход от всякой борьбы в «облачные сферы», в культурный фетишизм именем высших истин или в действенное «варварство», каждый раз заново начинающее отсчет времен и несущее в своем ремесленном критицизме силы становления. «Вседозволенность», как и «варварство», не есть знаки полного разрушения. За ними стоит прежде всего свобода, заключенная в самом принятии/отказе обыденной и политической очевидности роли ее, как учредительницы. А потому условием свободы в социологии, ничем не обеспеченной, кроме собственного метода, остается только социологическая практика. «Историческая онтология» и рефлексивная критика, предлагаемые Бурдые и его соратниками в рамках последней стратегии, наиболее рельефно выражают это состояние, выступая одновременно способом его разрешения и инструментом анализа.

Систематически описывая/объясняя социальные различия, социолог производит расколдование социального мира, которое, в отличие от веберовского, оказывается не спонтанным процессом, но результатом его конструирующей практики. А всякая практика поддерживает верование в реальность собственных оснований. В социологии в их качестве выступает социальное неравенство, и идущее до конца исследование механики, которая его обеспечивает, способно склонить к пессимистическому взгляду на мир. Это еще одно испытание для исследователя, которое легко может потребовать компенсаций, сводящих на нет первоначальный порыв и проделанную работу. В самом деле, социологи, с самого начала ищущие подтверждений тому, что нынешний мир — наилучший (оптимально функционирующая система, непрерывно прогрессирующее знание, наиболее демократический порядок и т. д.), воспроизводят верование, которое действительно позволяет им занять более «благоприятную» позицию в актуальном порядке, но отнюдь не приближают их к тому краю науки, от которого продолжается ее дальнейшее движение. Воспроизведенные через образовательные учреждения, подобные верования обеспечивают

упреждающую лояльность будущего социолога и неподвижность социального мира в его восприятии, тем самым уберегая очевидность от возможной критической работы в будущем. Отчасти они подстраиваются под мировосприятие молодого человека, проецирующего собственные надежды и высокие амбиции на малознакомый еще порядок вещей. Однако юность и студенчество заканчиваются, а нерелексивное восприятие продолжает формировать профессиональный опыт и далее. Круг замыкается, когда те же верования, с поправкой на последние события, снова возвращаются в образовательную систему, уже в лице нового преподавателя. Критическая социология предлагает средство выхода из этого замкнутого круга⁷⁶.

Да, социологическая практика, реализуемая всерьез, скорее приносит разочарование: расколдовывая социальный мир, она разрушает первоначальные верования в его чудеса [27, с. 30]. Однако вместе с разочарованием — будучи организована как научное предприятие — она дает «глубокое и устойчивое изменение обыденного восприятия социального мира» (Введение). Социальный мир перестает быть «ясным с самого начала», а потому утрачивает скучный и вместе с тем пугающий (когда эта «ясность» вдруг отказывает) облик. Социология устанавливает границы, сама являясь границей между очевидным и еще не известным. И она же разрушает существующие границы, установленные очень давно или только недавно в пользу и в интересах господствующих. В программе школы Бурдье познавательное есть то же самое, что практическое — и это единство обеспечивает ей успех в продвижении к объективному социальному миру. Исследование социального порядка, а также учреждающего его от лица науки интеллектуального мира являются актами самоанализа и освобождения через разочарование. В социологии, предлагаемой школой Бурдье, можно видеть социальную терапию, «инструмент индивидуального освобождения» [40, с. 306], развивающий и заостряющий вопрос о свободе, поставленный в рамках психологии, в част-

ности психоанализа. Однако важно не забывать и то, что она лишает иллюзии свободы, специфической для интеллектуала [27, с. 30] и негласно укрепляющей верование в лучший из миров — по крайней мере для самого интеллектуала, будь это социолог, писатель и т. д., — обеспеченное его принадлежностью к «подчиненной части господствующего класса» [19, с. 215].

Работы школы со всей отчетливостью продемонстрировали: в современной социологии собственно технический навык оказывается неотделим от инструмента самоанализа. Весь социальный мир, совокупность социальных отношений, оказывается системой порождения «я» социолога, претендующего на их описание/объяснение, не только в период становления личности или профессионального навыка, но и в каждый момент его практики, сопровождаемой выбором в пользу того или иного принципа и сохранением/обновлением собственных категорий восприятия и мышления. Эту двойственность и неопределенность социологической практики, гарантированной только внутренним законом, а потому одновременно освобождающей и опасной, очень важно понимать, чтобы время от времени возвращаться к вопросу о своей причастности к социологии, звучащему так: «Продолжает ли меня устраивать эта форма самоанализа, продолжаю ли я вкладывать в нее достаточно сил и устремлений?». Именно этот вопрос, более или менее отчетливо сформулированный, сделал возможной настоящую книгу и всю работу школы, несмотря на трудности и описанные нами противоречия в ее функционировании.

Отличительные черты практического контекста французского национального поля и вытекающие из них особенности программы критической социологии не сделали ее, тем не менее, исключительно французским явлением. Социологическая работа, опирающаяся на те же принципы, ведется исследователями других стран, в том числе и России. Введением в оборот и реализацией в российском контексте критическая программа обязана прежде всего деятельности Российско-французского центра

социологии и философии Института социологии РАН. С начала 1990-х годов Центр выпустил два сборника переводов статей Бурдые, первое издание настоящей книги, отдельные статьи Бурдые и других представителей школы, ряд статей, развивающих принципы критической социологии, в ближайшее время выйдет из печати одна из основных работ Бурдые «Практический смысл». Однако помимо переводческой работы, неизбежной для введения в оборот нового подхода, важным результатом функционирования Центра стали исследования, проведенные совместно с рабочими группами школы или самостоятельно, на основании критической программы (некоторые из этих работ мы упомянули ранее). Не довольствуясь простым повторением технических приемов, заимствованных из трудов школы, сотрудники Центра продолжают вести работу, освященную в том числе «теоретическими амбициями», зовущими к развитию нового взгляда на социальный мир. Более важной, чем верность буквальному прочтению текстов, в нашем случае оказывается верность самим принципам критической рефлексии и саморефлексии, которая только и позволяет достичь границ объективного мира. Эти принципы автор приложения стремился реализовать и в данной работе.

Примечания

¹ В скобках здесь и далее курсивом указаны разделы настоящей книги, откуда взяты цитаты.

² Центр европейской социологии, выступающий под эгидой трех научных учреждений — Национального Центра научных исследований Франции, Высшей школы социальных наук и Коллеж де Франс — и объединяющий социологов, которые занимают посты в различных исследовательских и образовательных учреждениях, включая три указанных.

³ Эти сведения любезно предоставлены Патриком Шампанем в личной беседе.

⁴ Помимо заботы о научной чистоте вводимого метода, в стратегии борьбы Бурдьё за научное признание можно выделить элементы, характеризующие скорее не академический мир, а описанные им самим профессиональные среды художников-импрессионистов или писателей-новаторов. Речь идет прежде всего о способе установления границ через критику «священных основ» научного производства, которая придает некоторым трудноуловимым практическим делениям смысл основополагающих и неустрашимых (как, например, «actor/lector» [26]), и здесь же выявляется принципиальное место самого критика в их контексте. В этом смысле, выстраивая научные проекты, Бурдьё не пренебрегает формулой артистической известности: «Нет ничего лучше скандала, чтобы о Вас заговорили» — где под «скандалом» нужно понимать прежде всего демонстративный разрыв со «священным». Не менее решительно использует он логику европейской дипломатии, заключая и расторгая стратегические союзы как с современниками, так и с предшественниками, например, весьма неохотно ссылаясь на работы, играющие ключевую роль в построении его собственных, или манипулируя именами соавторов при ссылках на ранее опубликованные тексты [82]. Однако сомнения в способе социального использования проделанной им работы не могут умалить ее социологического значения.

⁵ К истории длительного становления этого объективного мира как представления уместно будет вспомнить не только о работах Башляра [5], где описан нелинейный ход объективации / субъективации научного знания Нового времени, но и о работах Гуссерля, в частности, о статье «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», где дан эскиз формирования научного представления о природе через разрыв с го-

ризонтом обыденных смыслов — его скачкообразное замещение в трудах Галилея когерентной системой математических символов [31].

⁶ Ссылки на русский перевод «Практического смысла» даются без указания страниц, т. к. книга еще не вышла из печати.

⁷ При объяснении же другого похожего случая происходит полная инверсия: политика становится субъектным действием экспертов и чиновников, а поведение крестьян — объективной ситуацией их политических решений [7, с. 169].

⁸ «В практической логике нет ничего от логического расчета, который сам в себе содержит конечную цель. Практическая логика действует в режиме неотложности, отвечая на вопросы жизни или смерти» [21, кн. 2, гл. 3]. Отсюда центральное понятие, объясняющее функционирование субъективных структур социального мира, габитус, становится обозначением, прежде всего, усвоенной необходимости, вероятностной подстройки к объективным структурам, на основании которой в дальнейшем варьируются практики (подробнее см.: [52; 79, р. 616; 80, р. 46–51] и § 1.5. настоящего приложения).

⁹ Так, рассматривая цели, заключенные в магической практике, Бурдьё замечает: «Все указывает на то, что этот символизм тем более неосознан (будучи продуктом забытой истории), чем более официальный и коллективный характер носят ритуалы, и тем более осознан — в силу большей инструментальности — чем более частным и тем самым тайным целям эти ритуалы служат» [21, кн. 2, гл. 3].

¹⁰ Уже само обозначение социального взаимодействия как игры, используемое Бурдьё, отсылает к неопределенности, свойственной взгляду участника, которому недоступно все пространство взаимодействия и неподконтрольны определяющие его условия. Начиная с этого условно-обобщенного обозначения обнаруживается отличие имманентной позиции описания / объяснения от внешней и возвышающейся точки наблюдения, занятой Буденом, с которой взаимодействие предстает ситуацией, подчиненной сознательному расчету (владение полнотой условий), или даже единой системой действия, что более рельефно воплощено в объяснительной схеме Парсонса.

¹¹ Именно через связь с историей как завершённой длительностью в описание / объяснение возвращаются универсальные гипотезы, которые придают ей содержательную однородность. Говоря о своем методе, где описание объективных структур дополнено анализом их происхождения, Бурдьё характеризует его как «конструктивистский структурализм» [24, с. 181], подчеркивая тем самым синтез противоположностей, привычно разделяющих пространство социальной мысли.

¹² Неокончательная определенность и связанное с ней разнообразие частных перспектив (как точек зрения, так и их социальных условий) указывает, что социальный мир может быть упорядочен по различным основаниям [23, с. 61–65]. Различное видение и определение социального мира, вытекающее из характера его воспроизводства —

в форме практики, с необходимостью включающей то или иное видение, различающееся от условий ее отправления — оказывается и собственным свойством этого мира, т. е. многомерностью.

¹³ При этом вопрос о примате производящих структур — отношений сил или форм их восприятия, объективных или субъективных структур организации социального мира — решается школой Бурдьё в пользу первых: классификация в большей мере определяется отношением сил, чем таковые классификацией. Более подробно см.: [52, с. 61-62].

¹⁴ Самопредставление государства и его символическое господство становится тем более эффективным, что оказывается передоверено множеству экспертных инстанций, привносящих в него правдоподобие неполитического авторитета.

¹⁵ Интерес современного социолога к функционированию современного государства наследует интересу, в начале века придавшему самой социологии самостоятельность и превратившему в ее объекты центры гравитации коллективного восприятия и практики (в частности, религиозную практику и экономическое производство). Этот же интерес указывает на роль самого государства в современном социальном порядке, аналогичную той, что в начале века Дюркгейм признавал за религией: «Она не только обогатила определенным набором идей ранее сформировавшийся человеческий разум; она сама внесла вклад в его формирование» [71, р. 12]. Нельзя прямо утверждать, что после первой мировой войны функции церкви были присвоены государством — такая метафора налагает не меньшую ответственность, чем отдельное историческое исследование, при этом сводя историю социологии к истории ее социальных условий. Тем не менее, в современном социологическом описании/объяснении государство (и связанные с ним формы мышления) оказывается в роли той требующей преодоления исходной очевидности (социальной и познавательной), какой выступала для социальной мысли конца прошлого-начала нынешнего века церковь и вводимые религиозным мышлением финализм и априоризм.

¹⁶ Развитие тезиса «Объект — объективизация субъекта» см. в: [35, примеч. 7, с. 224].

¹⁷ «Обыденный человеческий рассудок имеет свою собственную необходимость: он утверждает свое право с помощью только ему одному подвластного оружия. Это — ссылка на свои претензии и сомнения как на нечто “само собой разумеющееся”» [47, с. 9].

¹⁸ Связывая историю борьбы, установленную ее исходом очевидность и собственные классификации социолога, Бурдьё указывает на возможность дальнейшего познавательного движения: «Как социологи, мы с вами включены в поле истории, и заняться историей этого поля... значит найти средство освободиться от последствий той самой истории, продуктами которой мы являемся» [11, с. 19]. В этом Бурдьё разделяет критико-генетический настрой Фуко. Ср.: «... Если кантовский вопрос состоял в выяснении границ, от перехода которых должно отказаться

познание, то сегодня, как мне кажется, вопрос критики должен быть преобразован в позитивный вопрос: какова доля единичного, случайного, вызванного произвольным принуждением, — в том, что дано нам как всеобщее, необходимое, обязательное? Речь в итоге идет о том, чтобы преобразовать критику, осуществляемую в форме необходимого ограничения, в практическую критику, т. е. в возможное преодоление» [46].

¹⁹ При построении поля лозунг социоанализа: «Мыслить соотносительно!» [24, с. 185; 67] — приобретает решающее значение, поскольку анализ определяющих отношений не просто разрушает абсолютистскую очевидность через соотнесение нескольких «абсолютов», но изначально предотвращает поиск сущностей социальных «вещей», свойственный политическому и обыденному восприятию. При соотносительном анализе социолог указывает не собственный признак «вещи», а ее положение на том или ином полюсе социальной оппозиции или в более сложной схеме деления.

²⁰ Это вытекает из понимания классификации, в том числе социологической, как доопределения социального мира и позволяет говорить об открытости исследователя по отношению к своему объекту: воссоздавая объект, социолог формирует собственные категории восприятия и мышления о нем и только посредством этого придает ему устойчивую форму.

²¹ «Одна из значительных трудностей социологии в том, что очень часто нужно включать в науку то, в противовес чему первоначально выстраивали научную истину» [17, с. 60]. На этом основании Бурдьё резко критикует фиктивное разделение труда, существующее в социологии, которое направлено не на рост эвристического потенциала социологического описания/объяснения, а на раздел сфер компетенции по образцу исторически более развитых естественных наук [17, с. 58–62].

²² Примеры эмпирической реализации понятия поля представлены в работах самого Бурдьё в анализе университетского [59; 61], политического [8; 20] или художественного мира [22; 68], а также в работах его учеников, реконструирующих поле журналистики [49], литературы [81], консультантов [73], экономистов [76].

²³ Здесь, помимо выделения общих для всех агентов поля условий и производительных иллюзий, нужно с самого начала принимать в расчет множественность точек зрения и зависимость способа классификации от занимаемой в поле позиции [24, с. 193].

²⁴ Обоснование связи различия и социального отношения см. в [35, гл. 1].

²⁵ Таким образом, два обозначения метода самим Бурдьё — «генетический структурализм» и «конструктивистский структурализм» [24, с. 181] — представляют в свернутом виде логику его функционирования: от объективной структуры отношений исследование отправляется и/или к ее историческому генезису, и/или к борьбе за ее устойчивость (которая определяется и ее легитимным видением). Обе линии —

структурная и генетико-конструктивистская — не проводятся изолированно в рамках конкретного исследования: поскольку объективные отношения можно определить как «статиду» поля только после более или менее полной их реконструкции, в реальной исследовательской практике условия обмена и взаимодействия нередко выявляются посредством одних и тех же исследовательских техник (интервью с представителями различных позиций в поле, сравнение документов, анализ биографий и т. д.) и отделяются одни от других через взаимные ограничения и поправки (например, что в конкретном случае является и не является капиталом — т. е. условием практик — становится понятно только в результате проделанной работы). Тем не менее, чтобы самостоятельно направлять исследовательскую работу, социолог различает структуру отношений и обменные взаимодействия на ее основе и по ее подводу, к которым она несводима [23, с. 56]. Чтобы подчеркнуть это различие, Бурдьё нередко указывает на то, что социальная борьба частично независима от породивших ее условий. Введение символического капитала через отличие от, например, экономического воспроизводит именно эту логику: символический капитал позволяет закрепить и переопределить сложившийся баланс сил [24, с. 199].

²⁶ Исследования, представленные в настоящей книге, в полной мере опираются на логику двух разрывов и анализ субъективных условий и ставок обмена. Рассмотрение включает анализ таких производительных иллюзий, как «общественное мнение» (Шампань) и «естественная старость» (Ленуар), и таких очевидных «вещей», как «контрацепция» (Мерлье) и «школьные оценки» (Пэнто).

²⁷ Именно такое понимание условий объективности субъективного лежит, например, в основе исследования, представленного в настоящей книге Л. Пэнто: указывая на разрыв между официальной, господствующей классификацией «культурных ценностей», вводимой через школьное обучение, и практическими классификациями социально доминируемых, которые построены на отсутствии этих «ценностей», оно очерчивает пространство возможных в данном случае способов видения и пространство определяющих его отношений силы (Пэнто, 2.1).

²⁸ Вопрос, на который опирается такая работа, звучит следующим образом: какова связь между установленной структурой объективного принуждения и зафиксированными воззрениями, суждениями, способами самоописания? И ни в коей мере этот вопрос не может звучать так: почему эта объективная структура определяет эти субъективные элементы? Впрочем, прежде, чем отвечать на первый вопрос, нужно ответить на его определяющий: как понимается различие объективного/субъективного, на которое приходится немалый вес в методе школы Бурдьё и которое, на первый взгляд, вводит извне имманентной позиции описания/объяснения? В самом деле, проблематичный характер такого различия в рамках имманентного метода состоит в том, что, признавая частичность социологического взгляда и доступной ему области событий и, одновременно, социальное происхождение категорий вос-

приятия и мышления, уже нельзя говорить об объективном — в терминах Канта — знании, имеющем универсальные основания в индивидуальном разуме [32, с. 122–123]. Нельзя в полной мере следовать и марксистскому пониманию объективности, основания которой Маркс, вслед за Гегелем, выносит за рамки индивидуального разума. Да, второе значение оказывается исходным для социологии, поскольку объективное — это трансцендентное индивиду, иначе говоря, объективное — это коллективное, как следует уже из трудов Дюркгейма, Блонделя или Хальбвакса. Однако выделение области «чистого» объективного, берущее начало в трудах того же Канта, обеспечивается у него или у Маркса, как и у Дюркгейма с Хальбваксом, привилегией научного (чистого) разума, который в силу своей природы, наиболее полно выражающей свойства разума как такового, способен схватывать (или же проникать постепенно в) систему действительных и сущностных связей между элементами восприятия, растворенными в случайном и поверхностном мире явлений. Имманентный же анализ, отвергая подобную привилегию, одновременно утрачивает возможность без колебаний указывать: здесь — объективное и сущностное, там — субъективное и случайное, здесь — логика, там — история.

Однако в рамках имманентного метода мы и не найдем родовидовых дефиниций, однозначно устанавливающих подобную границу. Если сущностное деление объективного/субъективного противоречит ему именно потому, что имеет точкой отсчета нечто, расположенное вне временного и случайного, то у Бурдьё мы обнаруживаем прямое указание на соотносительную связь необходимого и случайного: «Основа закона есть не что иное, как произвол...» [11, с. 15]. Более операциональное введение различия состоит в указании на двойное — объективное и субъективное — структурирование социальной реальности: в его рамках субъективное во многом оказывается инкорпорированной формой объективных структур [23, с. 65]. Также объективными могут называться наблюдаемые в социальном взаимодействии свойства агентов и их статистическое распределение в социальном пространстве [23, с. 63] или самопредъявляющиеся отношения силы, которые связывают этих агентов актами обмена [23, с. 66]. Вместе с тем, объективный характер имеют социальные отношения, образующие поле [23, с. 56], и это значение «объективного» отчасти отменяет само деление, поскольку, как мы указывали ранее, свойственные полю верования или официальные классификации оказываются не менее объективными условиями социального обмена, чем объем экономического капитала или имеющийся диплом об образовании. Таким образом, мы имеем дело с несколькими обозначениями «объективный» или, более точно, с несколькими значениями деления объективного/субъективного, которые зависят от его места в социологическом описании/объяснении. Если в начале исследования оно исходит из традиционного деления, приближающегося к различию социального/ментального или коллективного/индивидуального, то по мере исследования форм социального обмена, свойственных данной области, значение объективного переопределяется в связи

с формированием объекта исследования: под объективным понимается то, что относится к условиям обмена (включая, например, признание как символический капитал), тогда как под субъективным — то, как агент действует и описывает себя по отношению к ним [23, с. 63–67]. Тем не менее, неокончателность деления не снимается в ходе переопределения, совпадающего с ходом исследования: описывая условия обмена в логике объективации, Бурдьё снова вводит исходное значение, говоря об объективных (отношении сил) и субъективных (системе диспозиций) условиях в [21, кн. 1, гл. 3; 27, с. 28]. Однако подобная подвижность деления является прямым следствием специфики функционального объяснения, платой за отказ от поисков последнего основания (причины). Одновременно, она прямо связана с положением о неокончателности определенности социального мира и свойствами формы, в которой он воспроизводится — практики, объединяющей в себе оба значения.

²⁹ Принципиальное значение как для изучения генезиса индивидуальных и субъективных свойств агента, так и для логики поля в целом, имеет категория конверсии. Указывая на принципиальный разрыв непрерывности индивидуальных траекторий, отвечающий на сдвиги или разрывы в динамике поля, категория конверсии позволяет рассматривать перенос схем и навыков из одних условий обмена в другие, наиболее рельефно раскрывая содержательную связь объективного и субъективного структурирования. В качестве примера из настоящей книги можно привести конверсию агентов поля религии в современных условиях кризиса церкви (Пэнто, 1.3). На российском материале анализ конверсии обладателей бюрократического капитала в поле экономики представлен в упоминавшейся ранее статье Н. А. Шматко [54].

³⁰ О габитусе у Бурдьё см.: [13; 14, с. 119–123; 21, кн. 1, гл. 3; 24, с. 189, 192–95; 27, с. 22–28]. В настоящей книге представление о габитусе — прежде всего, как присвоенной социальной и культурной компетентности, связанной с полученным образованием и социальным положением — явно или неявно определяет анализ способности ответить на вопросы анкеты (Мерлье, 3.3), условий обладания мнением (Шампань, 4.2) или взаимного восприятия различных группировок работников или солдат (Пэнто, 1.2). В большинстве случаев исследователи показывают, как габитус, точнее, различные габитусы — практически усвоенные способы видения социального мира и отдельных ситуаций — «сопротивляются» введению (например, через формулировки вопросов в анкете) единой господствующей классификации, т. е. рационально переработанным схемам габитуса доминирующих. Результатом такого сопротивления становится сбой в коммуникации: неответы, бессодержательные конформные формулировки или конфликт вокруг определения одних и тех же «вещей».

³¹ Подробнее раскрытие социологического взгляда как постоянной связи через разрыв с порядком обыденного восприятия см. в: [6, с. 19]. Близкий подход представлен в работе Ю. Л. Качанова, где социологи-

ческое познание описывается как исторически изменчивый угол между тематизируемым и нетематизируемым социальным опытом [35, с. 28].

³² Обозначаемая Бурдые и как «двойная историзация» [11, с. 22].

³³ Подробнее о социологической самообъективации в ключевом для социологии случае — исследовании политического мира — см. в работе Ю. Л. Качанова [36, с. 36–58].

³⁴ В качестве примера можно привести масштабное исследование французского университетского поля 1960–80-х гг., в котором Бурдые указывает и собственную позицию [61].

³⁵ Во многом, самообъективацию можно рассматривать как эмпирическое развитие принципа имманентного анализа, в общем виде сформулированного К. Мангеймом: «Объективность и независимость мировоззрения достигаются не отказом от воли к действию и собственных оценочных суждений, а посредством конфронтации с самим собой и проверки себя. Критерий подобного самоуяснения состоит в том, что в поле нашего зрения попадает не только наш объект, но и мы сами» [39, с. 47]. Отличие общей формулы, данной Мангеймом в 1929 году, от воплощения, которое она получила в рамках критической социологии, состоит в упомянутом отказе социологу в познавательных привилегиях, вытекающих только из конфронтации с собой — свобода, выступающая мотивом и продуктом интеллектуальной практики, здесь признана не конечным состоянием мышления, а производительной иллюзией: «Именно через иллюзию свободы в отношении социальных детерминаций (иллюзия, о которой я говорил сотни раз, что она служит специфической детерминацией интеллектуалов) социальным детерминациям дана свобода осуществляться... Социология освобождает... от неуместных верований в иллюзорную свободу» [27, с. 30–31]. Таким образом, в силу использования средств социологического исследования в отношении социолога (как социальной позиции), продуктом самообъективации выступает не иной возможный опыт (образ которого получен путем самоконфронтации) [39, с. 77], а сама возможность опыта, размещенная в условиях социологической практики, его определяющих. Иными словами, различно операциональное представление о «себе самом», которым у Мангейма выступает мыслящее «я», укорененное в социальной ситуации (откуда становится возможным отделение истинных стилей мышления от ложных [39, с. 83]), а в школе Бурдые — комплекс социальных отношений, сфокусированный в габитусе (или, расширительно пользуясь кантовским языком, объединенный синтетическим единством сознания).

³⁶ В этом смысле мы не только возвращаемся к исходной точке метода — взгляду самого наблюдателя — но и обращаемся к кантианскому смыслу объективного: «Объект есть то, в понятии чего объединено многообразие, охватываемое данным созерцанием. Но всякое объединение представлений требует единства сознания в синтезе их» [32, с. 130]. Именно на это единство сознания в синтезе представлений об объекте — на центр собственной перспективы исследователя —

направлены процедуры самообъективации. Если у Канта не было нужды заботиться об этом единстве, поскольку он полагался «чистым», т. е. простым и прозрачным себестождественным основанием, то, исходя из социального происхождения этого единства, социолог исследует его прежде всего не как условие тождества предмета представления, а как условие различия между существующими представлениями.

Исследование, направленное на отклонения, вносимые в объект полем и позицией в нем исследователя, не менее, чем исследование «внешней» области, опирается на анализ обмена (и борьбы относительно его условий), который осуществляют социологи с коллегами и с несоциологами. Таким образом, область исследования фактически удваивается, будучи каждый раз увеличенной на «размер» социологического производства, которое находится в практической связи как с иными символическими производствами, так и с исследуемой областью — начиная с истории того, почему она именно стала объектом исследования, заканчивая возможными изменениями, которые в ней могут произвести социологические классификации, будучи перенесены в нее из научных публикаций, аналитических записок или публичных выступлений социологов. Введя представление об обмене, в который включены социологи, и признав зависимость социологического описания / объяснения от прочих производств, собственной истории (смены форм описания / объяснения, наследования посылок и аксиом и их трансляции через образовательные институты, динамики поля, в частности, организационных форм дисциплины), необходимо признать и то, что социология нуждается в особом инструменте самоописания — специальной истории социологии, принципиально отличающейся от традиционной, которая вызвана к жизни прежде всего нуждами образования, а потому неизбежно опирается на схоластическое видение (см. § 1. 4. настоящего приложения). В противовес традиционной истории социологии, преподаваемой в качестве обязательного курса и настаивающей на единстве дисциплины, образованной чередой «основоположников» и их теорий, нужды исследования предполагают существование социальной истории социальных категорий и проблем, которая сопрягала бы логику социологического описания / объяснения со структурой обмена, в которых таковое формируется и воспроизводится. Однако поскольку выделение этого направления исследований в отдельную специальность неизбежно вернуло бы его в русло схоластического взгляда, работа по анализу собственной перспективы встроена в сам метод критической социологии.

³⁷ «Теория практики, взятая как практика, напоминает, что, с одной стороны, в противовес позитивистскому материализму, предметы познания должны быть сконструированы, а не просто пассивным образом зарегистрированы, а с другой — что, в отличие от интеллектуалистского идеализма, принципом такого построения является система структурированных и структурирующих диспозиций, формирующихся в практике и постоянно направленных на практические функции» [21, кн. 1, гл. 3].

³⁸ Т.е. реализуя регулятив генетического структурализма: помещать продукты практик в контекст, в котором они были произведены и функционируют.

³⁹ Ср.: «Когда речь идет о социальном мире, обычное использование обычного языка делает из нас метафизиков» [17, с. 88].

⁴⁰ Резюмирующей эту линию выступает работа Бурдьё «Паскалевские размышления» [63]. Среди французских авторов одна из наиболее полных и интересных интерпретаций дальней перспективы у Бурдьё принадлежит одному из авторов данного учебника, Луи Пэнто, который в недавно вышедшей монографии «Пьер Бурдьё и теория социального мира» [80], а также в ряде ранее опубликованных статей (напр., [79]), раскрыл критическую программу Бурдьё как специфическое практическое отношение к интеллектуальному миру. Другой пример интерпретации в той же перспективе представлен в уже упоминавшейся статье Бенатуи [57], где предпринята попытка построить систему философских предпосылок критической теории и объяснить расхождения Бурдьё с коллегами (в частности, по вопросу об основаниях социологического разума) различием теоретических парадигм. Ряд других работ, так или иначе отсылающих к критике «теоретической теории» в социологии, значится в библиографическом списке к настоящему послесловию: начиная с первого российского введения в метод Бурдьё [51], заканчивая метарефлексией отдельных его положений [34]. Печатью академизма отмечено и настоящее послесловие, с отсылками к Канту и Хайдеггеру, с более чем полусотней источников в списке литературы — что вызвано усвоенным намерением удовлетворить ожидания тех профессиональных читателей, которые принимают или отвергают текст, исходя из привычки оценивать правильность его построения, и, одновременно, стремлением зафиксировать планку интерпретаторской работы для студентов. Иного рода эксперимент с правилами академической игры — текст, разворачивающийся в форме диалога — представляет собой другая работа [6].

⁴¹ Строго говоря, само обозначение «схоластический» является во многом стереотипом, стирающим различие между теологической ориентацией мысли и местом интеллектуальных практик в системе разделения труда в средневековой Европе. В результате подобной неразличимости схоластике приписываются признаки, закрепившиеся в культурном производстве уже после ее упадка. О смене в XV в. схоластики (как интеллектуального ремесла) гуманизмом (формой культурного досуга аристократии) см. исследование Ле Гоффа [37, ч. 3]. Он, в частности, указывает: гуманисты «хващаются досугом, покоем, в котором они занимаются литературой — *otium* античной аристократии. “Не стесняйся той замечательной и славной лени, которой всегда наслаждались великие умы”, — пишет Николя де Кламанж...» [37, с. 202]. Что касается институционализированной интеллектуальной практики в Англии XVII–XVIII вв., во многом определившей этос новоевропейской науки, связь ее форм и политических интересов (в част-

ности, императива незаинтересованности как результата борьбы за признание в качестве эксперта) см. в: [56, р. 61–63]. Описывая исторический разрыв между наукой как досугом и наукой как профессией автор отмечает: «Долгое время английские ученые гордились тем, что независимы от государства. Однако они были джентльменами (т. е. дворянами, независимо распоряжающимися ресурсом состояния и времени. — А. Б.). Хаксли — один из новых профессиональных ученых, нуждавшихся в оплате своего труда» [56, р. 63].

⁴² См., напр. [75].

⁴³ Прежде всего, использование в отношении научного мира процедур исследования, применяемых к «обычным» социологическим объектам, что доведено до логического конца в наиболее «возмутительном» проекте — социологии гуманитарных дисциплин [61, гл. 1] и «даже» социологии социологии [17, с. 59–69].

⁴⁴ Парадокс академических делений, жестко отделяющих «теоретическое» от «эмпирического» или «фундаментальное» от «прикладного», заключается в том, что схоластическое мышление с одинаковой силой обнаруживает себя и в трудах теоретиков «фундаментальных проблем социологии» (презрительно воспринимающих «эмпирику»), и в интерпретациях экспертов по «политическому устройству», «общественному сознанию», «вопросам образования», «актуальным проблемам молодежи» и т.п. (наиболее полно в «эмпирику» погруженных), в полном соответствии с формулой Хайдеггера: схоластика — это господство обыденного рассудка.

⁴⁵ Даже если в рамках самой схоластической практики возникает проблема критериев соответствия, оставаясь продуктом рационального досуга, она строится на подмене устройством разума устройства реальности, а потому в конечном счете получает статус «вечного вопроса», как, например, о соотношении морали и политики, должного и сущего в общественной жизни, субъекта и объекта социального действия и т. п.

⁴⁶ О том, что именно профессор явился отрицательным персонажем, исходным для становления научно-практической программы Бурдьё, свидетельствует тот факт, что «профессорский разум» был избран одним из первых для отработки процедур социоанализа [59]. Что касается социальных условий «экспертного разума», анализ таковых представлен в работах школы Бурдьё по медиатизации гуманитарных дисциплин (напр., [12; 44; 49; 61, предисловие]), в исследованиях профессионального корпуса экономистов [76] и консультантов [73]. Социологический анализ позиции эксперта в производстве легитимных представлений дан и в некоторых разделах настоящей книги (напр., Лемуар, 3.1–3.4; Мерлье, 2.1; 2.3).

⁴⁷ «...В такой науке как социология, образовательная институция осуществляет свою способность выхолащивания особым образом, а именно “нейтрализацией” того знания, которое стремится передать

социология и его превращением в простые учебные сведения» (Введение). (Ср. с тезисом об инерции и консерватизме, определяющих «природу» системы образования в: [22, 1 / 2–93, с. 58].)

⁴⁸ В дополнение к этому можно привести характеристику университетской институции, о которой Бурдьё высказывается как об инстанции «лжи и канонизированной глупости» [27, с. 15] (более обширную цитату см. в последнем примечании настоящего текста).

⁴⁹ В том числе представление, которое получают о ней студенты, будущие исследователи и преподаватели. Впрочем, рассматривая студентов статистически, можно видеть, что образование выходит далеко за рамки узкой научной подготовки — большая часть выпускников каждый год навсегда покидают научное поле, так в него и не войдя. Тем не менее взятое не со стороны студентов, но со стороны преподавателей, образование подчиняется, все же, логике профессионального производства, поскольку господствующими и в социальном, и в культурном смысле остаются преподаватели: их обмен со студентами в рамках образовательного учреждения следует логике подтверждения собственного социального господства, хотя разрыв в культурной компетентности между ними и студентами по мере продвижения последних от курса к курсу постоянно сокращается. Одновременно преподаватели участвуют в научной борьбе на тех же условиях, что и исследователи (речь идет о публикациях, разработке актуальных тем и т. д.), привнося в нее свою логику, но и усваивая в ней правила обмена с равными, от которых они отправляются в образовательных практиках, обращенных к студентам — пускай даже очень немногие станут впоследствии их коллегами.

⁵⁰ В русском переводе статьи, на которую далее дана ссылка, термин «узкое производство» переведен как «ограниченное производство».

⁵¹ Подробнее об интересе «медиадизированных мыслителей» в размывании границ между наукой и журналистикой см. в работах Бурдьё [11; 61, предисловие] и в работе Пэнто [44]. Следует подчеркнуть, при этом, что сам Бурдьё настаивает на непродуктивности схоластических делений между дисциплинами [25], равно как и руководствовании всякого рода «-измами» [24, с. 184–185]. Однако борьба против непродуктивной жесткости границ внутри научного производства не противоречит борьбе за их ужесточение в отношении политической журналистики. Если первая прямо вытекает из критики «очевидного» порядка, подтвержденного схоластическим разумом, то вторая обоснована бдительностью и заботой об организационной и познавательной независимости социологии прежде всего от политического производства. Таким образом, ослабление внутренних границ и укрепление внешних и составляют социальную основу двойного фронта критической работы, ведущейся школой.

⁵² К ряду имен (а также связанных с ними схем и приемов) Бурдьё отсылает открыто; в их числе Витгенштейн, Остин, Кассирер, Маркс, Башляр, Мерло-Понти. Иные получают двойственное звучание, как,

например, Хайдеггер — в силу большой содержательной близости по вопросу об истине и, одновременно, принципиального разрыва в политических и политико-научных предпочтениях. Иные имена, как Ницше, почти никогда не произносятся Бурдые в положительном смысле, поскольку, начертанные на знамени постмодернистской моды, они попадают под огонь его критики (отчасти это объясняет и отношение к Хайдеггеру, который оказывается в зоне умолчания из-за критики в адрес Ж. Деррида; наследниками Ницше, а значит, оппонентами Бурдые, оказываются М. Фуко и Ж. Делез [28, с. 29]). Более подробно система предпочтений и биографических выборов представлена во вступлениях, интервью и выступлениях Бурдые (см., напр., [17, с. 66, 80–81; 21, предисловие; 27, с. 40–41; 28, с. 28–30]).

⁵³ Явные у Маркса с Энгельсом и неявные, но достаточно четкие у Бурдые, например, в понимании практической логики или габитуса как структуры, структурирующей, на первый взгляд, разрозненные практики агента: профессиональные и матримониальные, стиль речи и письма, этос и экзис (см. [52, с. 60]). Смысл воспроизведения одних и тех же практических схем в различных социальных ситуациях оказывается «ничуть не более загадочен, чем тот, что придает стилевое единство всем выборам, сделанным одним человеком, т. е. одним вкусом, в самых разных областях практики; или чем тот, что позволяет прикладывать одну схему оценки, какой может быть оппозиция между бледным и сочным, — к блюду, цвету, человеку (а точнее к его чертам, глазам, внешности), а также к речам, шуткам, стилю, театральной пьесе или картине...» [21, предисловие]. Ср. с определением «движения» в манифесте «метода» Бальзака [2]. Для сравнения можно также указать на социальные портреты и детальные описания жилищ разных социальных типов у Бальзака, например, в «Гобсеке», с построением «профилей вкуса», сопровождаемых иллюстративными фотографиями в «Различениях» Бурдые.

⁵⁴ В одном из интервью Бурдые делает неожиданное — в контексте заботы о социологической автономии — признание: «...Я думаю, что литература... идет на шаг впереди социальных наук и содержит в себе все богатство фундаментальных проблем, связанных, например, с теорией повествования, которые социологи должны постараться принять на свой счет и подвергнуть проверке, вместо того, чтобы подчеркнуто дистанцироваться от форм экспрессии и мышления, которые они находят для себя компрометирующими» [65].

⁵⁵ Слабость позиции прямого обращения в социологической борьбе к «низовой» точке зрения и к способам ее выражения, а также необходимость использования традиционных схем и «высоких имен» объясняются регулятивом автономии узкого производства, которое признает произнесенное только от имени этой автономии: «...В научном или художественном поле... обращение к непосвященным дискредитирует» [20, с. 203] (подробнее о проблеме прямого обращения к «народному» в

культурном производстве см в: [15]). Именно потому, что в логике узкого производства в отношении языка описания / объяснения действует жесткая цензура, ориентиры «низкого» происхождения оказываются стерты, и оно теряет собственное имя, превращаясь в неосознаваемые условия профессиональной практики.

⁵⁶ В качестве косвенных свидетельств значения «низового» ресурса в социологии Бурдье можно также указать на противопоставление ремесленного характера социологической практики «постмодернистскому шику», аккумулирующему престиж университетского радикализма [11, с. 10–11, 20]; фигурирующее наряду с критикой профессорского разума признание за восприятием доминируемых глубокого реализма [23, с. 66]; введение двух типов доксы по их происхождению — официально навязанной и спонтанной, производной от смутного чувства социальной позиции [23, с. 64–69]; использование в ключевых пунктах объяснения метафор, определяемых «низовым» здравым смыслом, например, габитуса как необходимости, превращенной в добродетель [21, кн. 1, гл. 3]; превращение чувства «изобилия жизни», превосходящего всякие модели, в теоретический принцип [27, с. 38]; наконец, тезис о борьбе как основании социального порядка в условиях неокончательной определенности социального мира, соединяющий в себе марксов (т. е. усвоенный «высокой» традицией) подход и непосредственность взгляда агента социального обмена.

⁵⁷ Чтобы перейти от Рабле к современному состоянию интеллектуального производства Франции, можно отметить, что в своем отношении к неподвижной «классике» и «великим шедеврам» критическая социология сближается с существующей, по крайней мере, с начала века, позицией перманентного обновления, заявленной сюрреализмом и артикулированной в самых различных секторах: от театра начала 1930-х [1] до нового романа начала 1950-х и постструктуралистского литературоведения конца 1960-х [3].

⁵⁸ Можно предвидеть, что когда ей будет указано, наконец, «естественное место» в истории науки (в истории, удовлетворяющей нуждам образовательной логики), такое указание с самого начала будет содержать описанную Бахтиным ошибку: попытку «уложить всю литературу... в рамки официальной культуры» [4, с. 526].

Специально задавшись такой целью, можно выделить ряд универсальных допущений из предлагаемого Бурдье описания / объяснения социального мира. Однако попытка свести их в непротиворечивую схему, пригодную для иллюстрированного изложения в учебниках с самого начала обречена на неудачу: будучи сведены к положениям, происходящим из различных теорий, они окажутся в формальном противоречии в контексте школьной истории гуманитарных наук, которая располагает на разных полюсах материальное и идеальное, объяснение и понимание, объективное и субъективное. Возможно, один из наиболее рельефных примеров такой «противоречивости» можно обнаружить в подходе к проблеме автономии поля (напр., в [22]). Выделив основ-

ные черты автономизирующегося поля интеллектуального производства (делегитимация экономических условий производства, непрерывное введение в оборот новых различий, логика поляризации и императив самообозначения), можно убедиться, что они рассматриваются как воплощение своего рода логической схемы автономии, хотя становление структуры поля при этом выступает результатом исторической случайности. Т. е. налицо объединение гегелевской схемы разумной планомерной истории и веберовской схемы истории как случайного соединения определяющих условий. Зачастую сознательно отрицая абсолютный смысл подобных противопоставлений (как в случае объективного/субъективного [24, с. 183]), Бурдьё предполагает наличие находящегося за ними исходного и полноценного познавательного единства. Проблему автономии он вписывает в более широкий горизонт объяснения, рассматривая закон, или *потос*, как порядок, в основании которого лежит произвол [11, с. 15, 18]. Здесь он не только придает подвижность (доходящую до игры слов) первоначально жесткой оппозиции, но и — что более существенно — продолжает движение, направленное не на поиск внеисторического основания автономии, а на анализ исторической формы закона и условий его происхождения-функционирования, в том числе в практиках исследователя-социолога (принцип двойной историзации [11, с. 22]).

⁵⁹ В отличие от научного учреждения как способа сохранения всем социальным корпусом отличий и привилегий, вытекающих из легитимного распоряжения именем конкретной научной дисциплины.

⁶⁰ Следуя методу критической социологии, установить позицию школы в поле французского культурного производства можно, реконструировав как ее собственную стратегию, так и условия действительности таковой, реализованные в собственных практиках школы и в практиках прочих участников обмена в отношении школы. Однако подобная задача предполагает достаточно полную реконструкцию позиций, с которых дается обоснование или критика действий школы в целом и лично Бурдьё, т. е. реконструкцию поля гуманитарных наук Франции, что неосуществимо без специального исследования. Нам остается, с учетом введенных ранее оппозиций, рассмотреть структуру школы с точки отсчета, расположенной внутри нее самой.

⁶¹ Выступая против самодовлеющей учености и юридизма как жреческих стратегий, отвергая схоластические деления между дисциплинами и критикуя государство как монополиста на символическое насилие, встроенное и социальные науки, Бурдьё оказывается в положении пророка, речь которого обоснована только заключенной в ней социологической истиной, одновременно являющейся истиной социальной (т. е. практической). Критикуя представление о царящем в социологии кризисе, Бурдьё отмечает: «...Для меня "кризис", о котором сегодня говорят, это кризис ортодоксии, а быстрое размножение ереси, по моему мнению, есть прогресс в сторону научности» [17, с. 65]. Контраст в единстве практик носителя пророческой речи и соратников, ее разделяющих,

дает эффект магического переноса: работа целого круга исследователей получает персонифицированное воплощение и имя собственное, которое поглощает в себе все остальные имена.

⁶² Предлагая инструменты разрыва со сложившимся восприятием «порядка вещей», школа реализует их в отношении традиционных обществ [21, кн. 2] и наиболее современных тенденций в обществах западноевропейских (основные сюжеты и примеры в настоящей книге, а также в: [49]), политического [8; 9] и культурного [22; 43] производств, логики литературного поля [68; 81] и самих социальных наук [44; 61; 73; 76]. В этой всеохватности проявляется та же логика, определяющая интеллектуальную секту, как ее описывает Бурдьё, говоря о функционировании рынка культурных благ [22, 1/2–93, с. 57–58].

⁶³ Эволюцию своего восприятия самой социологии Бурдьё описывает так: от студенческого пренебрежения в адрес социологов, неизбежно плохо справлявшихся с игрой на поле философских амбиций, до «обращения» в социологию благодаря трудам Леви-Строса [27, с. 16–17].

⁶⁴ 1981 г. — избрание П. Бурдьё в Коллеж де Франс (претендентами на то же кресло были А. Турен и Р. Будон), которое стало актом высшего институционального признания его научных заслуг, в значительной мере заставившим противников принять критическую социологию как одну из господствующих позиций.

⁶⁵ Р. Ленуар в личной беседе указал, что тремя основными социологическими оппонентами школы Бурдьё являются этнометодология (в т. ч. в форме социальной работы), позитивизм лазарсфельдианского типа (и эксплуатирующая его легитимность индустрия опросов) и индивидуализм (сближающийся с американской теорией рационального выбора).

⁶⁶ К настоящему времени тираж журнала составляет 8 тыс. экземпляров, из которых 2,5 тыс. распространяются по подписке [78, с. 38].

⁶⁷ При отборе авторов был использован список опубликованных в 120 номерах статей, размещенный в № 120 (декабрь 1997).

⁶⁸ Каждый из троих исследователей, на чьи работы следует ссылка далее, сменил область специализации и/или при этом переехал в Париж из другого города (и даже страны).

⁶⁹ Такая стратегия сближается с критикой Маркса, исходившего из выявленных отношений между трудом и капиталом, скрытых за видимостью товарного и денежного обращения.

⁷⁰ Во французских СМИ и в целом за рамками профессии Бурдьё известен прежде всего как создатель «Нищеты мира».

⁷¹ В качестве хронологического ориентира активного вхождения самого Бурдьё во французскую публичную политику можно рассматривать два события: в 1989–90 г. он возглавлял Комиссию по оценке содержания образования, а в 1993 г. вышла упомянутая коллективная работа «Нищета мира», проведенная по заказу и при финансовой под-

держке со стороны государственного объединения Caisse des depots. Политическое признание и резонанс, вызванный книгой, не будучи в собственном смысле событиями публичной политической борьбы, дали, тем не менее, кумулятивный эффект, позволив школе и лично Бурдьё принимать участие в забастовках и акциях протеста середины 1990-х уже как практикам, получившим право представлять доминируемых при посредстве науки. Проводимые ранее исследования мира доминируемых (изучение П. Бурдьё алжирских рабочих, П. Шампанем крестьян, Р. Лемуаром системы социальной защиты др.) оказались той характеристикой школы, которую эти два события усилили и закрепили уже как политическое отличие. Специально указать на два хронологических ориентира нас побудила забота о том, чтобы политическая практика школы и лично Бурдьё не были восприняты как «естественно и неизбежно» вытекающие из содержания критической программы познания. До начала 1990-х политическая работа школы ограничивалась преимущественно мобилизованным участием, т. е. участием в «готовых» акциях, поэтому самостоятельное вступление на политическую арену можно было рассматривать только в связи с приобретением школой дополнительного ресурса.

⁷² Та же логика лежит в основе политической практики членов школы и, прежде всего, самого Бурдьё, лишенных ресурса поддержки в среде политиков буржуазного происхождения, часть которых заканчивала вместе с ним Высшую Нормальную школу, где социальные различия и взаимные расхождения обозначилось наиболее отчетливо [69].

⁷³ Граница социологии утверждается и поддерживается прежде всего возможностью ее контролируемых пересечений, не согласованных с господствующими мира политики, а потому воспринимаемых зачастую как возмутительное нарушение всех (в том числе научных) правил и конвенций.

⁷⁴ Говоря об отличительных чертах современного режима неравенства, Бурдьё указывает на «инволюцию государства»: утрату им социальных функций (охрана труда, образовательные и здравоохранительные гарантии и т. д.) и превращение его только в машину контроля и наказания [64, р. 39]. Но государство уже не является «причиной в себе». В рамках французской неолиберальной идеологии, как в рамках российской или немецкой, структурой господства, присутствующей в схемах политической (а, следовательно, и социологической) классификации, оказывается не национальное государство Франции (России, Германии) как таковое и даже не государство США, которое выступает практическим референтом (т. е. реальным центром силы), обособившим распространение неолиберализма, но баланс сил, усиливающий позиции победителей в национальной политической борьбе положением государства на международном финансовом рынке [64, р. 40–44]. Таким образом, неолиберализм, как и идеология глобализации, объективирует интересы господствующих (правительство США, Немецкий Банк, ряд международных финансовых организаций [60, р. 61]),

переопределяя на языке «равных возможностей» и «возрастающей однородности» воспроизводящееся в новых условиях социальное неравенство.

⁷⁵ Политическая ангажированность через социологическую практику и вытекающее из нее содержание политических проектов Бурдьё подробнее рассматриваются в статье Ж. Може [40], более чем наполовину состоящей из удачно подобранных цитат Бурдьё, Сартра, Фуко.

⁷⁶ Практическое отношение Бурдьё к образовательной системе во многом определило основы его социологического проекта: «Стремление к разрыву... было у меня ориентировано на институтированную власть, и в частности, против университетской институции и всего того, что она скрывает в себе насильственного, против лжи, канонизированной глупости, а через это и против социального порядка» [27, с. 15]. Продолжая самообъективацию, Бурдьё анализирует собственные мотивы: «...Мое представление о культуре и системе образования многим обязано занимаемой мною позиции в университетском поле и, особенно, траектории, которая меня туда привела... а также отношению к образовательным институциям... которому способствовала эта траектория» [27, с. 42].

Литература

1. *Арто А.* Покончить с шедеврами // Арто А. Театр и его двойник / Пер. с фр. С. Исаева. М.: Мартис, 1993. С. 80.
2. *Бальзак О де.* Теория походки / Пер. с фр. О. Э. Гринберг // Бальзак О де. Физиология брака. Патология общественной жизни. М.: НЛО, 1995. С. 262–263.
3. *Барт Р. S/L* / Пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат. М.: РИК «Культура» Ad Marginem, 1994. С. 11–13.
4. *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990.
5. *Башляр Г.* Новый научный дух / Пер. с фр. под ред. А. Ф. Зотова // Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1990.
6. *Бикбов А. Т.* Имманентная и трансцендентная позиции социологического теоретизирования // Пространство и время в современной социологической теории. М.: Изд. «Институт социологии РАН», 2000.
7. *Будон Р.* Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Пер. с фр. М. М. Кириченко под ред. М. Ф. Черныша. М.: Аспект-Пресс, 1998.
8. *Бурдьё П.* Делегирование и политический фетишизм / Пер. с фр. Ю. М. Ледовских // Бурдьё П. Социология политики / Пер. с фр.; под ред. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.
9. *Бурдьё П.* Дух государства: генезис и структура бюрократического поля / Пер. с фр. Н. А. Шматко //

Поэтика и политика. S/L'98. Альманах российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Институт экспериментальной социологии — Алетейя, 1999.

10. *Бурдьё П.* За политику морали в политике / Пер. с фр. Г. А. Чередниченко // Бурдьё П. Социология политики / Пер. с фр.; под ред. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. С. 328.
11. *Бурдьё П.* За рационалистический историзм / Пер. с фр. Н. А. Шматко // S/L'97. Социо-логос постмодернизма. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996.
12. *Бурдьё П.* Зондаж: «наука» без ученого // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
13. *Бурдьё П.* Интерес социолога // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 160–164. С. 160–161.
14. *Бурдьё П.* Кодификация // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
15. *Бурдьё П.* Назначение «народа» // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
16. *Бурдьё П.* Объективировать объективирующего субъекта // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
17. *Бурдьё П.* Ориентиры // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
18. *Бурдьё П.* От правила к стратегиям // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
19. *Бурдьё П.* Поле интеллектуальной деятельности как особый мир // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.

20. *Бурдьё П.* Политическое представление: Элементы теории политического поля / Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // Бурдьё П. Социология политики / Пер. с фр.; под ред. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.
21. *Бурдьё П.* Практический смысл / Пер. с фр.; под ред. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии — Алетея, 2000.
22. *Бурдьё П.* Рынок символической продукции / Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // Вопросы социологии. № 1–3, 1993; № 5, 1994.
23. *Бурдьё П.* Социальное пространство и генезис “классов” / Пер. с фр. Н. А. Шматко // Бурдьё П. Социология политики / Пер. с фр.; под ред. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos. 1993.
24. *Бурдьё П.* Социальное пространство и символическая власть // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
25. *Бурдьё П.* Университетская докса и творчество: против схоластических делений / Пер. с фр. Н. А. Шматко // Socio-Logos'96. Альманах российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Socio-Logos, 1996.
26. *Бурдьё П.* Чтение, читатели, ученые, литература // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 168.
27. *Бурдьё П.* «Fieldwork in philosophy» // Бурдьё П. Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
28. *Бурдьё П.* Passport to Duke / Пер. с фр. А. Т. Бикбова // Пространство и время в современной социологической теории. М.: Изд. «Институт социологии РАН», 2000.

29. *Вознесенская Е. Д.* Поле архитектуры: “свободные профессионалы” и “служащие” // Socio-Logos'96. Альманах российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М.: Socio-Logos, 1996.
30. *Гуссерль Э.* Картезианские размышления / Пер. с нем Д. В. Скляднева. СПб: Наука — Ювента, 1998. С. 139–143.
31. *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994.
32. *Кант И.* Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. О. Лосского; под ред. А. В. Гулыги // Кант И. Соб. соч.: 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 3.
33. *Каради В.* Морис Хальбвакс: биографический очерк // Хальбвакс М. Социальные классы и морфология / Пер. с фр.; под ред. А. Т. Бикбова. М.: Институт экспериментальной социологии — Алетейя, 2000.
34. *Карсенти Б.* Социология в пространстве точек зрения / Пер. с фр. М. М. Федоровой // Поэтика и политика. S/L'98. Альманах российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Институт экспериментальной социологии — Алетейя, 1999.
35. *Качанов Ю. Л.* Начало социологии. М.: Институт экспериментальной социологии — Алетейя, 2000.
36. *Качанов Ю. Л.* Политическая топология: структурирование политической действительности. М.: Ad Marginem, 1995.
37. *Ле Гофф Ж.* Интеллектуалы в средние века / Пер. с фр. А. Руткевича. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1997. С. 202.

38. *Лебарон Ф.* Генетический структурализм / Пер. с фр. А. В. Тавровского // Журнал социологии и социальной антропологии. Современная французская социология (спец. выпуск). Том 2. 1999.
39. *Манхейм К.* Идеология и утопия / Пер. с нем. М. И. Левиной // Манхейм К. Диагноз нашего времени М.: Юрист, 1994.
40. *Може Ж.* Социологическая ангажированность / Пер. с фр. М. М. Федоровой // Поэтика и политика. S/L'98. Альманах российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Институт экспериментальной социологии — Алетейя, 1999.
41. *Пэнсон М., Пэнсон-Шарло М.* Культура господствующих классов: между знанием и достоянием / Пер. с фр. О. Е. Трущенко // Вопросы социологии. Вып. 7. 1996.
42. *Пэнсон М., Пэнсон-Шарло М.* Отношение к объекту исследования и условия его принятия научным сообществом / Пер. с фр. О. Е. Трущенко // Socio-Logos'96. Альманах российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М.: Socio-Logos, 1996.
43. *Пэнто Л.* Интеллектуальная докса / Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // Socio-Logos'96. Альманах российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М.: Socio-Logos, 1996.
44. *Пэнто Л.* Философская журналистика / Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // Социо-Логос постмодернизма. S/L'97. Альманах российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996.

-
45. *Фуко М.* Воля к знанию // *Фуко М.* Воля к истине / Пер. с фр. С. Табачниковой; под ред. А. Пузыря. М.: Магистерium — Касталь, 1996. С. 188.
 46. *Фуко М.* Что такое Просвещение / Пер. с фр. Е. Никулина // *Вопросы методологии.* № 1–2. 1995.
 47. *Хайдеггер М.* О сущности истины / Пер. с нем. З. Н. Зайцевой // *Хайдеггер М.* Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991.
 48. *Шампань П.* Двойная зависимость. Несколько замечаний по поводу соотношения между полями политики, экономики и журналистики / Пер. с фр. Д. В. Баженова // *Socio-Logos'96.* Альманах российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Socio-Logos, 1996.
 49. *Шампань П.* Делать мнение: новая политическая игра / Пер. с фр.; под ред. Н. Г. Осиповой. М.: Socio-Logos, 1997.
 50. *Шарль К.* Расширение и кризисы литературного производства (вторая половина XIX века) / Пер. с фр. Ю. Ледовских // *Вопросы социологии.* № 1 / 2. 1993.
 51. *Шматко Н. А.* Введение в социоанализ Пьера Бурдьё // *Бурдьё П.* Социология политики / Пер. с фр.; под ред. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos. 1993.
 52. *Шматко Н. А.* «Габитус» в структуре социологической теории // *Журнал социологии и социальной антропологии.* № 2. Т. 1. 1998.
 53. *Шматко Н. А.* Генетический структурализм Пьера Бурдьё // *История теоретической социологии* / Под ред. Ю. Н. Давыдова. Т. 4. СПб.: Изд. РХГИ, 2000.
 54. *Шматко Н. А.* Конверсия бюрократического капитала в постсоветской России // *Socio-Logos'96.* Альма-

нах российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Socio-Logos, 1996.

55. *Alexander J.* Fin de Siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason. N. Y.: Verso Books, 1995. Chapter 4.
56. *Barton R.* The Creation of the Conflict between Science and Theology // Science and Theology in Action. Palmerstone North: Dunmore Press, 1987.
57. *Bénatouil Th.* Critique et pragmatique en sociologie: quelque principes de lecture // Annales: histoire, sciences sociales. № 22. 1999.
58. *Bonnewitz P.* Entre enthousiasme et contestation // Magazine littéraire. № 369. Octobre 1998.
59. *Bourdieu P., Saint Martin M. de.* Les catégories de l'entendement professoral // Actes de la recherche en sciences sociales. № 3. 1975.
60. *Bourdieu P.* Les chercheurs, la science économique et le mouvement social // Contre-feux. Paris: Liber-Raisons d'agir, 1998.
61. *Bourdieu P.* Homo Academicus. Cambridge: Polity Press, 1990.
62. *Bourdieu P.* Le langage autorisé: note sur les conditions sociales de l'efficacité du discours rituel // Actes de la recherche en sciences sociales. № 5–6. 1975. P. 186.
63. *Bourdieu P.* Méditations pascaliennes. Paris: Seuil, 1997.
64. *Bourdieu P.* Le mythe de la «mondialisation» et l'Etat social européen // Contre-feux. Paris: Liber-Raisons d'agir, 1998.
65. *Bourdieu P.* L'objectivation du sujet objectivant // Bourdieu P., Wacquant L. Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil, 1992. P. 180.

66. *Bourdieu P.* Une objectivation participante // Bourdieu P., Wacquant L. Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil, 1992. P. 227.
67. *Bourdieu P.* Penser relationnellement // Bourdieu P., Wacquant L. Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil, 1992.
68. *Bourdieu P.* Les règles de l'art: Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil, 1992.
69. *Corcuff Ph.* De «La Distinction» à la «gauche de gauche» // Sciences Humaines. № 105. Mai 2000.
70. *Corcuff Ph.* Regards critiques // Sciences Humaines. № 105. Mai 2000.
71. *Durkheim E.* Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: Quadrige/PUF, 1998.
72. *Habermas J.* The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures. Cambridge: Polity Press, 1992. P. 5.
73. *Henri O.* Entre savoir et pouvoir. Les professionnels de l'expertise et du conseil // Actes de la recherche en sciences sociales. № 95. 1992.
74. La misère du monde / Sous la dir. de P. Bourdieu. Paris: Seuil, 1993.
75. *Latour B.* La gauche a-t-elle besoin de Bourdieu? // Libération. 15 septembre 1998.
76. *Lebaron F.* La dénégarion du pouvoir. Le champ des économistes français au milieu des années 1990 // Actes de la recherche en sciences sociales. № 119. 1997.
77. *Lepenies W.* Between Literature and Science: the Rise of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press; Paris: Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1988. P. 3.
78. Magazine littéraire. № 369. Octobre 1998.

79. *Pinto L.* La théorie en pratique // Critique. № 579–580. Août — septembre. 1995.
80. *Pinto L.* Pierre Bourdieu et la theorie du monde social. Paris: Alban Michel, 1998.
81. *Sapiro G.* La guerre des écrivains: 1940–1953. Paris: Fayard, 1999.
82. *Singly F.* Bourdieu: nom propre d'une entreprise collective // Magazine littéraire. № 369. Octobre 1998.
83. *Wagner P.* Social Sciences and Political Projects: Reform Coalitions between Social Scientists and Policy-makers in France, Italy and West Germany // The Social Direction of the Public Sciences / Eds. S. Blume, J. Bunders, L. Leydersdorff, R. Whitley. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987 (vol. XI).

Библиография*

1. *Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Я. Ю. Старцева при участии В. А. Бабинцева. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999. (*Ariès P.* L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime. Paris: éd. du Seuil, 1960 [coll. «Points», 1975]).
2. *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М.: Художественная литература, 1990 (*Bakhtine M.* L'oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. Trad. de Robel A. Paris: Gallimard, 1970 [coll. «Tel», 1982]).
3. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности / Пер. с англ. Е. Руткевич. — М.: Московский философский фонд — Академия-Центр — Медиум, 1995. (*Berger P. L., Luckmann T.* La construction sociale de la réalité. [1967]. Trad. de Taminiaux P. Paris: Méridiens — Klincksieck, 1986).
4. *Бурдьё П.* Начала / Пер. с фр. Н. А. Шматко. — М.: Socio-Logos, 1994. (*Bourdieu P.* Choses dites. Paris: Minuit, 1987).

* В тексте книги все указания на страницы даны по французским изданиям.

5. Бурдьё П. Социальное пространство и генезис «классов» / Пер. с фр. Н. А. Шматко // Бурдьё П. Социология политики / Пер. с фр. под ред. Н. А. Шматко. — М.: Socio-Logos. 1993. (*Bourdieu P. Espace social et genèse des «classes» // Actes de la recherche en sciences sociales. № 52–53. Juin 1984b. P. 3–12*).
6. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. — М.: Канон-Пресс-Ц — Кучково Поле, 2000. (*Goffman E. La mise en scène de la vie quotidienne, [1959 et 1971]. Trad. d'Accardo A. et Kihm A. Paris: Minuit, 1973. Vol. 2*).
7. Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995. (*Durkheim E. Les règles de la méthode sociologique. Paris: Alcan, 1895 [PUF, 1987, coll. «Quadrige»; autre édition: Flammarion, 1988, coll. «Champs»]*).
8. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. — М.: Канон, 1996. (*Durkheim E. La division du travail social. Paris: Alcan, 1897 [PUF, 1967]*).
9. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / Пер. с фр. А. Н. Ильинского под ред. В. А. Базарова. — М.: Мысль, 1994. (*Durkheim E. Le suicide. Etude de sociologie. Paris: Alcan, 1897 [PUF, 1986, coll. «Quadrige»]*).
10. Фуко М. Воля к знанию // Фуко М. Воля к истине / Пер. с фр. С. Табачниковой; под ред. А. Пузырея. — М.: Магистериум — Касталь, 1996. (*Foucault M. La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976*).
11. Хальбвакс М. Браки во Франции во время и после войны // Хальбвакс М. Социальные классы и морфология / Пер. с фр.; под ред. А. Т. Бикбова. — М.: Институт экспериментальной социологии — Алетея, 2000а. (*Halbwachs M. La nuptialité en France pendant et depuis la guerre, 1935b // Annales sociologiques, E, fascicule 1, 1935, reproduit en: Halbwachs, 1972. P. 231–272*).

12. *Хальбвакс М.* Статистика в социологии // *Хальбвакс М.* Социальные классы и морфология / Пер. с фр.; под ред А. Т. Бикбова. — М.: Институт экспериментальной социологии — Алетейя, 2000b. (*Halbwachs M.* La statistique en sociologie, 1935a, reproduit en: Halbwachs, 1972. P. 329–348).
13. *Хальбвакс М.* Социальные классы и морфология / Пер. с фр.; под ред А. Т. Бикбова. — М.: Институт экспериментальной социологии — Алетейя, 2000c. (*Halbwachs M.* Classes sociales et morphologie. Paris: Minuit, 1972).
14. *Affichard J.* L'enquête sur l'emploi // *Affichard J.* (édit.). Pour une histoire de la statistique, t. 2. Matériaux. Paris: Economica — INSEE, 1987. P. 87–115.
15. *Atkinson J. M.* Discovering suicide. Studies in the social organization of sudden death. London: Macmillan, 1978.
16. *Azouvi A.* Plaidoyer pour l'utilisation des statistiques de qualification // *Dourdan* (édit.). L'emploi. Enjeux économiques et sociaux. Paris: Maspero, 1982. P. 418–430.
17. *Balazs G.* Les facteurs et les formes de l'expérience du chômage // *Actes de la recherche en sciences sociales.* № 50. Novembre 1983. P. 69–83.
18. *Balazs G., Faguer J.-P.* Un conseil de classe particulier // *Actes de la recherche en sciences sociales.* № 62–63. Juin 1986. P. 115–117.
19. *Baudelot C.* Mesure de la mobilité et chiffrage de la catégorie socioprofessionnelle dans les déclarations annuelles des salaires (DAS) // *INSEE*, 1981. P. 167–199.
20. *Baudelot C., Estabiet R.* Durkheim et le suicide. Paris: PUF, 1984 (coll. «Philosophie»).
21. *Bertier de Sauvigny G.* La Restauration. Paris: Flammarion, 1955.

22. *Besnard P.* L'anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim. Paris: PUF 1987.
23. *Besson J.-L.* Mesure et réalité du chômage au Japon et en France // Christian Mercier (édit.), Japon. Stratégies industrielles et enjeux sociaux. Lyon: PUL, 1988. P. 155-216.
24. *Besson J.-L., Comte M.* Du compte à l'affabulation: les statistiques du chômage / Besson, Comte (édit.), 1986 P. 289-323.
25. *Besson J.-L., Comte M.* (édit.) Des mesures. Lyon: PUL 1986.
26. *Besson J.-L., Comte M., Rousset P.* Compter les chômeurs... Lyon: PUL, 1981.
27. *Blumer H.* Social problems as collective behaviour // Social Problems. XVIII. № 3, winter 1971. P. 298-306.
28. *Boltanski L.* Prime éducation et morale de classe. Paris Mouton, 1969.
29. *Boltanski L.* Les cadres. La formation d'un groupe social Paris: Minuit, 1982.
30. *Boltanski L.* Une réussite: la mobilisation des «cadres» // Lavau G. et al. (édit.) L'univers politique des classes moyennes. Paris: Presse de la FNSP, 1983 P. 156-169.
31. *Boltanski L., Darré Y., Schiltz M.-A.* La dénonciation // Actes de la recherche en sciences sociales. № 51. Mars 1984. P. 3-40.
32. *Bon F.* Les sondages peuvent-ils se tromper? Paris Calmann — Lévy, 1974.
33. *Botz G., Pollak M.* Survivre dans un camp de concentration. Entretien avec Margareta Glas — Larsson // Actes de la recherche en sciences sociales. № 41. Février 1982 P. 3-28.

34. *Bourdelaïs P.* Le nouvel âge de la vieillesse: histoire du vieillissement de la population. Paris: O. Jacob, 1993.
35. *Bourdieu P.* Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles. Paris: Minuit, 1977.
36. *Bourdieu P.* La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979.
37. *Bourdieu P.* Questions de sociologie. Paris: Minuit, 1980.
38. *Bourdieu P.* Homo academicus. Paris: Minuit, 1984a.
39. *Bourdieu P.* Le hit-parade des intellectuels français, ou qui sera juge de la légitimité des juges? // Actes de la recherche en sciences sociales. № 52–53. Juin 1984c. P. 95–100.
40. *Bourdieu P., Boltanski L.* Le fétichisme de la langue // Actes de la recherche en sciences sociales. № 4. Juillet 1975. P. 2–33.
41. *Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C.* Le métier de sociologue. Paris; La Haye: Mouton-Bordas, 1968.
42. *Bourdieu P., Darbel A.* La fin d'un malthusianisme? // Darras (édit.), 1966. P. 135–154.
43. *Bourdieu P. et al.* Travail et travailleurs en Algérie. Paris; La Haye: Mouton, 1963.
44. *Bourdieu P. et al.* Un art moyen. Essais sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Minuit, 1965.
45. *Bourdieu P., Passeron J.-C.* Les héritiers: les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964.
46. *Bourdieu P., Passeron J.-C., Saint Martin M.* Rapport pédagogique et communication. Paris; La Haye: Mouton, 1965.
47. *Bourdieu P., Saint Martin M.* Les catégories de l'entendement professoral // Actes de la recherche en sciences sociales. № 3. Mai 1975. P. 68–93.

48. *Bourdieu P., Saint Martin M.* La sainte famille. L'épiscopat français dans le champ du pouvoir // Actes de la recherche en sciences sociales. № 44–45. Novembre 1982. P. 2–53.
49. *Bourdieu P., Sayad A.* Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie. Paris: Minuit, 1964.
50. *Bourdieu P.* Des familles sans nom // Actes de la recherche en sciences sociales. № 111. Juin 1996. P. 3–7.
51. *Brenneis D.* A propos des «research proposals» // Actes de la recherche en sciences sociales. № 74. Septembre 1988. P. 82.
52. *Briand J.-P.* Sur quelques conséquences des différents emplois du code des catégories socioprofessionnelles // INSEE, 1984. P. 45–58.
53. *Briand J.-P., Chapoulie J.-M.* Les classes sociales. Principes d'analyse et données empiriques. Paris: Hatier, 1985.
54. *Cassirer E.* Le langage et la construction du monde des objets // Journal de psychologie. Janvier — avril 1933 (numero spécial). P. 45.
55. *Castel P.* L'expert mandaté et l'expert instituant // Situations d'expertise et socialisation des savoirs. Actes de la Table ronde organisée par le CRESAL. Mars 1985.
56. *Cézard M.* Les qualifications ouvrières en question // Economie et statistique. № 110. Avril 1979. P. 15–36.
57. *Cézard M.* Le rapprochement de l'enquête. Emploi et du Recensement de la population de 1975; résultats généraux // INSEE, 1981. P. 201–219.
58. *Cézard M.* Le chômage et son halo // INSEE, 1986. P. 77–82.
59. *Chamboredon J.-C.* La délinquance juvénile. Essai de construction de l'objet // Revue française de sociologie. XII. № 3. Juillet — septembre 1971. P. 335–377.

60. *Chamboredon J.-C., Prévot J.* Le «métier d'enfant». Définition sociale de la prime enfance et fonctions différentielles de l'école maternelle // *Revue française de sociologie*. XIV. № 3. Juillet — septembre 1973. P. 295–335.
61. *Champagne P.* La télévision et son langage: l'influence des conditions sociales de réception sur le message // *Revue française de sociologie*. XII. № 3. Juillet — septembre 1971. P. 406–430.
62. *Champagne P.* Les paysans à la plage // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 2. Mars 1975. P. 21–24.
63. *Champagne P.* Jeunes agriculteurs et vieux paysans. Crise de la succession et apparition du «troisième âge» // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 26–27. Mars — avril 1979. P. 83–107.
64. *Champagne P.* La manifestation. La production de l'événement politique // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 52–53. Juin 1984. P. 18–41.
65. *Champagne P.* La reproduction de l'identité // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 65. Novembre 1986. P. 41–64.
66. *Champagne P.* Le cercle politique. Usages sociaux des sondages et nouvel espace politique // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 71–72. Mars 1988. P. 71–97.
67. *Cheury G.-R.* *Pratique des enquêtes statistiques*. Paris: PUF, 1962.
68. *Collomb P., Charbit Y.* *Pratiques contraceptives et cycle de vie familiale* // *Leridon et al. (édit.), 1987. P. 138–145 (reproduit en «Population». № 34, spécial. Décembre 1979).*
69. *Comission d'étude des problèmes de la vieillesse* // *Politique de la vieillesse*. Paris: La documentation française, 1962.

70. Commissariat général du plan. La qualification du travail: de quoi parle-t-on? Paris: La documentation française, 1978 (coll. «Economie et planification»).
71. *Darras*. Le partage des bénéfices. Expansion et inégalités en France. Paris: Minuit, 1966.
72. *Delsault Y.* Le double mariage de Jean Céliste // Actes de la recherche en sciences sociales. № 4. Août 1976. P. 3–20.
73. *Delsault Y.* L'inforjetable // Actes de la recherche en sciences sociales. № 74. Septembre 1988. P. 83–88.
74. *Desrosières A.* La portée sociologique des diverses phases du travail statistique // Besson, Comte (édit.), 1986. P. 247–273.
75. *Desrosières A., Thévenot L.* Les catégories socioprofessionnelles. Paris: La Découverte, 1988 (coll. «Repères»).
76. *Douglas J. D.* The social meanings of suicide. Princeton: Princeton University Press, 1967.
77. *Dubois P.* Qualification et salaire dans l'habillement: approche monographique // Économie et statistique. № 140. Janvier 1982. P. 3–13.
78. *Duby G.* Les «jeunes» dans la société aristocratique dans la France du Nord-Ouest au XII siècle // Annales, E.S.C. XIX. № 5. Septembre — octobre 1964. P. 835–846 (reproduit en: Hommes et structures du Moyen Age. Paris: Mouton, 1973).
79. *Durkheim E.* Les représentations individuelles et les représentations collectives (1924), reproduit en: Sociologie et philosophie. Paris: PUF, 1973.
80. *Duroselle J.-B.* Les débuts du catholicisme social en France (1822–1870). Paris: PUF, 1951.
81. *Elias N.* La dynamique de l'Occident (1939), trad. de Kamnitzer P. Paris: Calmann-Lévy, 1975.

82. *Eyraud F.* La fin des classifications Parodi // Sociologie du travail. № 3. Juillet — septembre 1978. P. 259–279.
83. *Fauconnet P., Mauss M.* La sociologie: objet et méthode // Grande encyclopédie. Vol. 30, 1901, reproduit tn: Mauss, 1971. P. 6–41.
84. *Francès R.* L'idéologie dans l'université. Structure et déterminants des attitudes sociales des étudiants. Paris: PUF, 1980.
85. *Freyssinet J.* Le chômage. Paris: La Découverte, 1988 («Repères»).
86. *Gambier D., Vernières M.* L'emploi en France. Paris: La Découverte, 1988.
87. *Gaullier X.* La deuxième carrière. Paris: Seuil, 1988.
88. *Girard A., Stoetzel J.* Les sondages d'opinion publique. Paris: PUF, 1973 («La politique»).
89. *Goffman E.* Stigmate (1963). Trad. de Kihm A. Paris: Minuit, 1975.
90. *Goffman E.* Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux (1961). Trad. de Laine L. Paris: Minuit, 1968.
91. *Goffman E.* Les rites d'interaction (1967). Trad. de Kihm A. Paris: Minuit, 1974.
92. *Granet M.* La civilisation chinoise. La vie publique et la vie privée. Paris: La Renaissance du livre, 1929; Albin Michel, 1968 («L'évolution de l'humanité»)
93. *Grémy J.-P.* Les expériences françaises sur la formulation des questions d'enquête. Résultats d'un premier inventaire // Revue française de sociologie. XXVIII. № 4. Octobre — décembre 1987. P. 567–599.
94. *Guillemard A.-M.* Le déclin du social. Paris: PUF, 1986.
95. *Guillot F.* Les sources statistiques des emplois // Economie et statistique. № 111. Mars 1979. P. 71–75.

96. *Halbwachs M.* Les causes du suicide. Paris: Alcan, 1930.
97. *Halbwachs M.* Morphologie sociale. Paris: A. Colin, 1938; nouvelle éd. 1970 (coll. «U2»).
98. *Hatzfeld H.* Du paupérisme à la Sécurité Sociale. Paris: A. Colin, 1971.
99. *Heilbron J.* Les métamorphoses du durkheimisme, 1920–1940 // Revue française de sociologie. XXV. № 2. Avril — juin 1985. P. 203–237.
100. *Hérlihy D.* Some psychological and social roots of violence in Toscan cities // Lauro Martines (édit.). Violence and civil disorder in Italian cities, 1200–1500. Berkeley, 1972. P. 129–154.
101. *Héritier F.* Famiglia // Enciclopedia Einaudi. Turin: Giulio Einaudi, 1979. P. 3–16.
102. *Hoggart R.* La culture du pauvre. Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre (1957), trad. de Garcias F., Garcias J.-C., Passeron J.-C. Paris: Minit, 1970.
103. *Hugues P. d', Petit G., Rerat F.* Les emplois industriels. Nature, formation, recrutement. Paris: PUF, 1973 (Cahiers du Centre d'études de l'emploi).
104. INSEE. Les catégories socioprofessionnelles et leur repérage dans les enquêtes. Etudes méthodologiques // Archives et Documents. № 38. Décembre 1981.
105. INSEE. Sociologie et statistique // Economie et statistique. № 168. Juillet — août 1984.
106. INSEE. Emploi et chômage: l'éclatement // Economie et statistique. № 193–194. Novembre — décembre 1986.
107. *Jones G.I.* Ibo ages organization, with special reference to the Cross River and North — Eastern Ibo // Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain

- and Ireland. XLII. № 2. July — december 1962. P. 191–211.
108. *Labov W.* Le parler ordinaire. La langue dans les ghettos noirs des Etats — Unis (1972), trad. de Kihm A. Paris: Minuit, 1978. T. 1.
109. *Laulhé P.* La mobilité professionnelle dans l'enquête Emploi; les effets de la méthode sur la mesure // INSEE, 1981. P. 105–136.
110. *Leclerc G.* L'observation de l'homme. Une histoire des enquêtes sociales. Paris: Seuil, 1979.
111. *Lenoir R.* L'invention du «troisième âge» et la constitution du champ des agents de gestion de la vieillesse // Actes de la recherche en sciences sociales. № 26–27. Mars — avril 1979. P. 57–82.
112. *Lenoir R.* La notion d'accident du travail: un enjeu de luttes // Actes de la recherche en sciences sociales. № 32–33. Mars — avril 1980. P. 77–88.
113. *Lenoir R.* Une bonne cause. Les «Assises des retraités et des personnes âgées» // Actes de la recherche en sciences sociales. № 52–53. Juin 1984. P. 80–87.
114. *Lenoir R.* Transformations du familialisme et reconversions morales // Actes de la recherche en sciences sociales. № 59. Septembre 1985. P. 3–47.
115. *Leridon H.* et al. La seconde révolution contraceptive. La régulation des naissances en France de 1950 à 1985. Paris: INED-PUF, 1987 («Travaux et documents de l'INED»).
116. *Leridon H., Sardon J.-P.* Principaux résultats de l'enquête INED-INSEE de 1978 // Leridon et al. (édit.), 1987. P. 121–137 (reproduit en «Population». 34, N°spécial. Decembre 1979).
117. *Lévi-Strauss C.* Race et Histoire // Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale II. Paris: Plon, 1973. Ch. 18.

118. *Lévi-Strauss C.* Le regard éloigné. Paris: Plon, 1983. P. 65-92.
119. *Marchand O., Thélot C.* Le nombre des chômeurs // Économie et statistique. № 160. Novembre 1983. P. 29-45.
120. *Marchand O., Thélot C.* Population active, emploi, chômage: des évolutions pas toujours compatibles // INSEE, 1986. P. 5-15.
121. *Martins Rodrigues A.* Pratiques et représentations des petits fonctionnaires à São Paulo // Actes de la recherche en sciences sociales. № 73. Juin 1988. P. 85-93.
122. *Maruani M.* Mais qui a peur du travail des femmes? Paris: Syros, 1985.
123. *Mauger G., Fossé-Poliak C.* Les loubards // Actes de la recherche en sciences sociales. № 50. Novembre 1983. P. 49-67.
124. *Mauss M.* Essais de sociologie. Paris: Minuit, 1971 (coll. «Points»).
125. *Merleau-Ponty M.* Eloge de la philosophie. Paris: Gallimard, 1994 (coll. «Folio»). P. 42.
126. *Merllié D.* Une nomenclature et sa mise en oeuvre. Les statistiques sur l'origine sociale des étudiants // Actes de la recherche en sciences sociales. № 50. Novembre 1983. P. 3-47.
127. *Merllié D.* Le suicide et ses statistiques: Durkheim et sa postérité // Revue philosophique. CXII. № 3. Juillet — septembre 1987. P. 303-325.
128. *Molls R.* Introduction à la démographie des villes d'Europe des XIV et XVIII siècles. Duculot: Gembloux, 1954. T. 1. P. 170-71.
129. *Muel-Dreyfus F.* L'école obligatoire et naissance de l'enfance anormale // Actes de la recherche en sciences sociales. № 1. Janvier 1975. P. 61-74.

130. *Muel-Dreyfus F.* Le métier d'éducateur. Les instituteurs de 1900, les éducateurs spécialisés de 1968. Paris: Minuit, 1983.
131. *Naville P.* Essai sur la qualification du travail. Paris: Marcel Rivière, 1956.
132. *Pareto V.* Cours d'économie politique. T. 2. Genève: Droz, 1964.
133. *Penef J.* La fabrication statistique ou le métier du père // Sociologie du travail. № 2. Avril — juin 1984. P. 195–211.
134. *Perrot M.* Les ouvriers en grève. France 1871–1890. 2 vol. Paris; La Haye: Mouton, 1974.
135. *Pialoux M.* Jeunesse sans avenir et travail intérimaire // Actes de la recherche en sciences sociales. № 26–27. Mars — avril 1979. P. 19–47.
136. *Pinell P.* Fléau moderne et médecine d'avenir: la cancérologie française entre les deux guerres // Actes de la recherche en sciences sociales. № 68. Juin 1987. P. 45–76.
137. *Piriou J.-P.* L'indice des prix. Paris: La Découverte, 1983 (coll. «Repères»).
138. *Pinto L.* L'armée, le contingent et les classes sociales // Actes de la recherche en sciences sociales. № 3. Mai 1975. P. 18–41.
139. *Pinto L.* L'école des philosophes. La dissertation de philosophie au baccalauréat // Actes de la recherche en sciences sociales. № 47–48. Juin 1983. P. 21–36.
140. *Pinto L.* L'intelligence en action: Le Nouvel Observateur. Paris: éd. A.-M. Metaillié, 1984.
141. *Pinto L.* Les philosophes entre le lycée et l'avantgarde. Les métamorphoses de la philosophie dans la France d'aujourd'hui. Paris: L'Harmattan, 1987.

142. *Pohl R., Thélot C., Jousset M.-F.* L'enquête «Formation — Qualification professionnelle» de 1970 // Les collections de l'INSEE. Série D, fasc. 32. Mai 1974.
143. *Ponton R.* De la morale à la lecture // Littérature. № 70. Mai 1988. P. 85–93.
144. *Pudal B.* Les dirigeants communistes // Actes de la recherche en sciences sociales. № 71–72. Mars 1988. P. 46–70.
145. *Rousset P.* Une mesure sans mesure: l'indice des prix à la consommation // Besson, Comte (édit.), 1986. P. 97–224.
146. *Ryder N. B.* The cohort as a concept in the study of social change // American sociological review. XXX. № 6. December 1965. P. 843–865.
147. *Salais R.* Qualification individuelle et qualification de l'emploi // Économie et statistique. № 81–82. Septembre — octobre 1976. P. 3–11.
148. *Salais R.* L'émergence de la catégorie moderne de chômeur: les années 1930 // Salais, Baverez, Reynaud (édit.), 1986. P. 77–123 (partiellement reproduit en: Économie et statistique. № 155. Mai 1983. P. 15–28; Revue économique. Vol. 36. № 2. Mars 1985. P. 321–365).
149. *Salais R., Baverez N., Reynaud B.* L'invention du chômage. Histoire et transformations d'une catégorie en France des années 1890 aux années 1980. Paris: PUF, 1986.
150. *Sapir E.* Culture et personnalité // Anthropologie. Paris: Minuit, 1967. T. 1. P. 37–50.
151. *Sardon J.-P.* La collecte des données sur les pratiques contraceptives: les enseignements de l'enquête INED–INSEE de 1978 // Leridon, Henri et al. (édit.) 1987. P. 299–311 (reproduit en: «Population». № 1. 1986. P. 73–91).

152. *Sauvy A.* Le vieillissement démographique // Revue internationale des sciences sociales. XV. № 3. 1963. P. 371–380.
153. *Sayad A.* «Coûts» et «profits» de l'immigration. Les présupposés politiques d'un débat économique // Actes de la recherche en sciences sociales. № 61. Mars 1986. P. 79–82.
154. *Sayad A.* Les émigrés algériens et la nationalité française // Smain Laacher (édit.). Questions de nationalité. Paris: CIEMI – L'Harmattan, 1987. P. 125–197.
155. *Scott J. W.* Les verriers de Carmaux: la naissance d'un syndicalisme (1974), trad. de Arminjon T. Paris: Flammarion, 1982.
156. *Seys B.* La mobilité professionnelle dans l'enquête «Emploi»; examen des questionnaires de la région Auvergne // INSEE, 1981. P. 139–165.
157. *Simiand F.* Comte rendu du «Suicide» de Durkheim en: L'année sociologique, 1897 // Revue de métaphysique et de morale. Septembre — octobre 1898. P. 641–651, reproduit en: Français Simiand. «Méthode historique et sciences sociales». Choix de textes et présentation de Marina Codronio. Paris: éd. des Archives contemporaines, 1987. P. 71–83.
158. *Suaud C.* L'imposition de la vocation sacerdotale // Actes de la recherche en sciences sociales. № 3. Mai 1975. P. 2–17.
159. *Suaud C.* Splendeur et misère d'un petit séminaire // Actes de la recherche en sciences sociales. № 4. Août 1976. P. 66–90.
160. *Suaud C.* La vocation. Conversion des prêtres ruraux. Paris: Minuit, 1978.
161. *Taylor S.* Durkheim and the study of suicide. London: Macmillan, 1982.

162. *Thélot C.* Les traits majeurs du chômage depuis vingt ans // *Economie et statistique*. № 183. Décembre 1981. P. 37–59.
163. *Thélot C.* La statistique, science de la mesure // *Journal de la société statistique de Paris*. T. 127. № 2. 2 trimestre 1986. P. 67–85.
164. *Thélot C.* La mesure de l'évolution récente du chômage // *Economie et statistique*. № 205. Décembre 1987. P. 39–48.
165. *Thévenot L.* Le flou d'appellation et de chiffrage dans les professions de santé // *INSEE*, 1981. P. 253–263.
166. *Thévenot L.* L'économie du codage social // *Théorie économique et pratiques sociales, Critiques de l'économie politique*. № 23–24. Avril — septembre 1983. P. 188–222 (partiellement reproduit en: *Un emploi à quel titre? L'identité professionnelle dans les questionnaires statistiques* // *INSEE*, 1981. P. 9–39).
167. *Trempe R.* Les mineurs de Carmaux (1848–1914). Paris: Editions Ouvrières. 2 vol. 1971.
168. *Trexler R. C.* Ritual in Florence: adolescent and salvation in the Renaissance // *Trinkaus C., Oberman N. A. (ed.) The pursuit of holiness in late Medieval and Renaissance religion*. Leyde: E. J. Brill, 1974. P. 200–264.
169. *Volle M.* Le métier de statisticien. Paris: Hachette, 1980.
170. *Weber M.* *Economie et société*. Trad. de Freund J. et al. (1922). Paris: Plon, 1971.
171. *Whorf B. J.* *Linguistique et anthropologie*. (1956) Trad. de Carme C. Paris: Denoël, 1969.
172. *Willis P.* L'école des ouvriers // *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 24. Novembre 1978. P. 50–61.
173. *Worf B.-L.* *Linguistique et anthropologie*. Paris: Denoël, 1969. P. 69–115.

Директор издательства:

О. Л. Абышко

Главный редактор:

И. А. Савкин

Художественный редактор:

Н. И. Пашковская

Разработка серийного оформления:

А. Бондаренко

Редакторы:

С. А. Батюто

Т. А. Брылева

Оригинал-макет:

И. А. Смаришева

ИЛ № 064366 от 26.12.1995 г.

Издательство «Алетейя»:

193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13

Телефон издательства: (812) 567-2239

Факс: (812) 567-2253

E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Сдано в набор 09.05.2000 г. Подписано в печать 25.12.2000 г.

Формат 84 × 108/32. 13 п. л. Тираж 1500 экз. Заказ № 3851

Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии

«Наука» РАН: 199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12

Printed in Russia



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ»: НОВЫЕ КНИГИ О ГЛАВНОМ

Визитная карточка издательства — быстро ставшие известными книжные серии: «Античная библиотека» (издается с 1993 г.), «Византийская библиотека» (издается с 1996 г.); «Памятники религиозно-философской мысли» (издается с 1993 г.); «Исследования по истории русской мысли» (издается с 1996 г.), «Российские социологи» (издается с 1996 г.), французская серия «Gallicinium» (издается с 1998 г.); «Античное христианство» (издается с 1998 г.), «Российские психологи. Петербургская научная школа» (издается с 1998 г.), «Классики русской философии права» (издается с 1999 г.), мемуарная «Петербургская серия» (издается с 1999 г.) и некоторые другие. Всего, включая многочисленные внесерийные издания, «Алетейя» выпустила в свет уже более 300 названий книг.

Наши книги знают, ценят, любят и ждут во многих уголках нашей необъятной России, откуда мы получаем сотни писем благодарных читателей с повторяющимся вопросом: где можно приобрести очередные книги издательства «Алетейя»? Отвечаем: это можно сделать, заказав их через отдел «Книга — почтой» Санкт-Петербургского Дома Книги, прислав заказы по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 28, e-mail: motja@cbs.spb.ru, тел.: (812) 219-6301. Книги нашего издательства продаются и в Москве: магазин «Библио-Глобус» (м. «Лубянка»); в книжной лавке «У Сытина» (тел.: (095) 156-8670; проезд Черепановых, 56); Московский Дом Книги (м. «Арбатская»); магазин «У Кентавра» (м. «Новослободская», Миусская пл., д. 6;

тел. (095) 214-5446); магазин «Ad marginem» (м. «Павелецкая», 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7; тел. (095) 951-9360); еженедельная книжная ярмарка в «Олимпийском» (м. «Проспект мира»). В Петербурге весь ассортимент книг издательства «Алетейя» представлен в специализированных магазинах и отделах: Дом Книги (Невский пр., 28, отдел «Общественных наук и учебной литературы»); в магазинах издательства Санкт-Петербургского университета (Университетская набережная, д. 7/9); Российская Национальная (б. Публичная) Библиотека (м. «Гостиный Двор», книжный киоск при входе в Научные Читальные Залы на площади Островского); в магазинах и киосках «Академ-книги»; в магазинах издательско-торгового дома «Летний Сад»: Большой пр. П. С., 82 (тел. (факс) (812) 232-2104); В. О., Менделеевская линия, 5; Невский пр., 3; в ассортиментном кабинете «Петербургского книжного центра» (Стремянная ул., 20) тел. (812) 113-1012; на еженедельной книжной ярмарке в ДК им. Крупской (м. «Елизаровская»).

Сериз «АНТИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

В разделе «Литература»:

- Марк Валерий Марциал «Эпиграммы» (1994 г.);
- Ювенал «Сатиры» (1994 г.);
- «Античные поэты об искусстве» (1996 г.);
- Гигин «Поэтическая астрономия» (1997 г.);
- Катулл «Избранная лирика» (в новых переводах с параллельными текстами) (1997 г.; издание 2-е, исправленное — 1999 г.);

- «Древнегреческая элегия» (1997 г.);
- Ф. Ф. Зелинский «Аттические сказки».

В разделе «История»:

- Ксенофонт «Греческая история» (1993 г.) (вышло три издания);
- Арриан Флавий «Поход Александра» (1993 г.);
- Геродиан «История императорской власти» (1995 г.);
- Аммиан Марцеллин «Римская история» (1994 г.) (вышло три издания);
- Аппиан «Римские войны» (1995 г.);
- Секст Юлий Фронтин «Военные хитрости» (1996 г.);
- «Греческие полиоркетики. Вегеций: Краткое изложение военного дела» (1996 г.);
- Павсаний «Описание Эллады» в 2-х томах (1996 г.);
- Гигин «Мифы» (1997 г.);
- «Суд над Сократом» (сборник исторических свидетельств) (1997 г.);
- Нонн Панополитанский «Деяния Диониса» (1997 г.);
- Дарет Фригийский «Повесть о разрушении Трои» (с параллельными текстами) (1998 г.);
- Гай Светоний Транквилл «О жизни цезарей. О блистательных мужах» (1998 г.);
- «Первый Ватиканский мифограф».

В разделе «Философия»:

- Ксенофонт «Сократические сочинения» (1993 г.);
- Плотин «Сочинения» (1995 г.).
- А. Ф. Лосев «Античная философия истории».

В разделе «Исследования»:

- Вяч. Иванов «Дионис и прадионисийство» (1994 г.);
- В. С. Дуров «Нерон, или Актер на троне» (1994 г.);
- Е. В. Герцман «Музыка Древней Греции и Рима» (1995 г.);
- П. Гиро «Частная и общественная жизнь греков» (1995 г.);
- П. Гиро «Частная и общественная жизнь римлян» (1995 г.);
- А. С. Степанова «Философия древней Стои» (1995 г.);
- Ф. Ф. Зелинский «Из жизни идей» (1995 г.);
- Ф. Ф. Зелинский «Соперники христианства» (1995 г.);
- Ф. Ф. Зелинский «Возрожденцы» (1997 г., 2-е издание — 1999 г.);
- Ф. Ф. Зелинский «Древний мир и мы» (1997 г.);
- В. В. Латышев «Греческие древности». Часть 1 — «Государственные и военные древности», часть 2 — «Богослужебные и сценические древности» (1997 г.);
- М. Нильссон «Народная греческая религия»;
- М. В. Скржинская «Скифия глазами эллинов»;
- Т. Гомперц «Греческие мыслители» (в 2-х томах) (1999 г.);
- Р. Пёльман «Очерк греческой истории и историографии» (1999 г.);
- А. А. Тахо-Годи, А. Ф. Лосев «Греческая культура в мифах, символах и терминах» (1999 г.);
- «Ранняя греческая лирика» (1999 г.);
- Ф. Ф. Зелинский «Римская империя» (пер. с польского) (1999 г.);

- Д. О. Торшилов «Античная мифография: мифы и единство действия» (1999 г.);
- Э. Р. Доддс «Греки и иррациональное».

Сериз «ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

В разделе «Источники»:

- Анна Комнина «Алексиада» (1996 г.);
- Иордан «О происхождении и деяниях гетов (Гети-ка)» (1997 г.);
- Иоанн Кантакузин «Диалог с иудеем» (перевод с греческого);
- Прокопий Кесарийский «Война с вандалами. Война с персами. Тайная история» (перевод с древнегреческого, издание 2-е, исправленное и дополненное);
- Евагрий Схоластик «Церковная история»;
- Олимпиодор Фиванский «История» (с параллельным греческим текстом).

В разделе «Исследования»:

- Ю. А. Кулаковский «История Византии» в 3-х томах (1996 г., готовится новое издание);
- Е. В. Герцман «В поисках песнопений греческой церкви. Преосвященный Порфирий Успенский и его коллекция греческих музыкальных рукописей»;
- А. П. Рудаков «Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии»;
- И. П. Медведев «Византийский гуманизм»;
- Г. Г. Литаврин «Как жили византийцы»;
- Г. Г. Литаврин «Византийский лечебник XIV в.»;
- А. А. Чекалова «Константинополь в VI в. Восстание Ника»;
- А. П. Каждан «Византийская культура»;

- М. В. Бибиков «Византийская историческая проза»;
- И. В. Кривушин «Ранневизантийская церковная историография»;
- А. П. Лебедев «Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X века»;
- А. П. Лебедев «Очерки внутренней истории византийско-восточной Церкви в IX, X и XI веках»;
- А. П. Лебедев «Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века (От начала Крестовых походов до падения Константинополя в 1453 г.)»;
- А. П. Лебедев «История разделения Церквей»;
- А. П. Лебедев «Церковная историография...»;
- А. П. Каждан, Г. Г. Литаврин «Византия и южные славяне»;
- А. А. Васильев «История Византийской империи» в 2-х томах;
- Я. Н. Любарский «Византийские историки и писатели»;
- Г. Г. Литаврин «Византия и славяне»;
- С. П. Карпов «Латинская Романия»;
- «Византия между Востоком и Западом»;
- В. П. Буданова «Готы в эпоху Великого переселения народов»;
- Е. Ч. Скржинская «Византия, Италия, Русь»;
- О. Р. Тафт «Византийский церковный обряд».

Издательство приглашает к сотрудничеству авторов,
переводчиков, редакторов.

Телефон редакции: (812) 567–2239,

fax: (812) 567–2253

E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Пишите нам по адресу:

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13,
издательство «Алетейя»

Наши книги в Интернете:

<http://www.petropol.com>

<http://www.biblio-globus.ru>

**Для получения книг почтой
заказы направляйте по адресу:**

199034: Санкт-Петербург,

Университетская наб., д. 7/9.

Издательство Санкт-Петербургского университета,
отдел «Книга — почтой»

факс (812) 218–4422, тел. (812) 218–7763,

а также заказав их через отдел «Книга — почтой»

Санкт-Петербургского Дома Книги,

прислав заказы по адресу:

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 28

Санкт-Петербургский



ДОМ КНИГИ

191186, Санкт-Петербург
Невский проспект, 28
Телефон: (812) 219-6438
Факс: (812) 311-9895

Р/с 40603810000000000001
ОАО инвестиционный
ТЕХНОХИМБАНК
к/с 30101810000000000755
БИК 044030755

ГП магазин № 1 «Санкт-Петербургский Дом книги»
«Книга — почтой», ИНН 780802974

«Санкт-Петербургский Дом книги»
отдел «Книга — почтой»
рассылает по России наложенным платежом
книги и журналы

Обращаясь к нам, укажите тематику,
по которой Вы желаете получить
списки книг и журналов

В нашем отделе Вы также всегда сможете
заказать все новые книги
издательства «Алетейя» (Санкт-Петербург)

Адрес **Санкт-Петербургского Дома Книги:**
*191866, Санкт-Петербург,
Невский пр., 28*

Адрес **издательства «Алетейя СПб.»:**
*193019, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 13*

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ТИПОГРАФИЯ «НАУКА»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Уникальное сочетание традиций старины и новейших полиграфических технологий.

Издательская деятельность: весь цикл подготовки рукописи к печати-от технического редактирования до выхода тиража.

Качественная черно-белая и многокрасочная офсетная печать.

Издание и печать книг любых форматов, объемов, тиражей в переплетах и мягких обложках, шитье книжных блоков нитками.

Изготовление книг в целлофанированных переплетах и обложках.

Печать календарей, бланков, визитных карточек, буклетов, проспектов.

Изготовление журналов и брошюр бесшвейным способом на термоклее.

Изготовление уникальных подарочных изданий в переплете из натуральной кожи с использованием старинных технологий.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

НАШ АДРЕС:

199034, Санкт-Петербург, В.О., 9 линия, 12

812/ 323-20-18

Факс: 812 / 323-50-27

Patrick CHAMPAGNE, Remi LENOIR,
Dominique MERLLIÉ, Louis PINTO

INITIATION A LA PRATIQUE SOCIOLOGIQUE

GALLICINI  M